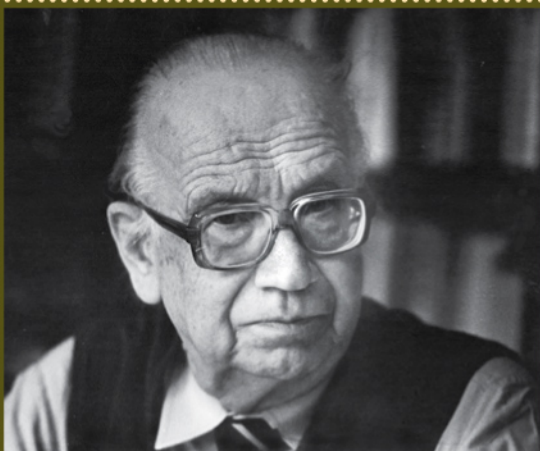


И.Б. Губанов. Бронзовый век на Севере и Юге Европы

KUNSTKAMERA PETROPOLITANA

К.В. Чистов



Забывать
и стыдиться
нечего



2006



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
ИМ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)

К. В. Чистов

**ЗАБЫВАТЬ И СТЫДИТЬСЯ
НЕЧЕГО...**

Санкт-Петербург
2006

УДК 82-94
ББК 82
Ч-68

Печатается по решению Ученого совета МАЭ РАН

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
научной программы Санкт-Петербургского научного центра*

Литературная обработка, редакция
и примечания *Т.Г. Ивановой и Ю.К. Чистова*

Чистов К.В.

Ч-68 Забывать и стыдиться нечего...: Воспоминания. СПб.:
МАЭ РАН, 2006. 240 с.; илл.

ISBN 978-5-88431-138-1

Новая книга выдающегося отечественного фольклориста второй половины XX века Кирилла Васильевича Чистова содержит его воспоминания о детстве и студенческих годах, фронтовых испытаниях и пути в науку, учителях и коллегах, а также о тех, кто вводил его в мир «живой старины» – былинщиках. Настоящим украшением мемуаров стали стихи ученого и подборка фотографий. Во второй части книги опубликованы заметки коллег и учеников К.В. Чистова.

**УДК 82-94
ББК 82**

ISBN 978-5-88431-138-1

© К.В. Чистов, 2006
© МАЭ РАН, 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора	4
I. ЗАБЫВАТЬ И СТЫДИТЬСЯ НЕЧЕГО	
Семейные корни. Отец	7
Семейные корни. Мать	13
Брат Василий	18
Детство. Школа	24
Самуил Яковлевич Маршак	28
Университет	45
Марк Константинович Азадовский	56
Иван Терентьевич Фофанов	76
Белла. Жена. «Вечер вдвоем»	109
Война. Из стихов военных лет	115
Аспирантура	131
Петрозаводск	136
Дмитрий Владимирович Бубрих	164
Петр Иванович Рябинин-Андреев	175
Варвара Павловна Адрианова-Перетц	183
Лев Александрович Дмитриев	190
Галина Васильевна Старовойтова	202
О науке	206
II. КОЛЛЕГИ ГОВОРЯТ О КИРИЛЛЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ЧИСТОВЕ	
Софья Михайловна Лойтер	207
Тамара Васильевна Иванова	209
Вадим Соломонович Баевский	212
Татьяна Григорьевна Иванова	221
Бронислава Кербелите	223
Ростислав Васильевич Кинжалов	225
Сергей Юрьевич Неклюдов	227
Юрий Александрович Новиков	229
Ирина Алексеевна Разумова	232
<i>Т.Г. Иванова. О Кирилле Васильевиче Чистове</i>	234

ОТ РЕДАКТОРА

Читатель держит в руках воспоминания выдающегося отечественного фольклориста второй половины XX в. Кирилла Васильевича Чистова. Ученый приобщился к науке о «живой старине» в самом конце 1930-х годов в знаменитом фольклорном семинаре Ленинградского университета. К.В. Чистову посчастливилось учиться у Марка Константиновича Азадовского, слушать лекции Дмитрия Константиновича Зеленина и Владимира Яковлевича Проппа, быть представленным москвичу Юрию Матвеевичу Соколову. Сейчас это уже легендарные имена, вошедшие не только в анналы науки, но и в предания, которыми живет фольклористика. Своим путем в науке, необычайно ярким и плодотворным, идет и К.В. Чистов. Ему есть чем поделиться с теми из читателей, кому дорога русская народная культура.

Эти мемуары не являются целостным текстом. Они складывались разными путями. Часть воспоминаний уже была напечатана в разных изданиях. Так, еще в 1980 г. в небольшой монографии ученого «Русские сказители Карелии» читатель мог прочесть его очерк о народном сказителе И.Т. Фофанове, от которого он студентом в 1938 г. записывал былины. О своих встречах с другим былинщиком, П.И. Рябининым-Андреевым, К.В. Чистов рассказывал участникам Рябининских чтений в Петрозаводске в 1995 г. В коллективном сборнике «Воспоминания о М.К. Азадовском», вышедшем в свет в 1996 г., были опубликованы заметки К.В. Чистова о его учителе. Читателям уже известны и мемуары ученого о другом его учителе — С.Я. Маршаке, и о старшем товарище известном финно-угроведе Д.В. Бубрихе, и о

пушкинодомцах, специалистах по древнерусской литературе В.П. Адриановой-Перетц и Л.А. Дмитриеве. Небольшая заметка К.В. Чистова об этнографе и политическом деятеле Г.В. Старовойтовой, предварявшая ее книгу «Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев», вышедшую уже после трагической гибели автора, также в определенной мере носит мемуарный характер.

Другая часть воспоминаний, публикуемых в этой книге, была записана на магнитофонную ленту в 2001–2005 гг. бывшим аспирантом К.В. Чистова, специалистом по старобрядчеству А.А. Чувькоровым. Для радиопередачи в 1999 г. большое интервью у К.В. Чистова взял корреспондент Петрозаводского радио Н. Исаев. Названные магнитофонные записи по нашей просьбе были расшифрованы студентами исторического факультета Петербургского университета А. Акинфиевой, Д. Амфитоновой, Ю. Ероменко, А. Идиговой, Н. Икко, К. Котовой, А. Недвигой, А. Нестеровым и А. Холодковой. Тексты расшифровок, иногда перекликающиеся и дополняющие друг друга, затем были нами литературно обработаны и сведены в отдельные главы. Так для данной книги были подготовлены воспоминания К.В. Чистова о его отце, матери, брате Василии, о жене и друге Белле Ефимовне Чистовой, с которой он счастливо прожил 60 лет, о войне и послевоенных годах.

Многие сюжеты уже опубликованных воспоминаний и того, что записано на магнитофонную ленту, повторяются. Но мы решили представить их под одной обложкой. Думаем, что читателям — и тем, кто лично знает Кирилла Васильевича, и тем, кто знаком только с его трудами, и тем, кто уже давно находится в науке, и тем, кто только вступает на ее тернистый путь, — будет интересно увидеть нашу эпоху сквозь призму памяти патриарха русской фольклористики и просто умудренного жизнью человека. Для читателей, далеких от фольклористики и этнографии, мы позволили себе сделать небольшие примечания, которые помогут войти в круг лиц, занимающихся этими науками и составляющих ту культурную среду, в которой живет К.В. Чистов.

Вторая часть книги названа нами «Коллеги говорят о Кирилле Васильевиче Чистове». Здесь даются интервью

петрозаводчан С.М. Лойтер и Т.В. Ивановой, записанные на магнитофонную ленту в 1999 г. Н. Исаевым. Заметки В.С. Баевского, Т.Г. Ивановой, Б. Кербелите, С.Ю. Неклюдова, Р.В. Кинжалова, Ю.А. Новикова, И.А. Разумовой републикуются из петербургского журнала «Антропологический форум», отметившего восьмидесятипятiletний юбилей ученого. Как сам К.В. Чистов гордится тем, что судьба предоставила ему возможность общаться с его великими учителями, так и мы, современники и младшие коллеги ученого, осознавая масштаб его личности, пытаемся в своих заметках понять, что значит общение с ним в жизни каждого из нас и какое место он занимает в науке о «живой старине».

Татьяна Иванова

I. ЗАБЫВАТЬ И СТЫДИТЬСЯ НЕЧЕГО...

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ. ОТЕЦ



тцовские предки жили в Рыбинском крае. При впадении Шексны в Волгу стояло село Журавлевское. Это было когда-то имение помещика Журавлева. Еще при крепостном праве он устроил там стекольный завод, и местные крестьяне, крепостные, работали на этом заводе. Кстати, среди современных Чистовых есть люди, которые оказались связанными со стеклом профессионально. Моя двоюродная сестра, Софья Владимировна Чистова, ученица физиков С.И. Вавилова и А.И. Тудоровского, была химиком — известным специалистом по стеклу. Она завела лабораторией при государственном Оптическом заводе. После войны перед коллективом, в котором она работала, была поставлена очень сложная задача — создать для танков такое смотровое стекло, которое бы не темнело при атомном взрыве. Боялись, что при атомном взрыве все танки станут «слепыми», поэтому нужно было сделать особое стекло. Софья Владимировна возглавила эту работу и справилась с нею успешно. Потом она получила за создание нужного стекла Государственную премию.

Дед мой, Александр Васильевич Чистов, родился 17 февраля 1861 г., поэтому мы в семье смеялись, что дед был крепостным — хотя два дня, но крепостным. Указ об отмене крепостного права ведь вышел 19 февраля.

В семье бытовала легенда о том, как произошла наша фамилия — Чистовы. Ее мне, ссылаясь на нашу тетю Дуню из Рыбинска, рассказала моя двоюродная сестра Софья Владимировна Чистова. Якобы при Иване Грозном какой-то наш предок был дьяком, то есть столоначальником, старшим писарем. Было в те времена такое правило: личные указы царя переписывал не простой писарь, а писарь-дьяк. Вот однажды он переписал какой-то указ царя. Иван Грозный прочитал и говорит: «А кто это так чисто писал?». Ему отвечают: «Ивашка Беляев». — «Ну, так пусть будет Ивашка Беляев Чистовым, коли так чисто пишет». Думается, что это легенда. Хотя надо сказать, что в 1640-е годы в Москве действительно были дьяки Чистовы. Документы свидетельству-

ют, что во время знаменитого Медного бунта (1662 г.), когда вместо серебряных были введены медные монеты, восставшие расправились с думским боярином Беклемишевым и с дьяком Чистовым, который был при Беклемишеве. Но вряд ли этот дьяк Чистов наш пращур. Непонятно, как потом его потомки стали крепостными. Хотя в принципе такое бывало: если человек был в чем-то повинен или задолжал кредитору, то его могли перевести в крепостные.

У родителей моего деда земли было мало, а детей много, поэтому в юности дед ушел из семьи. Он попал в армию, проделал поход с генералом Полторацким в Среднюю Азию во время войны с Бухарским ханством. В армии дед научился грамоте, а до этого он был неграмотным. И всю жизнь он стремился к знаниям. У него были достаточно разносторонние интересы. У нас до войны дома был шкаф, мы его так и называли — «шкаф деда». Там были книги по физике, математике, механике и т.д. Он очень много читал. Была и художественная литература. После службы в армии дед поступил работать на железную дорогу. Сначала он был кочегаром на паровозе, потом помощником машиниста, затем уже стал машинистом. Причем специалистом, по-видимому, он стал очень хорошим. До революции в каждом крупном депо были два-три «машиниста с правом вождения поезда его величества» — так называли лучших машинистов, которым доверялось водить поезда с членами царской семьи. Дед как раз и был в их числе.

Он был невысокого роста, но очень крепкий. Славился тем, что клинья на колесах паровоза забивал с двух или одного удара, в то время как другие — с трех-четырех ударов. О нем рассказывали разные интересные вещи. Например, в Рыбинске как-то раз в день получки он шел по мосту через Волгу. На него напали трое грабителей. Они, видимо, знали, что он идет с деньгами, и хотели его ограбить. Так он всех троих покидал с моста в реку.

Но прожил он, к сожалению, недолго. Как-то раз он ехал на поезде в жесточайший мороз. Это сейчас машинисты сидят за стеклом, а тогда кабины были открытые. Надо было все время выглядывать, чтобы не напороться на закрытый семафор. И дед простудился. У него было очень жестокое воспаление легких, от которого он и скончался.

Тогда моему отцу, Василию Александровичу Чистову, было всего тринадцать лет (отец родился в 1892 г.). Осиротел он, по всей вероятности, в 1905 г. Дед очень хотел, чтобы его сыновья учились и получили хорошее образование, и бабушка, его вдова, постаралась исполнить волю покойного мужа. Сама она была необразованной женщиной, можно сказать, полуграмотной. При жизни деда она занималась домашним хозяйством, а после его

смерти ей пришлось ходить по постирушкам в богатые семьи, чтобы заработать на себя и на детей. Но о том, что ее муж хотел видеть детей образованными, она помнила.

В это время в Царском Селе открылось новое реальное училище — с пансионом. Это значит, что учащихся этого реального училища одевали, кормили за счет казны, и жили они при училище. Туда брали сирот казенных служащих, то есть сирот тех, кто работал в государственных учреждениях: в полиции, на железной дороге. Бабушка подала прошение, и ее двух сыновей — моего отца и дядю Ивана — приняли.

День там был расписан следующим образом: после занятий отдых, затем учащиеся готовили уроки. Были в пансионате дежурные педагоги, причем один день дежурил преподаватель немецкого языка, а другой — французского. Учащиеся должны были говорить с ними по-немецки или по-французски. Там был прекрасный состав педагогов. Среди них — Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов, известный впоследствии литературовед, специалист по Некрасову.

После окончания реального училища отец и дядя стали железнодорожниками. Железнодорожное дело до революции преподавалось в Технологическом институте (в то время он не был Химико-технологическим, а просто Технологическим институтом) и в Путейском институте (тот, что сейчас Институт железнодорожного транспорта). Отец и дядя оба поступили в Технологический институт.

Когда началась Первая мировая война, отец как раз проходил практику в качестве машиниста. Раньше ведь готовили так: инженер должен уметь делать любую работу, которую будет делать его подчиненный. Отец обязан был, как все студенты, поработать кочегаром, помощником машиниста, машинистом и наездить определенное количество верст, а потом вернуться в институт, сдать экзамены — и только тогда получал диплом. По возрасту отца должны были бы призвать в армию, но он получил, как сейчас бы сказали, «бронь». Машинисты ценились. Во время Первой мировой войны он, не закончив института, машинистом возил воинские эшелоны и пассажирские поезда.

Затем случилась Октябрьская революция. Студенты с Путейского института саботировали новую власть. Они входили в так называемый ВИКЖЕЛЬ¹. Студентов-путейцев до революции на-

¹ВИКЖЕЛЬ — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза. Создан в июле-августе 1917 г. В дни Октябрьской революции выступил против власти Советов, угрожая всеобщей забастовкой на транспорте. Совет народных комиссаров отказался вступить в политическое соглашение с ВИКЖЕЛЕм, созвал 12 (25) декабря 1917 г.

зывали железнодорожными офицерами. Главным образом там учились выходцы из богатых дворянских семей, которые потом становились управленцами железной дороги. А отец, тогда студент Технологического института, был паровозником — специалистом по паровозам. И во время саботажа, устроенного ВИКЖЕЛем, моему отцу, еще не имевшему высшего образования, предложили стать начальником службы тяги, как это тогда называли, Петербургского железнодорожного узла. К отцу обратились, потому что знали, что его отец был машинистом-пролетарием. И сам он поезда водил, для рабочих он был свой, они его и просили: «Возьмись, возьмись». И он взялся. Около трех лет пробыл в этой должности, а потом стал отпрашиваться, чтобы завершить образование.

После окончания института отец некоторое время работал мастером паровозного цеха на паровозоремонтном заводе, который располагался между Балтийским и Варшавским вокзалами.

Между прочим, в детстве я очень любил бывать у отца на его работе. Дело в том, что после капитального ремонта паровозы обкатывали. Обычно отец это делал сам и иногда брал нас с братом. Нам это было очень интересно. Мы ехали на паровозе, смотрели, как работает машинист и отец. Позднее, когда отец перешел на Путиловский завод, старые машинисты его не забывали. Когда я, уже студентом, и отец появлялись на платформе Витебского вокзала, железнодорожники узнавали отца, махали ему рукой и кричали: «Ну, как, Василий Александрович, ты сегодня чисто одет — так в вагоне поедешь или с нами?» — «Да уж придется, видно, в вагоне ехать», — отвечал отец. И мы шли в вагон.

Отца многие машинисты знали также по его книге, по которой они учились. До революции существовала такая книга: А. Бём. «Руководство для паровозных машинистов». В России ведь поначалу своих паровозов не выпускали, покупали в Германии, потом стали приобретать во Франции. Естественно, что все руководства по паровозовождению были иностранными, переведенными на русский язык. Они требовали дополнений и разъяснений. Отец знал немецкий и французский языки и подготовил новое издание этого руководства. Оно выдержало 23 издания². Было время, ког-

Чрезвычайный Всероссийский съезд железнодорожных рабочих и мастеровых. Съезд встал на платформу советской власти и принял резолюцию недоверия ВИКЖЕЛЮ.

² Имеется в виду книга, которую мы описываем по 11-му изданию: Бём А.К. Практическое руководство службы паровозного машиниста: Устройство, содержание и ремонт паровоза (Для машинистов, помощников машинистов и слесарей). Изд. 11-е, вновь перераб. и значительно дополненное инженерами-техниками Н.М. Дворжецким и В.А. Чистовым. Л., 1927.

да все машинисты, которые готовились в нашей стране, занимались по книжке отца. Я помню, когда мы переехали в Петрозаводск, поселились в одном доме. Там был сосед, по фамилии Романов, финн по национальности. Знакомимся. Я представляюсь: «Кирилл Чистов». — «Чистов? А я знаю такую фамилию. Это не Ваш отец книжку о паровозах издал? Мы учились по этой книжке».

На паровозоремонтном заводе отец хорошо себя зарекомендовал, и вскоре его пригласили на знаменитый Путиловский завод, который тогда назывался «Красный Путиловец». Отец стал заместителем технического директора. В 1930-е годы на заводах, как правило, было три директора: так называемый «красный», финансовый и технический. Техническим директором на «Краснопутиловце» был знаменитый инженер Грачев.

После убийства Кирова в Ленинграде в 1934–1935 гг. прошла так называемая «чистка». Отец никогда не лез в общественные дела, не был членом партии, поэтому он не пострадал. А о Кирове, между прочим, отец очень хорошо отзывался. Говорил, что тот был хорошим организатором и человеком, редким среди партийных работников: Киров умел слушать специалистов. «Краснопутиловец» был очень важным заводом в годы первой пятилетки, потому что выпускал паровозы и трактора. Киров часто бывал на «Краснопутиловце». Отец рассказывал, что когда собиралось совещание, то Киров давал «красному» директору или кому-то другому вести совещание, внимательно слушал и только потом иногда обобщал или советовал выбрать тот или другой путь. У него технического образования не было, но он был умный, трезвомыслящий, спокойный человек.

Отец был неплохим спортсменом, в молодости увлекался футболом, играл в команде «Путиловца», когда уже стал заместителем технического директора. Любил и «городки» — был в городской команде. Он и нас с братом приучил заниматься спортом. В те годы детских спортивных игр было очень много. Это позднее они во многом свелись к футболу, беготне с палками и к игре в войну. Тогда же был миллион разных игр. Лапта, в которой участвовали и взрослые, и дети, — одна из самых любимейших. В «рюхи» играли, в «чижика», в «колышки», в «попа-загонялу» и т.д. До войны в Детском Селе не было ни одного автобуса, да и машин немного, и мы, ребяташки, свободно играли прямо на улице. Игры тогда не были загнаны в узенькие дворы, откуда не выйдешь, как это было в Ленинграде с его дворами-колодцами. В Детском Селе было свободно, и играли все. Отец очень часто принимал участие в наших детских развлечениях. Ходили мы с ним и в походы, например, путешествовали к верховьям Волги. В

юности я ходил на лыжах, бегал на коньках, во время учебы был членом университетской баскетбольной команды. Все это впоследствии помогло мне выжить во время войны, потому что физически я был очень крепкий.

В 1939 г. мои родители развелись. Так получилось, что отец ушел к другой женщине. У него, кстати, в это время начался туберкулез, он оставил завод и начал преподавать в вузах. Во время войны он эвакуировался вместе с Политехническим институтом на юг России — в район Минеральных Вод и Кисловодска. Та женщина, ради которой отец бросил мою мать, умерла во время эвакуации, по дороге. В 1942 г. в этот район пришли немцы. Отец пробовал уйти горами, но не успел и попал в оккупацию. Но немцы там пробыли недолго — месяца два-три. Потом наши войска обошли немцев с флангов, и те бежали из образовавшегося «мешка». Во время оккупации отца прятала одна семья под Кисловодском. Там есть такая железнодорожная станция Минутка — минутка езды от Кисловодска. И эта семья выдавала отца за своего зятя.

Потом, когда Кисловодск освободили наши войска, то отец еще долго не мог уехать оттуда. Дело в том, что в Кисловодске много минеральных источников. Там есть водолечебница, источники питьевого нарзана и т.д. И не было инженера, который мог грамотно разобрать чертежи. Чертежи сохранили, но надо было после войны восстанавливать водную систему. Отец и занялся этим делом. Но после освобождения Кисловодска его «тягали» в наши органы: почему, мол, остался в оккупации. Не почему войска не сумели защитить гражданское население, а почему он, невоенный человек, остался в оккупации! Тогда со всеми так говорили.

Потом он уехал в Баку, где ему предложили преподавать на каких-то инженерных курсах. Там тогда только что начали строить метро, и он как старый паровозник, движенец, как называли железнодорожников, преподавал, читал лекции. Там и скончался. У Беллы Ефимовны, моей покойной жены, в Баку были родственники. Ее двоюродная сестра в последние годы, когда здоровье у моего отца пошатнулось, его опекала. Она работала в системе «Скорой помощи». Так что он всегда обращался к ней, когда болел.

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ. МАТЬ

Со стороны матери у меня есть немецкая кровь. В семейных преданиях говорится, что в XVIII в. в Россию приехал немец Фохт из Штутгарта. Это довольно обычная немецкая фамилия, которая переводится как «староста». Фохт (Focht) — это как бы Старостин. По специальности он был медик. Тогда русские власти охотно приглашали иностранцев на службу. Фохт стал фельдшером в казачьем полку. Это был мой прапрадед. Женился он, по-видимому, на русской женщине, и очень скоро родным языком его потомков стал русский. Моего деда, отца матери, звали Иван Карлович. У него еще сохранилось немецкое отчество, но по-немецки он уже не говорил, хотя и носил немецкую фамилию Фохт.

У моей мамы была сестра и три брата. Один брат погиб во время Гражданской войны, другой заразился чем-то, а третий, Вячеслав Фохт, стал видным военным. По существу, он был создателем нашей зенитной артиллерии, но до генеральского звания не дослужился — ходил в полковниках. Дело в том, что его жена была болгарка — из тех болгар, что живут на Черном море. А тогда на это смотрели тоже с подозрением. Черноморские болгары уже и язык свой родной забыли. Я ведь немного занимался болгарским языком, ездил в Болгарию. По возвращении как-то стал с ней разговаривать по-болгарски: она половину слов не понимает. Так что в нашем роду есть обрусевшие немцы, обрусевшие болгары, обрусевший татарин.

Маму звали Вера Ивановна, она была 1893 года рождения. До гимназии она не слышала ни одного немецкого слова. Рассказывала даже такую забавную вещь. В ее окружении была немецкая семья Эриха Голлербаха, кажется, булочника, владельца кафе. Мама училась в одном классе с девочкой из этой семьи — Соней Голлербах. Когда она приходила к ним в гости, то они говорили по-немецки, довольно издевательски: «Also, Frolein Focht ist gekommen. Jetzt werden wir deutsch sprechen» (Так, пришла фройльн Фохт. Сейчас мы будем говорить по-немецки). А она ни слова не понимала. Мама говорила, что ее это очень сердило. Поэтому она решила самостоятельно заняться немецким языком и дос-

тигла определенных успехов. Как-то в очередной раз она пришла к Голлербахам, они опять свое: «Also, Frolein Focht ist gekommen. Jetzt werden wir deutsch sprechen». А мама им в ответ на немецком языке: «Ну, что ж, давайте разговаривать по-немецки». Потом Голлербахи уже специально стали разговаривать с мамой по-немецки, чтоб совершенствовать ее навыки.

Мама училась в Царском Селе в Мариинской женской гимназии, которую заканчивала и Анна Ахматова. Затем она поступила на Бестужевские курсы, где лекции читали многие профессора Петербургского университета. Надо сказать, что математика на курсах была поставлена чуть ли не лучше, чем в университете. Мама была очень способным математиком. Ее оставляли там для приготовления к профессорскому званию, но она пошла работать в школу, причем сначала в сельскую. Такое это было поколение: «сейте разумное, доброе, вечное». Потом в Петербурге была создана школа с какими-то прогрессивными методами обучения, и мама перешла из сельской школы туда. А затем — школа в Царском Селе. Так она и проработала учительницей больше сорока лет.

Мама очень любила математику. В школе она вела математический кружок, и ребята с удовольствием ходили к ней, потому что она объясняла им шире, чем полагалось по программе: давала теорию чисел, дифференциальные исчисления и т.д. Ребята решали всякие заковыристые задачи. У нее на уроках никогда не стоял вопрос дисциплины. К ней в класс иногда из параллельных классов переводили хулиганье, и она справлялась с ними. Как-то уже впоследствии я встретил одного такого парня, который даже в тюрьме побывал. Он вспомнил мою мать и сказал: «Твоя matka — во!». Она была настоящим педагогом.

Мама и меня уговаривала пойти в математику, потому что мне этот предмет давался. Моя учительница тоже говорила, что мне надо учиться математике. Иногда говорят, что филологами и историками становятся те, кто ничего не смыслит в точных науках. Но хотя мне математика была не противна, я все-таки выбрал филологию. Когда я уже был на 3–4 курсе филологического факультета Ленинградского университета, мама мне иногда говорила: «Дам-ка я тебе задачку, которую решали у меня сегодня в моем математическом кружке». Проверяла меня, не забыл ли я. И я с удовольствием решал задачки, уже будучи студентом. Считаю, что такая математическая тренировка очень хороша в любой науке. Логика, умение сформулировать, что дано, а что требуется доказать, нужны в любой научной дисциплине, каковой бы она ни была.

Мои родители были людьми нерелигиозными, но когда в 1920–1930-е годы стали громить церкви и устраивать антицерковные

мероприятия, то, как и многие интеллигенты, они этим возмущались. Мама говорила: «У человека должен быть или Бог, или совесть». В детстве перед сном она приходила ко мне и спрашивала: «Кирюша, скажи, что ты сделал сегодня доброго или плохого». Она не говорила — «грех». Говорила — «доброго или плохого». Это было что-то вроде исповеди. И я откровенно ей все рассказывал. Если было что-то дурное, она говорила: «Хорошо, что сам признался и подумал об этом, запомни и никогда больше так не делай». Доверительные отношения с мамой у меня оставались всю жизнь.

До сих пор, когда я ложусь спать, я обдумываю, что же у меня сегодня произошло: что доброго, что плохого. Как бы фильм в обратную сторону кручу. Такое умение — отдавать себе отчет в том, что я делал сегодня, — очень важно для каждого человека. Между прочим, Эйнштейн когда-то писал: «Если бы я был бургомистром, я на каждом перекрестке поставил бы скамейки, чтобы люди, которые мечтают по городу, имели возможность присесть и подумать, куда они бегут, что делают, что сегодня за день». Родители воспитывали нас с братом в категории совести. Совесть — это основное, что было в воспитании. Не делай другому то, что не хотел бы, чтобы сделали тебе. Каждый свой поступок обдумай, поступил ли ты как порядочный человек или обманул кого-то. Если случайно получилось что-то не так, надо уметь признаваться в этом. Очень важно приучиться самому себе отчитываться в собственных поступках. Должен быть у человека внутренний стержень.

Совесть — это очень важная вещь. Сейчас она в обществе, к сожалению, в очень жалком состоянии. Наверное, кому-то из людей очень полезно обратиться к церкви. У меня в жизни не было такого резерва — веры в Бога. Бывали случаи, когда мне было жалко, что я неверующий — было бы легче и во время войны, и в плену, и в других обстоятельствах. Но в обычное время, как говорил Кант, я «не нуждался в этой гипотезе», потому что совесть заменяла мне веру.

Надо сказать, что моя родня со стороны матери была связана с царскосельской городской больницей. Дело в том, что мой дед был фельдшером в казачьем полку, а затем, когда вышел в отставку по болезни, стал фельдшером в городском царскосельском госпитале. Тогда говорили не больница, а госпиталь. В этом госпитале кастеляншей работала моя бабушка. Там родилась моя мама. А когда уж я должен был появиться на свет, в царскосельском госпитале работала моя тетья — Лидия Ивановна, мамина сестра. Она была акушеркой, а к тому времени уже и старшей сестрой-хозяйкой.

Перед родами мама поступила в госпиталь. Я родился 20 ноября 1919 года, а через несколько дней Царское Село было занято войсками Юденича. В госпиталь пришел офицер из какого-то полка Юденича и сказал: «Освобождайте, как можно скорее, госпиталь, потому что будут бои, будут раненные. Нам понадобится это помещение».

Мама в тот день не собиралась домой — тетя ее еще не отпускала. Но тут надо было срочно освободить госпиталь. Поэтому тем женщинам, кто родил три-четыре дня назад, было сказано идти домой; оставались лишь те, кто родил накануне. Тетя пришла к маме и говорит: «Знаешь, вот такое положение, а я, как старшая сестра-хозяйка, занята всеми делами. У меня нет ни минуты, чтобы проводить тебя. Как ты себя чувствуешь?». Мама говорит: «Хорошо». — «Тогда иди домой одна».

Мама пошла со мной на руках. Путь к дому лежал через площадь, которую можно было обойти с двух сторон. И как раз когда мама там шла, рядом с ней разорвался снаряд. Снаряд ударил в дерево, мимо нее пролетела какая-то ветка. Мама упала, но, к счастью, ее не ранило. Как она потом говорила: «Я прижала тебя к себе и упала на бок, чтобы тебя не придавить». Потом она встала, какие-то прохожие ей помогли. Кто-то довел ее до дома. А в это же самое время тетя Лида освободилась и побежала домой посмотреть, как там мама и я. Она побежала по другой стороне площади и домой пришла раньше мамы. Тетя пришла — заперто, в звонок звонит — никто не отвечает. Она тогда бросилась назад и пошла по той стороне площади, где шла мама. По дороге ее и встретила. Видит: мама идет, перепуганная после этого снаряда и падения. Тетя привела ее домой, уложила в постель, затем опять побежала в больницу. У нас было очень много родственников. Тетушки, узнав про эту историю, говорили про меня: «Ну, будет солдат, будет воин — боевое крещение получил». Отчасти угадали: мне довелось потом воевать.

Я очень любил тетю Лиду. Она никогда не была замужем: жених ее буквально накануне свадьбы утонул. Для меня она была как бы второй матерью. Иногда из школы я шел не домой, а сначала повидаться с Лидой, как я ее называл (она запрещала мне называть ее тетя Лида). Просто забежать, поздороваться, сказать, как у меня дела, и потом идти домой. Она в начале войны скончалась от рака.

Для мамы все дни, когда Юденич был в Царском Селе, были очень трудными. Ведь мой отец был в Петрограде. Он, как я уже рассказывал, тогда еще не окончил Технологический институт и был Советской властью назначен начальником тяги Петербургского железнодорожного узла. А тут, в Царском Селе, — Юденич.

Могли узнать, что мой отец сотрудничает с Советской властью — от этого могли быть всякие неприятности. И, кроме того, мама вообще не знала, где он и что с ним. Потом Юденич был отбит, отец смог приехать в Царское Село. Тогда-то отец меня в первый раз и увидел — мне уже несколько недель было.

БРАТ ВАСИЛИЙ



тец и мама поженились в 1915 г. В 1916 г. родился мой старший брат Василий¹. Между прочим, то, что его так называли, было нарушением традиции. По старым крестьянским правилам его надо было бы назвать по деду — Александром. Отец мой был Василий Александрович, а дед — Александр Васильевич. Через поколение так и должны были бы идти имена.

Брат был старше меня на три с половиной года. Сначала он учился в Царском Селе, а потом закончил ФЗУ — фабрично-заводское училище при заводе «Краснопутиловец», где к этому времени работал мой отец. Как сейчас сказали бы — ПТУ. Дело в том, что в Ленинграде тогда школ-десятилеток почти не было, на весь город — всего три или четыре. Школы были семилетки, и чаще всего семилетки с каким-то уклоном. Наша школа, в кото-

¹Василий Васильевич Чистов (1916–2000) — старший брат К.В. Чистова. Закончил филологический факультет Ленинградского государственного университета (1939). Ученик М.К. Азадовского. Студентом участвовал в нескольких экспедициях в Карелии. Принимал активное участие в работе Карельского научно-исследовательского института культуры (будущий Институт языка, литературы и истории Карельского филиала Российской академии наук), который в середине 1930-х годов только разворачивал исследования в области фольклористики. Автор ряда трудов по устной народной словесности: Плач по Ленину / Записан Л. Громыным и В. Чистовым на Онежском заводе // Студенческие записки филологического факультета Ленинградского государственного университета. Л., 1937. С. 1–3; *Соймонов А.Д., Чистов В.В.* Материалы для библиографии рабочего фольклора (Дооктябрьский период) // Там же. С. 126–136; *Чистов В.В.* Русская сказка советской эпохи // Народное творчество. 1937. № 8. С. 11–15; Чистов В.В. О собирании устного народного творчества (Руководство для собирателя). Петрозаводск, 1938; *Громын Л., Чистов В.* Плачи о Ленине // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1939. Вып. 6. С. 86–102; Киров в народном творчестве / Сост. В.В.Чистов. Петрозаводск, 1939; Песни и сказки на Онежском заводе: Сборник / [Сост. А.Д. Соймонов, В.В. Чистов, Н.В. Новиков]. Петрозаводск, 1940; Народное творчество Карело-Финской ССР. Записи 1937–1938 гг. / Подгот. текстов, вступ. статья и прим. В.В. Чистова. Петрозаводск, 1940.

рой я учился, была семилетка с химическим уклоном. В Царском Селе, то есть в Детском Селе, вообще не было десятилеток. Так как в школу-десятилетку в Ленинграде поступить было невозможно, то брат и учился в ФЗУ при «Краснопутиловце», куда его устроил отец.

Брат выучился на токаря и два года проработал токарем седьмого разряда. Но у Василия была тяга к литературе. Когда он учился в ФЗУ на Путиловском и потом работал токарем, он ходил в литературный кружок при заводе. Вел этот литературный кружок довольно известный в то время поэт Лихарев². И вел довольно интересно. Василий начал заниматься на курсах по подготовке в вуз и поступил на филологический факультет Ленинградского университета, чем очень огорчил отца. Тот считал, что мужчина должен приобретать техническую специальность: «Кончишь университет — кем будешь?». Мама сказала: «Будет учителем». Отец же считал, что инженер — это много выше и значительнее, чем учитель.

Василий знал три иностранных языка. Как и я, дома он изучал немецкий язык. В университете занимался английским языком, а, кроме того, попал в группу, которая готовила переводчиков с испанского языка. Тогда ведь шла гражданская война в Испании. Советский Союз помогал республиканцам, нужны были переводчики — офицеры-советники. Испанскому языку их учили так. Студентов буквально запирали в гостинице «Европейской» с какими-то эмигрантами-испанцами, и день и ночь они учили испанский язык. Когда брата отпускали на выходные домой, то он ночью бредил испанскими словами. Так он выучил испанский язык. Но республиканцы, как известно, потерпели поражение, Франко победил, и в Испанию брат не поехал.

Василий окончил университет в 1939 г. В комиссии по распределению был кто-то от ЦК, он-то и обратил внимание на Василия. Во-первых, потому что он был общественник (брат был заместителем секретаря комсомольской организации), а во-вторых, знал три языка. Во второй половине 1930-х гг., как известно, Народные комиссариаты — и иностранных дел, и внешней торговли — сильно опустели. Причина понятна — аресты. Людей обвиняли в связях с иностранными гражданами и огульно объявляли шпионами. Комиссариаты необходимо было пополнять новыми кадрами.

²Борис Михайлович Лихарев (1906–1962) — поэт. В 1930-е годы издал сборники стихов и поэм: «Соль» (Л., 1930), «Вооружение» (Л., 1933), «Ударники огня: Поэма» (Л., 1933), «Моисей Урицкий» (Л., 1937), «Стихи о Ленинграде» (Л., 1938) и т.д.

Брата взяли в Москву, где он несколько месяцев занимался с каким-то немцем-экономистом, готовился, чтобы поехать работать в советское торгпредство в Германию. Это было как раз в 1940 г. Василия направили в Германию секретарем торгпредства. Когда началась война, он был в Германии. А потом его вместе с другими советскими дипломатами обменяли через Турцию. По международным правилам с началом военных действий происходит обмен сотрудников дипломатического корпуса: сколько сотрудников с одной стороны, столько и с другой. Сотрудники немецкого посольства и торгпредства в Москве должны были вернуться к себе, а наши — в Советский Союз. Их обменяли на турецкой границе.

Шла война. Василия на первых порах назначили начальником 7-го отдела какого-то военного корпуса. 7-й отдел — это отдел по работе среди войск противника. А потом Наркомат внешней торговли отозвал его и направил учиться в Академию внешней торговли. Там он получил второе образование: как раз к концу войны закончил Академию. А.И. Микояну³ тогда было поручено создать специальную бригаду, чтобы посмотреть, каково экономическое состояние нашей зоны оккупации в Германии после войны. Естественно, что туда надо было брать людей, которые знали Германию. Наш германский торгпред к этому времени уже умер, и брат оказался наиболее сведущим в германских делах. Микоян и взял его в свою группу, работавшую в Берлине. Василию было даже присвоено звание капитана.

Брату было поручено разыскать немецкий архив Министерства хозяйства. У гитлеровцев была отдельная структура, которая занималась внешней экономической разведкой. Необходимо было найти этот архив. Наши военные пробовали искать где-то что-то — ничего не обнаружили. Однажды, проезжая по Берлину, Василий вдруг на какой-то улице понял, что ему все знакомо. Он вспомнил прием в советском посольстве во время заключения договора Молотова — Риббентропа. Согласно дипломатическим пра-

³Анастас Иванович Микоян (1895–1978) — государственный и партийный деятель. В 1930–1934 гг. — нарком снабжения СССР; в 1934–1938 гг. — нарком пищевой промышленности; с августа 1937 по 1946 гг. — заместитель председателя Совнаркома СССР и одновременно нарком внешней торговли. В 1943–1946 гг. Микоян стал членом Комитета по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от фашистской оккупации. С марта 1953 г. — министр внешней торговли; в 1953–1955 гг. — заместитель председателя Совета министров СССР и одновременно министр внутренней и внешней торговли; с февраля 1955 г. — первый заместитель председателя Совета министров СССР. С июля 1964 г. по декабрь 1965 г. — председатель Президиума Верховного Совета СССР.

вилам, во время приема брат как секретарь нашего торгпредства опекал немецкого партнера его ранга — секретаря немецкого Министерства торговли. И тогда, перед войной, он отвозил этого немца на торгпредовской машине домой.

Брат и вспомнил дом, куда подвозил секретаря немецкого Минторга. Он остановил машину, спросил у консьержки: «Здесь проживает господин такой-то?» — «Да». — «В какой квартире?» — «На третьем этаже». — «А где он сейчас?» — «Дома». Брат взял своего автоматчика и пошел к немцу. Тот открыл дверь, испугался, потому что решил, что его пришли арестовывать. Брат ему говорит: «Пойдемте со мной. Садитесь в машину». Отъехали немного, он предлагает: «Если Вы не хотите неприятностей, которые Вам грозят, то Вы скажете мне, где находятся архивы Министерства хозяйства и внешней экономической разведки». Немец знал, что они были в какие-то бункеры упрятаны, а входы перекрыты: «У меня никаких ключей нет, мне никто не поручал их. Где их взять, я не знаю». А министр успел уехать на Запад. Вызвали тогда автогенщиков, разрежали эту стену. В бункере — полнейший порядок, как полагается у немцев. Все коробки с надписями, разложены по порядку. Брат вывез архив в Москву. Потом его назначили начальником этого архива. При Министерстве внешней торговли было два архива. Первый — это архив нашего советского министерства, а второй — немецкий архив, вывезенный братом.

Так брат и остался в этой системе. Одно время он был начальником Управления Центрально-европейских стран, потом стал помощником Микояна. Я, уже работая в Петрозаводске, довольно часто приезжал в Москву заниматься в библиотеках. Бывал у него, попадал на его дни рождения, куда приходили его сослуживцы. Я был знаком с двумя другими помощниками Микояна. Они были типичные партийные работники, из каких-то инструкторов райкомов и обкомов. Занимались чистой канцелярщиной. А брат был при Микояне как специалист по европейской экономике. Он знал экономическую литературу, много читал, поэтому он был настоящим советником.

Микоян в нашем правительстве того времени был одним из самых интересных людей. Он наркомом стал в 1927 г., совсем молодой! И пробыл во власти несколько десятков лет. Про него говорили: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича» (то есть от Ленина до Брежнева). Он дольше всех держался в правительстве. Ведь многих отстраняли от работы, арестовывали, люди погибали в лагерях, а он держался.

Я встречался с ним несколько раз у Василия. Свои командировки в Москву я часто подстраивал под день рождения брата. А брат

на свой день рождения всегда приглашал Микояна. Тот не каждый раз мог приехать, но бывал все же часто. Из всех наших «вождей» он был самый образованный человек. И с ним было интересно беседовать. Микоян знал много языков. Он ведь был армянином, родился в Баку — знал азербайджанский, и европейские языки — немецкий и английский. И чего он только не помнил!

Брат был очень способный человек. И мне он очень много дал. От него я всегда узнавал что-нибудь новенькое, свежее. В те годы не принято было обсуждать многие общественные проблемы, но когда мы с ним оставались вдвоем, то он, не стесняясь, говорил все, что думает. Правда, он всегда предупреждал, чтобы я не болтал о наших разговорах.

Василий много ездил с Микояном по миру. Был в Мексике, в Индии, многих других странах. Мы смеялись, что самое дорогое, что он нашел привезти из Индии, — это птичку. Он был большим любителем птиц, у него было до 15 клеток. И он привез из Индии какую-то птичку.

Микоян одно время хотел, чтобы Василий редактировал его воспоминания. Между прочим, воспоминания Микояна могли бы быть очень интересны: ведь он очень рано стал наркомом, очень много знал и видел. Потом часть воспоминаний была опубликована, но совершенно неинтересная — очень официальная, такая, как «полагается». Он писал не так, как было на самом деле, а как «полагается». Хотя рассказать мог бы многое. Так вот Микоян хотел, чтобы брат редактировал эти воспоминания, но Василий отказался.

Когда Микоян перестал быть министром (его назначили председателем Верховного Совета), брат был переведен вслед за ним. Но там ему было абсолютно неинтересно. Верховный Совет ведь чем занимался? Ордена раздавал. Брат стремился освободиться от этой работы. Тогда его направили на некоторое время в Министерство иностранных дел. А в МИДе часто возникала такая проблема: наши дипломаты, не зная экономического положения страны, иногда давали невыполнимые обещания другой стороне. Так было, например, с Косыгиным, который, кстати, считался человеком, просвещенным в хозяйственных делах, во всяком случае — гораздо больше, чем другие члены правительства. Но и у него были ошибки. Косыгин поехал в Иран как раз в то время, когда там была очень неудачная для иранцев зима: было очень холодно, и в результате произошел падеж скота — овец. Иранцы с Косыгиным обсуждали это бедствие, и Косыгин пообещал, что из Советского Союза будут присылать от нас каждый месяц какое-то количество овец. Когда у нас увидели эту цифру, то ахнули, потому что надо было тогда за 2–3 года распродать все овечьё стадо в

республиках Средней Азии. И вот, чтобы избежать таких ситуаций (невыполнимых обязательств), брата и направили в МИД заниматься экономическим контролем. Но дипломаты совершенно не хотели контроля. Там у брата все шло с какими-то скандалами, и он удрал оттуда в Институт Европы. Это было последним местом его службы.

Василий был женат. Жена его, Зина Витавская, получила актерское образование. В детстве она жила в Детском Селе и училась в той же школе, что и я, но была на год старше. Я был одно время даже в нее влюблен, но я был для нее мелочью — младше ее. Потом я стал, так сказать, охладевать к ней, а Василий тут-то ее и заметил. И у них начался роман. Роман был еще юношеский, они вскоре расстались: она вышла замуж за одного актера и уехала с ним, по-моему, в Красноярск. Там, в Красноярском театре, она немного выступала на сцене, даже в двух фильмах снялась. А потом бросила это дело совсем, потому что почувствовала, что актрисы из нее настоящей не получается. Впоследствии она занималась профсоюзной работой — в профсоюзе театральных деятелей. Одно время Зинаида была директором фонда Всеволода Мейерхольда.

Когда Василия перед войной отправляли в Германию, ему необходимо было срочно жениться: такое было условие — неженатых и незамужних за границу на работу не посылали. Брат уже свадьбу назначил с одной девушкой — Олей Колодезной. Была такая девушка — родом из Сталинграда, потом она преподавала в Ленинграде русскую литературу и язык в одном из технических училищ. Я долгое время еще с ней общался, она была очень симпатичный человек. У меня в связи с несостоявшейся свадьбой Василия и Оли случилась дурацкая ситуация. Я был с Иваном Кравченко, учеником М.К. Азадовского, в фольклорной экспедиции на Дону. В конце экспедиции мы приехали в Сталинград, откуда Иван Кравченко был родом. Кравченко остановился у своих родственников, а я направился к Оле Колодезной — почти что своей родственнице, как я тогда считал. Я пришел к ней домой, ее родные меня вечером приняли, покормили обедом. Потом Оля говорит: «Выйдем, пройдемся. Знаешь, к большому сожалению, у меня полный разрыв с Васей». Я говорю: «Милые бранятся — только тешатся, как говорят. Наверное, ваша ссора — это несерьезно». — «Да нет, дело в том, что в Ленинграде появилась Зина, и Вася решил жениться на Зине и с Зиной уехать в Германию». Тогда уж я этому поверил. Шапку в охапку, и устроился ночевать в какую-то гостиницу.

Так брат и женился на Зине и уехал с ней работать в Германию. Своих детей у них не было, а было двое приемных. С Сашей, сыном, мы поддерживаем отношения.

ДЕТСТВО. ШКОЛА

Раньше в семьях интеллигенции было принято отправлять детей в школу со второго класса, потому что в первом классе были дети, не умеющие читать и писать, а ребяташки из образованных семей уже, естественно, читали и знали азы арифметики. Второй класс был уже более подготовленный.

Брат Василий учился во втором классе, затем в третьем, а меня все еще не отдавали в школу, потому что я был младше его на три с половиной года. А мне очень хотелось учиться. Когда Вася делал уроки, я любил встать за его спиной на нижнюю перекладину стула, на котором он сидел, и через его плечо смотреть, что он там пишет. Вот мы вместе с Васей, втайне от родителей, взяли и написали заявление о моем поступлении в школу. Директор школы встречает маму и спрашивает: «Ну, что, Вера Ивановна, Вашему сыну надо тогда-то явиться на экзамен». Мама растерялась: «Как? Вася ведь хорошо учится. Разве у него переэкзаменовка по какому-то предмету?» — «Да нет, Вера Ивановна, я говорю про Кирилла». Мама в ответ: «Кирилл еще не пойдет в этом году в школу, мы только на будущий год отдадим его сразу во второй класс». Директор ей замечает: «Нет, Вы ошибаетесь: я получил за подписью Кирилла заявление о том, что он хочет поступить учиться».

И меня взяли в первый класс¹. А в первом классе, между прочим, была замечательная учительница. Она была из обрусевших немок. Ее звали, насколько я помню, Ольга Эммануиловна Майер. Она имела право преподавать в старших классах, так как заканчивала Бестужевские курсы, но любила заниматься с малышами: учить их читать, писать.

В школе был хороший преподавательский состав. Прекрасным словесником была Анна Павловна Ариан. У нее я учился со вто-

¹См. также о школе: *Чистов К.В.* Школа и ее традиции: К 26-й встрече выпускников довоенных лет // Вперед: Орган Пушкинского районного комитета КПСС и Пушкинского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда. 1983. 19 мая. № 60.

рого по седьмой класс. Анна Павловна близко знала Андрея Белого и участвовала в работе знаменитой Вольфины — Вольной философской ассоциации, которую создали Андрей Белый и известный литературовед Разумник Васильевич Иванов-Разумник. Жил он в Детском Селе, и у него потом поселился и Белый. Когда немцы оккупировали Детское Село, Иванов-Разумник не успел эвакуироваться, вместе с женой был отправлен немцами в Германию, и после войны остался на Западе. Я занимался у Анны Павловны Арриан со второго класса по седьмой. Мы с моим приятелем Толиком Казачковым любили провожать ее до дома. По дороге она нам рассказывала про кружок Андрея Белого.

Я видел его самого несколько раз. Помню, как это случилось впервые. Мы шли по улице с мамой. Я обратил внимание, что какой-то мужчина на противоположной стороне улицы идет и что-то бормочет, странно размахивая руками. Я воскликнул: «Мама, смотри, какой шут гороховый!». Мама мне в ответ: «Тихе. Это известный поэт и литератор Андрей Белый. Так что будь осторожнее, когда видишь незнакомого человека и он тебе кажется смешным и нелепым. Не надо смеяться. Это может оказаться очень известный и серьезный человек».

Царское Село буквально дышало литературными воспоминаниями. Кроме Пушкина здесь жила Карамзин, позднее — Вячеслав Шишков, Алексей Толстой. Там провел последние свои годы Мамин-Сибиряк. Много литераторов было — не даром Голлербах назвал Царское Село «городом муз»². Я был окружен историческими и литературными воспоминаниями. В школе, где я учился, еще в дореволюционное время директором был поэт Иннокентий Анненский (тогда она называлась Николаевской гимназией). Потом директором стал Алексей Николаевич Малозёмов, ученик Анненского. Он показывал нам стол, за которым работал Иннокентий Анненский, и «Кипарисовый ларец» — так называется первый его сборник стихов³. Эту гимназию закончил Николай Гумилев, который в советское время совсем не издавался, «ходил», как тогда говорили, в рукописях.

²Эрик (Эрих) Федорович Голлербах (1895–1942) — писатель, историк литературы. Имеется в виду его книга «Город муз: Повесть о Царском Селе» (Л., 1927), выдержавшая несколько переизданий.

³Иннокентий Федорович Анненский (1855–1909) — поэт, критик, драматург, переводчик. Служил по Министерству народного просвещения. В 1896–1905 гг. директор Николаевской гимназии в Царском Селе. Главная книга его стихов — «Кипарисовый ларец» (М., 1910) — вышла после смерти поэта.

В школьные годы у меня была очень хорошая учительница немецкого языка — поволжская немка Эмма Петровна Шмидт, которая занималась со мною индивидуально. Она училась на филологических факультетах университетов Лейпцига и Дрездена. Мне с ней было очень интересно общаться. Занятия наши заключались в том, что я читал немецкие книги (преимущественно классику, в значительно меньшей мере — немецких философов: Канта, Шлегеля и др.) и мы с ней беседовали о прочитанном. Она брала в руки карандаш и блокнотик и записывала неправильные выражения из моей речи. А затем, в конце беседы, указывала мне на мои ошибки.

Эмму Петровну Шмидт для меня разыскала через каких-то своих знакомых мама. Она преподавала немецкий язык в Сельскохозяйственном институте, который был тогда в Детском Селе. Ее филологические знания там не находили применения, поэтому ей тоже со мной было интересно заниматься. Затем у нее появилось еще несколько частных учеников.

К концу десятого класса я уже очень хорошо владел немецким языком. На первом курсе университета, вскоре после поступления, нам устроили тест на знание языка. Раздали немецкие книги. Я открыл, прочитал три страницы, вижу, что нечего заглядывать в словарь: я и так все понимаю. Сажу и не открываю книги. Ко мне подходит преподаватель и спрашивает: «Что у Вас не получается?». Говорю: «Да нет, все получается». — «Вы знаете немецкий язык?» — «В достаточной мере, чтобы читать эту книгу». Поэтому в университете я уже не ходил на занятия немецкого языка, а занимался французским. В студенческие годы я иногда приходил к Эмме Петровне, моей старой учительнице, и мы с ней разговаривали по-немецки. Она меня всегда спрашивала: «А что ты читал в последнее время?» Начинали обсуждать, она все также брала в руки карандаш и бумагу и отмечала мои руссизмы в немецком.

Между прочим, когда немцы заняли Детское Село, она не смогла выехать оттуда и оказалась в оккупации. Рассказывали, что она не объявляла себя немкой, хотя явно какие-то преимущества из своего происхождения ей можно было извлечь. Немцы вместе со всеми жителями вывезли ее из Детского Села. После войны я ее разыскивал, но следы потерялись где-то в Латвии. То ли она в Германию уехала, то ли осталась в Латвии, то ли погибла — я не знаю. Хотя мне очень хотелось ее разыскать, потому что это был близкий мне человек. После войны я даже в одной из газет, выходивших в Восточной Германии, давал объявление: «Разыскивается Эмма Петровна Шмидт. Ее ищет бывший ученик Чистов, живущий по такому-то адресу, такой-то телефон». Но результатов

никаких не последовало. Может быть, ей не попалась на глаза эта газета, а может, и погибла она. Могло быть и по-другому: ее могли арестовать после войны, сослать куда-нибудь. Разгадать сейчас эту ситуацию очень трудно. Единственное, что я могу сказать: когда в 1933 году в Германии произошел нацистский переворот, она была вне себя от ярости. Она с огромным уважением относилась к немецкой культуре, и ей совершенно не по сердцу было то, что делали нацисты. Она возмущалась нападением Германии на Польшу, Бельгию, Голландию, Францию.

Когда я думаю о том, кто больше всего сделал для моего воспитания, кроме родителей, то всегда вспоминаю Эмму Петровну Шмидт. Вторым важным человеком, оказавшим на меня большое влияние в моем отрочестве, был Самуил Яковлевич Маршак. Первые мои литературные занятия прошли при городской библиотеке Детского Села. Там был литературный кружок, который вел критик Коварский⁴. Я ходил сначала к нему, а потом уже попал к Самуилу Яковлевичу Маршаку, в организованный им «детский университет».

⁴Николай Аркадьевич Коварский (1904–?) — литературный критик. См. его труды: *Тихонов Н.С.* Критический очерк. Л., 1935; Жуковский В.А. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, подгот. текстов и прим. Н. Коварского. Л., 1958 (Библиотека поэта. Малая серия); Капитанская дочка: Пьеса в 3-х действиях по мотивам повести «Капитанская дочка» и материалам «Истории Пугачева» / Муз. В.А. Дехтерева. М., 1962 и др.

САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК¹

Воспоминания о С.Я. Маршаке, несомненно, принадлежат к числу самых дорогих мне и самых долголетних. Общение с Самуилом Яковлевичем сыграло очень значительную роль в моей жизни, повлияло на выбор факультета для продолжения учебы и даже на специализацию в пределах того, что мог мне предложить филологический факультет Ленинградского университета.

Я познакомился с С.Я. Маршаком в 1935 г., а последние наши встречи были перед его смертью в 1964 г., когда Самуил Яковлевич уже часто болел. Особенно дожимали его астма и тяжелый непрекращающийся бронхит; ему было 77 лет, а познакомился я с ним, когда ему было 48, а мне всего 15 лет.

В 1930-е годы ленинградская детская газета «Ленинские искры» объявила конкурс на лучшие стихи и рассказы, сочиненные детьми. Я тогда учился в шестом классе.

Прислано было много, но по инициативе С.Я. Маршака из всей массы авторов были отобраны 30 девочек и мальчиков, которые казались наиболее способными, 30 авторов из Ленинграда и ближайших пригородов. Премии участникам этого конкурса были объявлены очень педагогично. Первую не получил никто, вторых премий, как и третьих, кажется, было по три. Таким образом, никто не был объявлен особенно выдающимся, заслуживающим первую премию. Я получил одну из третьих премий. За ними ничего не следовало, никаких денежных поощрений или гонораров (они вообще в детской газете не были приняты). Это была просто поощрительная информация, которая в дальнейшем не играла никакой роли.

Принятые в этот, условно говоря, «детский литературный университет» (официально название звучало как Дом детской литературы — ДДЛ) должны были приходиться для занятий один раз в

¹Впервые опубл.: *Чистов К.В.* С.Я. Маршак в моей жизни // Звезда. 2003. № 9. С. 151–157.

Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964) — выдающийся поэт, переводчик, организатор детских издательств и журналов.

неделю. Занятия обычно начинались с уроков по какому-то языку, который уже изучался в школе (немецкий, английский и, кажется, французский).

Я был освобожден от занятий языком после легкого опроса на первом занятии. Это было очень важно, так как для того, чтобы доехать из Детского Села до Исаакиевской площади, где в здании нынешнего Российского института истории искусств мы встречались с С.Я. Маршаком, требовалось минимум полтора часа, что при моей занятости, особенно позднее, в старших классах, было существенно.

После занятий языком приходил Самуил Яковлевич. Дальнейшее заключалось иногда в обсуждении новых стихов, написанных кем-нибудь из посещавших эти занятия, иногда в обсуждении новых стихов самого С.Я. Маршака. Если нам что-то не нравилось, мы говорили при этом свободно, и он поощрял такой разговор. Иной раз он приводил на занятия каких-либо интересных, «бывалых» людей. Помню рассказ штурмана «Челюскина» М. Маркова: он был интереснее, живее, чем газетные сообщения о гибели корабля и спасении пассажиров и команды «Челюскина»², которые волновали тогда всю страну. Маршак приволил к нам и известного исследователя Арктики и участника многих арктических экспедиций профессора В.Ю. Визе. Его именем назван один из островов в Арктике — остров Визе, потому что по движению льдов он предсказал, что там находится земля. Бывал у нас Александр Слонимский³, двоюродный брат Михаила Слонимского, тоже писатель, автор книги о восстании Черниговского полка — о декабристах. Он был пушкинистом и у нас читал лекции о Пушкине. Приходил к нам также Л. Пантелеев⁴, один из авторов зна-

²Пароход «Челюскин» в 1933 г. из Ленинграда за одну навигацию через скандинавские страны и Северный Ледовитый океан должен был пройти Северным морским путем. Начальником экспедиции был назначен О.Ю. Шмидт, капитаном корабля — В.И. Воронин. В Беринговом проливе «Челюскин» был затерт льдами и вынесен в Чукотское море; 13 февраля 1934 г. корабль затонул. Команда успела высадиться на лед. Спасение экспедиции О.Ю. Шмидта, за которым следила вся страна, осуществлялось в течение нескольких недель легчиками М.В. Водопьяновым, Н.П. Каманиным, С.А. Леваневским и другими, за что они первыми получили звание Героев Советского Союза.

³Александр Леонидович Слонимский (1881–1964) — литературовед, писатель. Автор исследований «Политические взгляды Пушкина» (1904), «Мастерство Пушкина» (1959), а также повестей «Черниговцы» (1928), «Детство Пушкина» (1960), «Лицей» (1964), «Юность Пушкина» (1966).

⁴Л. Пантелеев (наст. имя Алексей Иванович Еремеев; 1908–1987) — писатель. В соавторстве с Григорием Георгиевичем Белых (1906–1938),

менитой книги «Республика Шкид». Второй автор, Г. Белых, был посажен в 1936 г. и погиб в лагерях. В «Детском литературном университете» иногда читались лекции, как будто совсем не имевшие никакого отношения к нашим занятиям, на различные технические темы (например, «Сжатый воздух в современной промышленности» и т.п.).

Но самое интересное было связано с беседами С.Я. Маршака о поэзии. Он приходил и говорил: «Вы, конечно, знаете имя поэта Боратынского. Но давайте, почитаем его вместе». Он читал Е. Боратынского, а потом говорил о нем, помогал нам вникнуть в поэтический мир одного из крупнейших русских поэтов. Наконец, он мог придти на занятие со стихами американского поэта У. Уитмена, или английского поэта У. Блейка, или французского Э. Верхарна. Его разговор о стихах, разъяснение их с «листа» были столь увлекательны и интересны, что я могу эти беседы сравнить только с лекциями Г.А. Гуковского, которые мне удалось услышать позже на филологическом факультете «большого» университета. Лекции Гуковского были тоже незабываемы, хотя и несколько иные — «литературоведческие» по назначению. Беседы же С.Я. Маршака были читательским проникновением в мир поэта, «вчувствованием» в него.

С.Я. Маршак был великолепным знатоком европейской и мировой поэзии, замечательным педагогом, хорошо понимавшим наши интересы и возможности, человеком тонкого поэтического вкуса и блестящим оратором⁵.

Позже, во время одной из послевоенных встреч, С.Я. Маршак сказал мне: «Мы не пытались превратить наши встречи в инкубатор гениев. Мы всегда стремились не забывать, что перед нами обыкновенные девочки и мальчики, которым надо помочь расширить свой кругозор, не повторяя того, что твердили в школах, помочь вникнуть в поэзию (и шире — вообще в литературу) как важнейший слой культуры». Все это явно блестяще удавалось.

С.Я. Маршак являлся одним из крупнейших русских поэтов и переводчиков первой половины XX в. в России и вместе с тем поэтом, писавшим многое специально для детей и заботившимся

репрессированным сталинским режимом, написал знаменитую повесть «Республика Шкид» (1927), к 1934 г. имевшую восемь изданий.

⁵См. сборник воспоминаний о С.Я. Маршаке: Я думал, чувствовал, я жил (Воспоминания о С.Я. Маршаке) / Сост. Б.Е. Галанов, И.С. Маршак, З.С. Палерный. М., 1971.

о развитии детской литературы. Он был главой Ленинградского отделения Детгиза⁶, очень требовательным и строгим редактором, который привлек к работе таких известных писателей, как Е. Шварц, Б. Житков, Л. Пантелеев, Т. Габбе, Л. Чуковская и др. Он умел сплачивать вокруг себя единомышленников. При обсуждении наших детских стихотворений или рассказов он был, разумеется, снисходительнее, но не любил, когда мальчики и девочки говорили не своим голосом, старались приподняться на цыпочки и подражать «взрослым поэтам», не пережив тех чувств, которые пытались передать. В этом честность поэта — писать только о своем и о себе, не подражая чужому голосу.

Самуил Яковлевич был прав — далеко не все приходившие на занятия «маршаковского детского университета» стали потом профессиональными писателями или хотя бы профессиональными филологами. К сожалению, картина оказалась во многом искажена войной. Так, погибли два самых одаренных молодых поэта. Юра Поляков, бесспорно, мог бы стать значительным поэтом (до войны он поступил на исторический факультет). Саша Котульский учился перед войной в Горном институте. Он тоже был одарен, мог бы развиваться в значительного поэта⁷. Из «маршаковских» мальчиков и девочек моей соученицей по филологическому факультету Ленинградского университета стала Шура Пурцеладзе, которая много лет преподавала русскую литературу студентам Ленинградского театрального института⁸. На филологическом факультете учился и погибший во время войны Валя Козлов. Профессиональным театральным критиком стал Юра Капранов, театроведом — Яков Рохлин.

⁶Детгиз — специализированное издательство литературы для детей (Детское государственное издательство).

⁷Александр Владимирович Котульский (1920–1941) — один из участников «детского литературного университета» С.Я. Маршака. Его детские стихи печатались с 1930 г., включены в сборник «Стихи детей» (М.; Л., 1936. С. 119–134). А.В. Котульский продолжал заниматься поэзией, но юношеские его стихи нигде не печатались. В июле 1941 г. студент Горного института А.В. Котульский вступил добровольцем в Народное ополчение. Получил тяжелые ранения в боях под Старым Петергофом; умер от ран 24 сентября 1941 г. Архив А.В. Котульского хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. См. о нем: *Глоцер В.И.* Журнал «Кораблик» и его издатель // Пионер. 1963. № 9. С. 67–72.

⁸Ленинградский театральный институт — ныне Санкт-Петербургская академия театрального искусства.

Собственно профессиональными поэтами стали только Семен Ботвинник⁹, Ляня Хаустов¹⁰ и Лева Друскин¹¹. Стихи продолжали писать Надя Полякова¹², Вера Скворцова¹³ и Надя Никифоровская¹⁴. Наибольших профессиональных успехов достиг Семен Ботвинник. Он начал печататься с 1940 г. и опубликовал целую серию сборников стихов, пользующихся признанием.

Некоторые мои сотоварищи по маршаковским занятиям избрали себе специальности, достаточно далекие от литературы, филологии и даже истории. Так, Сема Слевич стал экономистом, Люся Виноградова — химиком, Галя Воронова — архитектором, Алик Новиков — философом, позже лектором по проблемам политики. Этот список можно было бы продолжить, но несомненно, что занятия с С.Я. Маршаком и для них не прошли даром, расширили их культурные или хотя бы читательские горизонты.

Что касается меня, то маршаковские вечера сыграли в моей жизни особую роль. Среди «бывалых» людей, которых С.Я. Маршак приглашал выступить у нас, оказались выдающиеся мастера исполнения фольклора — крупнейший русский сказочник Матвей Михайлович Коргуев (от него записано более 100 первоклассных текстов, изданных в двух томах «Сказки Карельского Беломорья»)¹⁵, последний потомок известного рода былинщиков Петр

⁹Семен Владимирович (Вульфович) Ботвинник (1922 г.р.) — поэт. Автор сборников стихов «Начало: Стихи» (Л., 1948), «Восток заалел / Пер. с китайск.» (Л., 1951), «Навстречу ветру» (Л., 1957), «Ночные поезда» (Л., 1965), «Ступени» (Л., 1969), «Осенние костры» (Л., 1974), «Рядом с тобой» (Л., 1982), «Избранное» (Л., 1989), «Времена» (СПб., 2001) и др.

¹⁰Леонид Иванович Хаустов (1920–1980) — поэт, переводчик. Автор сборников стихов «Утренний свет» (Л., 1945), «Новоселье» (Л., 1947), «Волне навстречу» (Л., 1958), «Стихи о Ленинграде» (Л., 1967), «Избранная лирика» (М., 1971), «День летящий» (Л., 1981) и др.

¹¹Лев Савельевич Друскин (1921–1990) — поэт. Автор сборников стихов «Ледоход: Поэмы и стихотворения» (Л., 1961), «Стихи» (М., 1964), «Прикосновение. Стихи» (Л., 1974), «У неба на виду: Стихотворения» (Tenafly, N.Y., 1985) и др.

¹²Надежда Михайловна Полякова (р. 1923) — поэтесса. Автор сборников стихов «Право на счастье» (Л., 1955), «Журавли над Мстою» (Л., 1957), «Признание в любви» (Л., 1963), «Мосты памяти» (М., 1981) и др.

¹³Скворцова Вера — поэтесса. Автор единственного сборника стихов «Стихотворения» (Л., 1957).

¹⁴Отдельных сборников стихов Н. Никифоровская, кажется, не издавала.

¹⁵Матвей Михайлович Коргуев (1883–1943) — беломорский сказочник. См.: Сказки М.М. Коргуева / Записи, вступ. статья и комм. А.Н. Нечаева. Петрозаводск, 1939. Т. 1–2.

Иванович Рябинин-Андреев¹⁶, сказочник и исполнитель былины Федор Андреевич Конашков¹⁷ и Фекла Ивановна Быкова¹⁸.

Как большинство мальчиков, я в детстве, естественным образом, любил читать и слушать сказки. Однако к 10–12 годам мне стали интереснее исторические романы, исторические документы, которые знакомили меня не с вымышленным миром сказки или эпического фольклора, а с подлинным историческим прошлым.

В те же годы, когда я ходил на маршаковские вечера, мой старший брат Василий стал учиться на кафедре русского фольклора университета, во главе которой стоял выдающийся фольклорист и литературовед Марк Константинович Азадовский. Брат с большим увлечением рассказывал о фольклорных экспедициях, в которых он активно участвовал. К этому времени брат уже дважды успел побывать в экспедициях. По совету родителей я в 10-м классе посетил несколько лекций профессоров филологического факультета — Григория Александровича Гуковского, Марка Константиновича Азадовского, академика Александра Сергеевича Орлова. Перед поступлением в университет советовался с С.Я. Маршаком — все вело меня к филологии и к фольклористике.

С.Я. Маршак был не только одним из крупнейших поэтов России в 20–60-х годах XX в. Он был выдающимся переводчиком, особенно английской поэзии. Ему принадлежат великолепные переводы сонетов Шекспира, переводы из У. Вордсворта, У. Блейка, Р. Бернса и изящные переводы английских детских песенок, стихотворных шуток и т.п.

Его идея создать своеобразный детский литературный университет складывалась годами. В годы учебы в Англии он познакомился со своеобразной «школой простой жизни», созданной педагогическим методом поэта Ф. Ойлера. Дети воспитывались в такой школе «природой и искусством». Маршак и его жена какое-то время поработали в подобной школе. Когда они вернулись в Россию, их пригласили на год-полтора работать в школе анало-

¹⁶Петр Иванович Рябинин-Андреев (1905–1953) — заонежский быличник, представитель четвертого поколения династии Рябининых. См.: Былины Петра Ивановича Рябинина-Андреева / Подгот. текстов к печати, статья и прим. В.Г. Базанова. Петрозаводск, 1940.

¹⁷Федор Андреевич Конашков (1860–1941) — пудожский быличник. См.: Сказитель Ф.А. Конашков / Подгот. текстов, вступ. статья и комм. А.М. Линевского. Петрозаводск, 1948.

¹⁸Фекла Ивановна Быкова (1879–1970 ?) — беломорская песенница и вопленица. Причитания опубликованы в сб.: Русские плачи Карелии / Подгот. текстов и прим. М.М. Михайлова; Статьи Г.С. Виноградова и М.М. Михайлова. Петрозаводск, 1940.

гичного типа в Финляндии. Все это очень сближало его с детьми, с пониманием детской психологии и интересов.

В годы Первой мировой войны Маршак по состоянию здоровья был освобожден от воинской обязанности, жил в Воронеже, помогая детям переселенцев. В 1917 г. он переехал в Екатеринодар, где заведовал секцией детских домов и колоний (главным образом, для детей, потерявших родителей в годы Гражданской войны) Областного отдела народного образования. После советизации Екатеринодара (Краснодар) здесь он вместе Е.И. Васильевой (романтический псевдоним «Черубина де Габриак») создал первый детский театр и написал для него несколько пьес. Они были изданы в сборнике «Театр для детей», выдержавшем в 1917–1927 гг. четыре издания. С этих лет С.Я. Маршак совмещает написание стихов для детей и переводческую деятельность. Кроме того, он заведовал детским отделом Ленинградского отдела ОГИЗа, то есть центрального объединенного издательства. Он объединил вокруг себя большую группу талантливых литераторов, которые сыграли, как я уже говорил, видную роль в развитии нашей литературы для детей. М. Горький недаром называл его «организатором детской литературы».

Я уже упоминал, что в те же годы, когда действовал наш «маршакowski университет», С.Я. Маршак был руководителем ленинградского Детгиза. Он сплотил замечательный коллектив, в который входили Т.Г. Габбе (талантливая писательница и редактор), А.И. Любарская, Е.А. Лопырева. Ленинградский Детгиз издавал журналы, которые в разные годы назывались по-разному: «Новый Робинзон», «Чиж», «Ёж» — и предназначались детям разных возрастов, от самых маленьких до старшекласников. Сотрудники С.Я. Маршака по Детгизу проявляли заинтересованность в его «универсантах» и помогали Самуилу Яковлевичу разными способами. Л.К. Чуковская, которая тоже имела отношение к Детгизу, иной раз, когда Самуил Яковлевич оказывался занят, проводила с нами литературные беседы.

Надо сказать, что значение «маршаковского университета» могло бы быть еще значительнее, если бы война не выкосила заметную часть наших друзей. Между прочим, и без войны Маршаку приходилось самому опасаться наихудшего. За ним постоянно велась явная слежка. До него доходили слухи о том, что его сотрудников и друзей вызывали в «Большой дом» (так называли в Ленинграде огромное здание ГПУ–НКВД) и прямо задавали вопрос: «Расскажите, что Вы знаете о подготовке к террористической деятельности группы Маршака». Сплоченность его сотрудников, вовлеченность детей казались подозрительными. В один из, вероятно, уже весенних дней С.Я. Маршак из Детгиза не захо-

дя домой и без пальто отправился на вокзал и уехал в Москву. Я никогда не слышал от самого Самуила Яковлевича, почему он так поступил: то ли он хотел в Москве «затеряться», то ли считал, что дело против него «лепят» ленинградские органы, может быть, без согласования с Москвой. Все могло быть. Летели головы и более прославленные и в государственном отношении более заслуженные — до маршалов и министров. Это было время большого сталинского террора. Стоило опасаться, что-то надо было предпринимать. И, как это ни странно, эта история спасла его. Дело в том, что через два-три месяца в газетах вдруг появилось известие о награждении группы писателей орденами. Среди них оказался и С.Я. Маршак.

Надо сказать, что орденосцев в то время было очень мало — главным образом, уцелевшие еще «герои Гражданской войны». Работников сельского хозяйства, ученых и т.д. награждали крайне редко. В конце 1930-х годов вдруг стали являться избранные или случайные представители каких-то профессий — «знатная доярка», «знатный шахтер», летчик и т.п. Это делалось, вероятно, для некоторого «уравновешивания» миллионов репрессированных — расстрелянных или погибших в лагерях. Под ударом часто оказывались люди, побывавшие в других странах, которых легко было обвинить в шпионской службе на капиталистические страны. Шпионаж, действительно, существовал всегда, но зачем трудиться в поисках реального шпиона — легче обвинить в шпионаже неповинного человека. Во второй половине войны мы находили в разгромленных немецких штабах карты со сверхсекретными объектами с надпечатками на немецком языке. Кто-то и как-то их добывал!

Мы, ребята из «маршаковского университета», хорошо знали большинство детгизовских сотрудников Маршака, они и здесь были его помощниками: проводили с нами некоторые занятия, замещающая Маршака, либо просто участвовали в обсуждениях наших стихов и рассказов. Детгизовская редакция, возглавлявшаяся Маршаком, была вооружена не только знаниями, но, прежде всего, человеческой честностью, что может быть правильно оценено, только если помнить тогдашние методы партийного руководства издательским делом в стране. Тем, кто эти времена не пережил сам, очень полезно было бы прочитать книгу «Записки незаговорщика» одного из наиболее талантливых литераторов нашего поколения Ефима Эткинда¹⁹. Она выходила в переводах на немец-

¹⁹См.: *Эткинд Е.Г.* Записки незаговорщика = Notes of a non-conspirator. London, 1977; *Эткинд Е.Г.* Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., 2001.

кий, английский, французский и ряд других языков. Это не только лучшая книга мемуаров, но книга, написанная человеком, очень много испытавшим и в конце концов изгнанным из Советского Союза и лишенным советского гражданства.

Маршак потому так много занимался и детской литературой, и переводами, что для него это были островки возможной честности и искренности. Именно этому он учил и нас — искусству оставаться честными в невероятно сложных условиях сталинского террора и последующих времен. Я уверен, что он не стал бы поддерживать со мной дружеские отношения, если бы я не стремился к тому же.

В первые послевоенные годы, зная, что С.Я. Маршак живет в Москве, я не решался разыскивать его и просто придти к нему домой. Мне казалось, что в его памяти я мог и не остаться, а тревожить пожилого и очень занятого человека мне не хотелось. Я был бесконечно благодарен ему за все, что он нам всем дал, но это не означало, что он имеет какие-то моральные обязанности по отношению к нам — повзрослевшим и пошедшим своими путями. Но жизнь распорядилась по-своему.

В 1947 г. отец, который жил в Баку, приехал к моему старшему брату в Москву. От смены климата у него возникло обострение хронической эмфиземы легких, и брат добился его устройства для лечения в «кремлевскую» кунцевскую больницу. В приемном покое отца предупредили, что он, конечно, получит отдельную палату, но в течение суток в ней будет еще один больной, которого завтра переведут в специально предназначенную ему палату. Каково же было удивление отца, когда он увидел, что его временный сосед по палате — Самуил Яковлевич Маршак! Папа заходит, кладет вещи. Маршак отца не узнал, так как они встречались только на первом организационном сборе «универсантов», в котором участвовали наши родители.

Самуил Яковлевич говорит: «Ну что же, будем соседями. Но, кажется, ненадолго. Давайте познакомимся: Самуил Яковлевич Маршак». Папа говорит: «Самуил Яковлевич, я Вас знаю».

— А как Ваша фамилия?

— Василий Александрович Чистов.

— Чистов? А Вы не имеете отношение к Кириллу Чистову?

— Я отец его.

— А что с ним? Я даже не знаю, жив ли он.

— Самуил Яковлевич, он завтра придет сюда, чтобы узнать, как я тут устроился.

— Значит, завтра мы должны увидеться!

Так мы, наконец, снова встретились с Самуилом Яковлевичем. Наши «взрослые» отношения восстановились. Я стал бывать дома у Самуила Яковлевича.

В те годы я с семьей жил в Петрозаводске, где работал в Карельском филиале Академии наук СССР. Приняв приглашение работать там, я постарался договориться с дирекцией Института языка, литературы и истории о том, что я буду ежегодно хотя бы 2–3 месяца проводить в Ленинграде или в Москве для занятий в библиотеках, так как Петрозаводская публичная библиотека была в те годы бедна книгами. Во время войны она должна была быть эвакуирована на восточный берег Онежского озера. Это старались сделать, но часть книжного фонда погибла, поэтому даже комплект краеведческой литературы, старательно собиравшийся с середины XIX в., оказался со значительными пробелами. Работать при таких условиях было весьма трудно. Так называемый Межбиблиотечный абонемент часто возвращал заявки с отказами.

Руководство филиала Академии, где я работал с 1947 г., стремилось давать мне командировки не в Ленинград (что было для меня важно, так как я не только работал в ленинградских библиотеках, но и жил у мамы), а в Москву, где я обычно выполнял какие-то задания в Президиуме Академии наук, тем более что в те годы существовал специальный отдел по связи с периферийными филиалами. В таких случаях я, приехав в Москву и начав заниматься в московской «Ленинке» (сейчас — Российская государственная библиотека), в первые же дни звонил Самуилу Яковлевичу, и он назначал мне какое-то удобное для него время. Он всегда расспрашивал меня о наших детях — к этому времени у меня было уже два сына. Он просил записывать все интересные детские изречения, подобные тем, которые составили целую серию книг К.И. Чуковского «От двух до пяти».

Он всегда подробно расспрашивал, чем я занимаюсь. Бывало, что он не одобрял мои занятия, например, написание книги «Очерки литературы Карело-Финской ССР» (совместно с Л.А. Виролайнен), вышедшей в 1954 г. Дело в том, что финская секция Союза писателей Карелии была к этому времени разгромлена, а значительных русских писателей в Карелии не было. Я подарил эту написанную по поручению начальства книгу Маршаку, но, пролистав ее, он сказал, что не понимает, чем мы занимались, — и был прав! Мои же фольклористические изыскания и публикации им одобрялись. Особенно Самуил Яковлевич интересовался результатами ежегодных экспедиций на берега Белого моря, в Заонежье и Пудожский район Карелии, населенные русскими. Очень его заботила и интересовала судьба Кижей и музея, который начал возникать вокруг этого истинного шедевра народного зодче-

ства. Я привозил и показывал Самуилу Яковлевичу особенно интересные записи народных песен, сказок, частушек. Одна из этих частушек так восхитила его, что он вставил ее в свою статью о Твардовском:

*Танк танкетку полюбил,
В рощицу гулять водил...
От такого рómана
Вся роща переломана.*

В начале 1960-х годов мы с Самуилом Яковлевичем обсуждали его проект написать «большую», как он говорил, книгу стихотворных переложений сказок разных народов, и он спрашивал, возьмусь ли я помочь ему. Я, разумеется, не отказывался, но следовало обсудить, в какой мере сюжеты сказок разных народов — и европейских, и восточных — могут повторяться и различаться. Речь шла о так называемых «международных сюжетах», или, как говорили раньше, «бродячих сюжетах», которые могут быть близки на сюжетном уровне, но отличаются преимущественно бытовыми реалиями, обрядовыми красками и т.д.

И, наконец, я не могу не рассказать о некоторых особенно запомнившихся эпизодах. Один из них, связанный с Мариной Цветаевой, был весьма печален. Однажды, посмотрев на стул, стоявший около его рабочего стола справа, Самуил Яковлевич вдруг сказал: «Вот ты так просто садишься на этот стул, а он между прочим, даже своим видом продолжает казнить меня!». Я, разумеется, не мог понять, о чем идет речь. Маршак продолжил: «В 1941 г., когда немцы рвались к Москве и были уже так близко, москвичи были объаты паникой. Уже начали вывозить какие-то учреждения, даже целые министерства, а отдельные люди стремились вырваться из города, опасаясь худшего, в Саратов, Самару, Свердловск (так тогда назывался Екатеринбург) или куда-нибудь еще дальше. Два-три дня были особенно напряженными. И вот в один из таких дней ко мне пришла Цветаева и горько жаловалась, что ее не печатают. Это было действительно ужасно, но что я мог в такой общей обстановке сделать для нее? Неизвестно было, как добратся до каких-нибудь издательств. Я сказал ей “что-нибудь попробую”, но, видимо, это было сказано так, что ни она, ни я этому не верили. Она горько усмехнулась и даже не попрощалась со мной — ушла. Я никогда не могу забыть об этом, ищу себе оправдания, но убедить себя ни в чем, ни в чем не могу. Я — один из виноватых...».

Для того чтобы несколько разрядить обстановку (хоть, может быть, это было и некстати), я вспомнил «шутку», которая быто-

вала в 1941–1942 гг. Спрашивается: «На какой ленточке медаль “За оборону Ленинграда”?» Ответ: «На муаровой». — «А Москвы?» — «На драповой!»²⁰. Самуил Яковлевич улыбнулся, но сама тема разговора погасла.

Примерно в том же году произошел не имевший фольклорного характера эпизод, не лишенный забавности. Дело в том, что в 1948 г. началась подготовка к столетию первого полного издания «Калевалы», которому карельская общественность хотела придать международное значение. Председателем оргкомитета был О.В. Куусинен²¹ — старый финский коммунист, один из организаторов попытки революционного переворота в Финляндии в 1918 г., эмигрировавший впоследствии в Советский Союз. Он был видным политическим деятелем — членом Коминтерна, Президиума ЦК КПСС и одновременно Председателем Верховного Совета Карелии, которая в эти годы была одной из союзных республик. По служебной должности (в те годы я заведовал отделом литературы и фольклора Карельского филиала Академии наук) я оказался ученым секретарем этого оргкомитета. С этим связаны были мои регулярные поездки в Москву для докладов Куусинену о ходе подготовки к юбилею. Юбилей был международный, но отмечался в пределах Советского Союза. Из Финляндии приглашать ученых было по общим обстоятельствам еще невозможно. Финские ученые считали «Калевалу» исключительно финской, в Карелии же ее считали карельской. В конечном счете, и то, и другое правильно: «Калевала» опиралась прежде всего на записи рун в Карелии, особенно в Северной Карелии. Но она была литературной книгой, составленной Э. Лённротом, который стал одним из зачинателей финской литературы, вытеснявшей в XIX в. господствовавшие до определенных пор шведскую литературу и шведский литературный язык. «Калевала» сыграла большую роль в развитии не только финской литературы, но и финского изобразительного искусства и музыки. Финская культура вне «Калевалы» немислима. Также немислима без «Калевалы» и карельская культура. Карельские исполнители рун сохранили их с давних пор и донесли до XIX в. К этому надуманному спору примешивались еще другие идеи — например, теория о создании рун в среде финс-

²⁰Муаровый (от франц. *moire*) — ткань с волнообразным рисунком. Драп — толстое, плотное сукно. Анекдот строится на игре слов: «драповый» осмысляется от глагола «драпать», то есть поспешно убежать.

²¹Отто Вильгельмович Куусинен (1881–1964) — государственный и партийный деятель. В 1940–1958 гг. был председателем Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. С 1957 г. — член Президиума ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС.

ких викингов, которых в действительности никогда не было. В правом крыле финских исследователей понимание «Калевалы» перемешивалось с откровенными панфинскими настроениями, хотя в действительности эпические руны «Калевалы» в какой-то мере были известны, кроме карел, только среди ижор и совершенно неизвестны в устном бытовании самим финнам, эстонцам, вепсам, коми или тем более удмуртам. В этом смысле эпические руны карел не являются общезинноугорским наследием. Лирические же песни в составе «Калевалы» в значительной мере финские.

В связи с подготовкой юбилея я время от времени ездил в Москву. Вот как-то я приезжаю к Куусинену (он жил в известном доме «на набережной» — одном из первых «советских» больших домов). Разговариваем, как отработать программу этих торжеств. Нужно устроить, видимо, какую-то научную конференцию, организовать соответствующий концерт и что-нибудь туристическое. Правда, тожества были намечены на февраль. Он меня спрашивал, что можно придумать. Я ему посоветовал и показал фотографии Кижей. Он сказал: «Ну, возьмем пару самолетов, повозим наших гостей, чтобы хоть сверху посмотрели, а то действительно съездив в Кондопогу (там другая знаменитая церковь, не многоглавая, как в Кижях, а шатровая). А что дальше?». — «А дальше доклады». — «И кого пригласить?». Я рекомендовал В.Я. Проппа²² и В.М. Жирмунского²³.

Конференция прошла в феврале 1949 г. На юбилей «Калевалы» были приглашены делегации писателей, деятелей культуры и политические деятели всех тогдашних союзных республик, разумеется, включая Эстонию. Я предлагал пригласить из ГДР (Восточной Германии) профессора Вольфганга Штейница, автора одной из известных книг о «Калевале» («Параллелизмы в рунах Архиппа Пертунена»). Он был в эти годы вице-президентом Академии наук ГДР. Кстати, и последняя его книга, вышедшая в 1967 г., была немецким переводом «Калевалы», заново отредактированным. Однако В. Штейниц приехать не смог, и наш юбилей был ограничен только рамками Советского Союза.

²²Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970) — выдающийся фольклорист; профессор (с 1934 г.) созданной М.К. Азадовским кафедры фольклора Ленинградского института философии, литературы, лингвистики и истории (ЛИФЛИ), преобразованного в 1937 г. в филологический факультет Ленинградского государственного университета.

²³Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971) — выдающийся филолог, специалист в области русской и западно-европейской литератур. Академик (1966), профессор Ленинградского государственного университета.

Доклад в день открытия юбилея взял на себя О.В. Куусинен. Он был очень образованным и умным человеком, следил за литературой о «Калевале» и у нас, и в Финляндии, и в ГДР. Целый ряд наших сотрудников также принимали участие в конференции, в том числе и я. Из Питера, как и предполагалось, приехали В.Я. Пропп и В.М. Жирмунский.

Доклад В.Я. Проппа не понравился Куусинену. Дело в том, что «Калевала» в том виде, в каком печатается, не является фольклорным сборником. Это книга Э. Лённрота, который монтировал ее из народных песен (рун), объединял, дописывал и т.д. В.Я. Пропп критически к этому относился, считая, что нужно брать натуральное. А у В.М. Жирмунского доклад был другой: «Трактовка “Калевалы” в финской буржуазной науке». Этот доклад понравился Куусинену сразу.

Эпизод, о котором я хотел рассказать в связи с юбилеем, состоял в следующем. Куусинен, к моему удивлению, высказал неудовольствие известным и постоянно перепечатывавшимся переводом Л.П. Бельского. В год публикации перевода (1888) Л.П. Бельский был награжден Пушкинской — высшей в дореволюционной России — премией. Куусинен в чем-то был прав — в переводе Л.П. Бельского блестящие пассажи иной раз перемежаются несколько вялыми строками. Вместе с тем О.В. Куусинен хотел, чтобы перевод лучше, точнее передавал оригинал. Это мне казалось спорным, так как финский (и карельский) и русский — языки разного акцентологического строя. В финском, как и карельском, ударение всегда падает на первый слог слова, различаются долгие и краткие слоги таким образом, что ударение в отличие от русского языка может падать на короткий слог и т.д. Очень важно, что в рунах есть не рифмы, а созвучие первых слогов, смысловесущих слов в строке. Одним словом, вопрос это трудный, обычный при переводах текстов, существующих на языках разного акцентологического и смыслового характера. Кроме того, поэты-переводчики хорошо знают, что чем своеобразнее стихов ярче, тем хуже они переводятся, что наилучшие стихи почти непереводимы. О.В. Куусинен выслушивал эти мои соображения, не принимая их всерьез. Ему были близки и хорошо известны оба языка — и русский, и финский. Я видел, что мои рассуждения его не убеждают. В результате он спросил меня: «Верно ведь, что русские переводчики переводили эпические поэмы с разных языков и все-таки чего-то добивались. Кто, по Вашему мнению, является наиболее сильным переводчиком? Кто у нас может перевести за этот срок?». Я говорю: «Самый известный переводчик — Самуил Яковлевич Маршак. Он много переводил с английского. Кроме того,

Лозинский²⁴, который переводил много испанцев, итальянцев и т.д., Липкин²⁵. «Нет, нет. Вы сказали Маршак?». — «Да». — «Маршак же знает финский», — говорит Куусинен. — «Никогда об этом не слышал».

Оказывается, Маршак, работая в Финляндии в «лесной» школе, немного выучил финский язык. Кроме того, Маршак мальчиком бывал на летней даче В.В. Стасова на Карельском перешейке и кое-что выучил из финского языка. Куусинен и Маршак как-то где-то вместе отдыхали в правительственном санатории и немножко поболтали по-фински. Маршак по-фински поздоровался с Куусиненом, тому и показалось, что Маршак владеет финским языком.

Куусинен загорелся идеей поручить Маршаку новый перевод «Калевалы». Тут же при мне он вызвал своего секретаря и попросил соединить его с Маршаком: «Самуил Яковлевич, добрый день! Есть очень важный вопрос. Если разрешите, к Вам от меня придет один человек поговорить». Тут же меня сажают в машину. Я в первый и последний раз в жизни на правительственной машине ехал через Москву по средней линии улицы и с обычным для машин правительства гудком, распугивавшим автомобили справа и слева. Скоро я оказался у дома, в котором жил Маршак, — у Казанского вокзала. Поднялся на лифте на третий этаж и позвонил в знакомую дверь квартиры № 130. Самуил Яковлевич вышел мне навстречу из своего кабинета и начал с того, что упрекнул меня: «Кирилл, почему ты не позвонил мне? У меня сейчас время занято; я жду человека от Куусинена для переговоров о каком-то важном деле». Это очень характерно: Маршак был весьма уважаем и в читательских, и в начальствующих кругах, но вместе с тем не лишен был определенного чиновничества. То, что к нему специально присылают «человека от Куусинена», взволновало его. Мне оставалось только сказать: «Самуил Яковлевич! “человек от Куусинена” — это я». Когда он узнал, зачем я к нему явился, он хохотал вместе со мной.

От перевода «Калевалы» он, разумеется, стал отказываться, именно потому, что знал, что такое «Калевала» и какое это слож-

²⁴Михаил Леонидович Лозинский (1886–1955) — выдающийся переводчик. Прославился переводами «Кола Брюньон» Р. Роллана (1932), «Божественной комедии» Данте (1946). Переводил Шекспира, Сервантеса, Мольера, Корнеля, Лопе де Вега, Шеридана и др.

²⁵Семен Израилевич Липкин (1911–2003) — переводчик с языков народов СССР. К концу 1940-х годов были известны его переводы киргизского народного эпоса (Манас: Киргизский народный эпос. М., 1941), произведений татарского поэта Г. Тукая (Тукай Г. Шурале. М.; Л.: 1946; Тукай Г. Стихотворения. Л.; М., 1948 и др.). Позднее перевел бурятский героический эпос, балкаро-карачаевские нарты и др.

ное дело. Сказал, что не берется переводить, потому что у него очень отрывочные знания финского языка. Я ему тогда предложил: «Дадим Вам в помощь кого-нибудь». — «Все равно я по “рыбе” не перевожу». (У переводчиков подстрочный перевод, выполненный другим человеком, называется «рыбой».) Он говорил, что, знай он хорошо финский и северокарельский диалект, он был бы счастлив посостязаться с Бельским, но без языка это дело невыполнимое.

Потом я поехал к Лозинскому, который переводил Данте. Блестящий был переводчик, замечательный поэт. Лозинский сказал: «Я посчитал бы за честь перевести “Калевалу”, но финского я совершенно не знаю. Не слышал даже, как по-фински разговаривают. Я так не работаю. Я работаю только с теми языками, которые знаю». Так ничего из задуманного тогда перевода «Калевалы» и не вышло.

Я знаю, что переговоры Куусинена с Маршаком продолжались и после моей попытки. Маршаку предлагались помощники, которые подготовили бы подстрочник, но от этого Маршак решительно отказался. Правда, в качестве пробы С.Я. Маршак все-таки перевел или, как он точнее называл, «переложил» три руны «Калевалы». Они были напечатаны в год юбилея в журнале «На рубеже» (теперь это журнал «Север»). Потом эти переводы перепечатывались в четырехтомном собрании его сочинений (отрывки из 4-й руны — «Айно», 37-й — «Золотая дева» и 44-й — «Рождение кантеле»)²⁶. Характерно, что в последующие годы мы ни разу не возвращались к этому вопросу. Это был как бы домашний эксперимент.

Переложения рун были напечатаны в 4-м, специфическом, томе собрания сочинений Маршака. Он озаглавлен «Статьи и заметки о мастерстве». Сюда включены статьи и стихи С.Я. Маршака, которые могут быть восприняты как завещание поэта: статья «За чем пишут стихами?», интереснейшие мемуары, охватывающие детство, отрочество и юность поэта, в которых много говорится о В.В. Стасове, способствовавшем его переводу из провинциального Острогжска (Воронежская губ.), где Маршака не приняли в местную гимназию, потому что с его поступлением был бы превышен официально допустимый процент евреев-учащихся.

Маршак был введен еще в гимназические годы в круг общения Стасова — Репина, музыкантов так называемой «Могучей кучки». На его еще гимназические стихи написали музыку Глазунов и Лядов, числившиеся среди известнейших композиторов своего времени. Первые выступления в печати были тоже связа-

²⁶Маршак С.Я. Собр. соч.: В 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 753–787.

ны с протекцией В.В. Стасова, который был счастлив открыть талантливого человека и помочь ему начать путь в литературе и искусстве. Познакомились они в 1902 г., когда Стасову было уже 79 лет. Во всем этом можно, помимо всего прочего, увидеть удивительную цепочку развития русской культуры. Стасов знал в молодости Тургенева, Герцена, десятилетиями общался с «Великим Львом», как он называл Толстого. Он жил в окружении Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского и других членов «Могучей кучки». Маршак не только стал бывать дома или на даче Стасова (около Парголова), но и запросто приходил к нему в Публичную библиотеку, где издавна стоял рабочий стол Стасова.

Четвертый том С.Я. Маршака должен был продолжить эту цепочку передачи опыта большого поэта современникам. Отмечу, что в последние годы жизни (он скончался в 1964 г.) Маршак, чувствуя приближение конца, не позволял себе писать старческие стихи. Таким он встречал и мои приходы к нему — бодр, весел, рад, что о нем помнят и его любят. При буквально микроскопическом рассмотрении его стихов, вошедших в 4-й том, какие-то старческие ноты можно усмотреть разве что в переводе стихов Р. Бернса «Песня смелых», которые кончаются строфами:

*Кто волею слаб, кто судьбы своей раб —
Трепещет, почуяв конец,
Но гибели час, неизбежный для нас,
Не страшен для смелых сердец.*

Этими стихами, в которых сказался весь Маршак, мне и хотелось закончить краткие воспоминания о том, кого я почитаю одним из моих главных учителей. Филологический факультет, на который я поступил в 1937 г., дал мне не только фольклористическую и этнографическую специализацию. Здесь я обрел моего другого учителя, давшего мне очень много, — известного фольклориста и литературоведа профессора Марка Константиновича Азадовского. Но то, что мне дал С.Я. Маршак, сопровождало меня всю жизнь, помогло мне приобщиться к фольклористике и к этнографии, которые стали моей основной специальностью, но никогда не вытеснили из моей памяти литературоведение и поэзию.

УНИВЕРСИТЕТ

Зараженный любовью к литературе Маршаком и братом, который уже стал ездить в фольклорные экспедиции Марка Константиновича Азадовского, я мечтал только о филфаке. Отец был недоволен: у него двое сыновей, и он очень хотел, чтобы кто-то из нас продолжил его дело. Дед был машинистом, сам он инженер-паровозник, кто-то из третьего поколения должен пойти по этой же линии. Но я решение свое не изменил. В 1937 г. вслед за Василием я поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Я принадлежу к тому поколению, которое очень хотело учиться. Мы стремились в вуз не потому, что папа с мамой послали туда. Мы жаждали знаний. А ведь в большинстве семей того времени многие оказывались первым поколением интеллигентов. Тогда это ценилось.

Для того чтобы вовремя успевать на занятия в университете, нужно было вставать рано. До сих пор помню, что поезд из Детского Села отправлялся в 7.35. До Витебского вокзала поезд ехал полчаса. Во втором вагоне обычно собирались студенты университета, жившие в Детском Селе. Если было время, мы шли от Витебского вокзала по Гороховой улице до набережной Невы, затем через Дворцовый мост — и на филологический факультет.

Хочется сказать слова благодарности предвоенному филологическому факультету Ленинградского университета. В то время он был много сильнее, чем московский. Между ленинградской и московской школами существовало даже некоторое соревнование. В Москве в 1930-е годы самым знаменитым фольклористом был Юрий Матвеевич Соколов¹. При нем становилась фольклористом Эрна

¹Юрий Матвеевич Соколов (1889–1941) — ведущий, наряду с М.К. Азадовским, фольклорист в 1930-е годы. Академик Украинской академии наук.

Васильевна Померанцева², тогда совсем молодая. Юрий Соколов говорил ей: «Эрна, ты должна написать такую работу, чтобы ленинградцы захлебнулись». Э.В. Померанцева выросла в прекрасного ученого, но довоенную ленинградскую филологическую школу все-таки ничто заменить не может. Д.С. Лихачев как-то во время выступления сказал, что довоенный филологический факультет в отношении профессорского состава был уникальным европейским явлением. Там тогда собрались выдающиеся специалисты.

Самым крупным филологом из тех, кого я застал на филологическом факультете, был Виктор Максимович Жирмунский. Чем он только не занимался! Две его ранние книги были посвящены русской литературе³, основной же его специальностью была немецкая и французская литературы. А во время эвакуации в Среднюю Азию, уже в Великую Отечественную войну, он стал изучать узбекскую литературу. Про Жирмунского говорили: «Солнце всходит на востоке, а заходит на западе. Жирмунский наоборот: начинал на западе, а последние годы его падали на восток».

Между прочим, когда я до войны учился в университете, то не обязан был ходить на его занятия, но я посещал семинар по немецкой литературе, который он вел, потому что мне было интересно. Я неплохо знал немецкий язык, и мне было интересно его послушать. В.М. Жирмунский знал многие европейские языки. После войны, помню, он делал доклад на Третьем конгрессе славистов. В перерыве я сказал Виктору Максимовичу: «Я удивлен, Вы, оказывается, знаете не только немецкий, но и сербский язык». Виктор Максимович ответил: «Вы знаете, я даже не заметил, как выучил его».

В.М. Жирмунский был глыбой, человеком энциклопедических знаний. Много позднее, когда я был уже более или менее образованным человеком, я все равно побаивался вступать с ним в беседу, потому что о чем ни начнешь с ним говорить, окажется, что он знает больше, чем ты.

²Эрна Васильевна Померанцева (Гофман) (1899–1980) — видный фольклорист, сказковед. С предвоенных времен была преподавателем возглавляемой Ю.М. Соколовым кафедры фольклора Московского института философии, истории, литературы и лингвистики (МИФЛИ), впоследствии влившееся в Московский государственный университет. С 1960 по 1980 гг. являлась старшим научным сотрудником, профессором-консультантом Института этнографии АН СССР, членом отдела этнографии восточных славян, руководимого К.В. Чистовым.

³Имеются в виду книга В.М. Жирмунского «Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы» (Л., 1924), ставшая его докторской диссертацией, а также «Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования» (Пг., 1922).

Деканом филологического факультета перед войной был Александр Павлович Рифтин⁴, специалист по восточным языкам, замечательный лингвист. На первом курсе он читал нам введение в языкознание, и читал очень интересно. Он очень любил студентам задавать разного рода задачи. Я помню, как однажды он предложил: «В следующий раз подумайте и ответьте мне, умеет ли курица считать своих цыплят». Был у нас Гриша Гибштейн, который позже погиб во время войны. Он, между прочим, сообразил, поднял руку.

– Да, она умеет считать.

– Каким образом?

– Она воспринимает количество как качество.

Действительно, если у хохлушки было семь цыплят, и один пропал, то она это замечает, потому что воспринимает как изменение качества. Она не считает, как мы: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Она воспринимает семь как особое качество в сравнении с шестью. Это был остроумный и правильный ответ и, между прочим, довольно глубокий, потому что если подумать, то можно этот способ размышления применить в некоторых других областях.

Еще одним моим профессором был известный некрасовед Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов⁵. Он был связан с нашей семьей особыми узами. Я уже говорил, что В.Е. Евгеньев-Максимов был школьным учителем моего отца, когда тот учился в царскосельском реальном училище.

Владислава Евгеньевича интересно описывает в своей книге «Город муз» Эрих Голлербах, который учился в том же реальном училище. Владислав Евгеньевич был очень темпераментным человеком. Голлербах пишет, что когда он начинал ученикам рассказывать о чем-нибудь, то входил в раж, всегда был перемазан мелом, не обращал внимания на непорядок в одежде. Когда Владислав Евгеньевич прочел эту книгу, он весьма рассердился. При мне у него был разговор с Голлербахом в Институте русской литературы (Пушкинский Дом). Перед каким-то заседанием Владислав Евгеньевич поднимается по лестнице, видит Голлербаха и го-

⁴Александр Павлович Рифтин (1900 — 1945) — видный языковед, заведующий кафедрой общего языкознания Ленинградского университета (1943 — 1945), помощник декана (1937 — 1938), затем декан (1940 — 1942).

⁵Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов (1883 — 1955) — видный филолог, специалист по творчеству Н.А. Некрасова. Профессор Ленинградского университета (1920 — 1955), научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (1929–1932; 1936–1937; 1946–1953).

ворит: «Вот он разбойник, бандит, который ослабил меня на весь свет. Ну, как ты можешь так писать обо мне?!». Тот смущенно отвечает ему: «Ну, извините, это просто для оживления повествования. Скоро будет второе издание книги, я переделаю это место». Вышло второе издание, но он этот отрывок, кажется, так и не переделал.

Мой старший брат Василий должен был сдавать экзамен Владиславу Евгеньевичу. Тот берет у брата зачетную книжку (тогда ее было принято называть мартикул) и говорит: «Василий Чистов. Так Вы что — из Детского Села?».

– Из Детского Села.

– А отец Ваш тоже Василий? Вы Василий Васильевич?

– Да.

– Интересно. А была такая рыженькая гимназистка, мой ученик Василий Чистов за ней ухлестывал.

– Это моя мама.

– А что Иван? Василий, я знаю, на железной дороге работает (хотя в то время отец уже работал на Путиловском заводе). Расскажи про Ивана.

Рассказал Вася про дядю Ивана. И говорит ему Владислав Евгеньевич: «Вот давайте договоримся. В следующее воскресенье забирайте своих родителей и вместе с ними приходите ко мне».

А потом и я поступил на филологический факультет. Василий, памятуя, что Владислав Евгеньевич знает всех членов нашей семьи, мне сказал: «Попробуй только плохо ему отвечать». В.Е. Евгеньев-Максимов, кстати, уже после войны сманивал меня заниматься Некрасовым. Тогда я опубликовал статью «Некрасов и сказительница Ирина Федосова»⁶. Я в это время был в аспирантуре в Ленинграде, еще не уехал в Карелию. Участвовал в конференции по Некрасову, но уговорам В.Е. Евгеньева-Максимова не поддался и остался верен фольклору.

Григорий Александрович Гуковский⁷ читал нам курс русской литературы XVIII в. Он разработал его абсолютно заново. На лекциях он внушал нам, что разобраться в великом для русской ли-

⁶См.: *Чистов К.В.* Некрасов и сказительница Ирина Федосова // Научный бюллетень Ленинградского государственного университета. 1947. № 16–17. С. 39–45.

⁷Григорий Александрович Гуковский (1902–1950) — выдающийся филолог, специалист в области русской литературы XVIII в. Профессор Ленинградского университета (1935–1949), заведующий кафедрой русской литературы (1938–1944, 1947–1949), научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Г.А. Гуковский — одна из жертв «антикомпаративистской кампании». Он был арестован летом 1949 г., скончался в Лефортовской тюрьме в Москве.

тературы XIX в. без XVIII столетия невозможно. Потом я понял, что и без XVII в. нельзя понять русскую классическую литературу. Г.А. Гуковский был не просто блестящим знатоком литературы, но и прекрасным оратором, великолепным лектором. Даже если время его лекций совпадало с другими какими-то обязательными занятиями, я бросал все и ходил к нему. И не только я один, так делали многие мои товарищи из нашей группы.

Из старшего поколения учителей помню еще академика Александра Сергеевича Орлова⁸. Он жил в академическом доме, который находится на Васильевском острове на Университетской набережной Невы — дом, весь облепленный памятными досками (там их около сорока), прямо как кладбище. Этот дом еще с XVIII в. был академическим.

Орлова называли «древнерусский академик», потому что он старый был. Какая-то у него была болезнь — нос весь раздутый, уродливый очень. Он прекрасно знал древнерусскую литературу. Одно время был заместителем директора Пушкинского Дома.

На различного рода заседаниях он всегда дремал, но все слышал. Сидит так с прикрытыми глазами, но все слышит и потом выступает и говорит по делу. Однажды на заседании кафедры русской литературы, которой заведовал Гуковский, делал доклад Александр Исаакович Никифоров⁹, прекрасный фольклорист. У него появилась идея, что «Слово о полку Игореве» — это разложившаяся былина. Никифоров пробовал отдельные куски «Слова о полку Игореве» читать, меняя ударения, в ритме былины. А ведь мы почти ничего не знаем о древнерусских ударениях, там ведь все построено на долгих и кратких гласных. Прочел доклад, слушали его с интересом, но кто-то начал сомневаться. Тогда Гуковский, обращаясь к академику Орлову, говорит: «Александр Сергеевич, мы Ваше мнение ждем, Вы же специалист по древнерусской литературе». Орлов оглянулся вокруг, увидел на столе какую-то книгу, взял ее. Это оказалась «Анна Каренина». Он взял и кусок из «Анны Карениной» прочитал, меняя ударения, в рит-

⁸Александр Сергеевич Орлов (1871–1947) — выдающийся филолог, специалист по древнерусской литературе; академик (1931). Профессор Ленинградского государственного университета (с 1931 г.), научный сотрудник, заместитель директора Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, создатель Сектора древнерусской литературы (1932–1947).

⁹Александр Исаакович Никифоров (1893–1942) — видный фольклорист, сказковед. Перед войной защитил в Ленинградском государственном университете докторскую диссертацию «Слово о полку Игореве — былина XII века».

ме былин. Встал и ушел. В общем, А.И. Никифоров был как оплеванный. И дискуссии уже никакой не могло быть, потому что этим было все сказано.

В университете нас воспитывали филологами, а не просто литературоведами или лингвистами. И по-своему впоследствии нам в жизни было потом очень трудно, потому что планка, выражаясь спортивным языком, была поднята нашими учителями так высоко, что нам всегда казалось невозможным достигнуть их уровня. История рассудит, кто чего достиг и как было дело, но у нас было такое ощущение — надо равняться на наших учителей.

Фольклор нам читали Марк Константинович Азадовский и Владимир Яковлевич Пропп. Но у них состязаний особенных не было, потому что налицо была разная структура знаний. В.Я. Пропп учился немного позже, чем М.К. Азадовский. Он застал семинарий конца 1910-х годов С.А. Венгерова, из которого вышло очень много хороших филологов. Семинарий создавался как пушкинский, но потом стал всеобъемлющим. Пожалуй, нельзя назвать ни одного крупного ленинградского литературоведа, который не прошел бы через этот семинар.

В университете моим учителем стал Марк Константинович Азадовский. Читавшийся им курс русского фольклора предназначался для всех студентов, а для тех, кто желал специально заниматься фольклором, давался еще маленький вводный курс библиографического характера. После библиографических азов раздавались темы для курсового сочинения. У Марка Константиновича был специальный список тем. Иногда кто-то не решался выбрать себе тему: «Что Вы, Марк Константинович, мне не справиться с этой темой». В таком случае у М.К. Азадовского в ответ была такая поговорка, вернее, цитата из Мицкевича: «Не по силам цели выбирай, а по цели силы напрягай».

Занятия фольклорного семинара М.К. Азадовского нередко проходили у него дома. Деканат тогда разрешал приглашать студентов для семинарских занятий домой к профессорам. М.К. Азадовский жил недалеко от университета, на Невском проспекте. Он любил приглашать к себе студентов. Дело не в том, что ему лень было ходить в университет. Дома можно было снять с полки и показать любые книги. Он говорил, что книгами можно пользоваться по-разному: просто подержать в руках, полистать, почитать по диагонали или вчитаться, хорошенько проработать книгу.

Однажды на семинаре у М.К. Азадовского произошел интересный случай с Юрием Михайловичем Лотманом, впоследствии — выдающимся ученым, филологом мировой известности. Тогда он учился на первом курсе. Его сестра, Лидия Михайловна Лотман (известный литературовед, потом она работала в Пушкинском

Доме)¹⁰, была старше него на два курса: она училась вместе с моим братом Василием. А с Юрой Лотманом было так. Он на квартире у Марка Константиновича должен был делать доклад на тему «Русская сказка и лубок». Мы, знавшие Лидию Михайловну как очень серьезную студентку, перед докладом несколько скептически говорили: «Посмотрим, какой доклад будет у брата Лиды». Юра очень интересно начал доклад, а потом вдруг погас свет. Было уже темно. Помню, Миша Михайлов, очень талантливый человек, который с нами тоже был в семинаре (погиб на войне)¹¹, толкнул меня рукой сзади и говорит: «Послушаем, что этот птенец нам будет говорить без шпаргалки». А Юра бойко продолжил свой доклад — очень интересный доклад. Когда мы стали уже выходить от Марка Константиновича, кто-то из присутствующих сказал: «Знаете, ребята, это не просто брат Лиды Лотман, он и сам Лотман». И, действительно, из него впоследствии вырос очень талантливый ученый. После войны Ю.М. Лотман стал профессором Тартуского университета, создал там целую школу, был одним из создателей московско-тартуской школы семиотики.

Марк Константинович однажды меня страшно смутил. Приехав из Москвы в Ленинград, Юрий Матвеевич Соколов пришел на заседание кафедры. Перед занятием Марк Константинович подвел меня к нему и представил: «Познакомься с моим новым студентом (они на “ты” были). Вот раньше были братья Соколовы, а теперь будут братья Чистовы». Я готов был в тот момент сквозь землю провалиться. Я ведь первоклашка тогда еще был, учился только первые полгода.

До войны я успел побывать в фольклорных экспедициях в 1938, 1939 и 1940 гг., как-то за год побывал даже в двух экспедициях — в Карелии и на Дону.

Одним из моих старших товарищей по университету, с которым я оказался в экспедиции на Дону, был Иван Кравченко. Это был очень способный человек. Он сначала работал наборщиком в типографии в Сталинграде, потом стал редактором в издательстве. Составил в Сталинграде пару приличных фольклорных сбор-

¹⁰Лидия Михайловна Лотман (1917 г.р.) — видный филолог, специалист по литературе XIX в. В 1939 г. поступила в аспирантуру Пушкинского Дома. С 1946 по 2001 гг. — научный сотрудник Института русской литературы. Начинала как фольклорист в семинаре М.К. Азадовского.

¹¹См. издание, подготовленное М.М. Михайловым, завоевавшее большой авторитет в науке: Русские плачи Карелии / Подгот. текстов и прим. М.М. Михайлова; Статьи Г.С. Виноградова и М.М. Михайлова. Петрозаводск, 1940.

ников¹², прислал их Азадовскому. Тот пригласил его приехать в Ленинград. Кравченко так ему понравился, что он принял его в аспирантуру.

Каждую весну М.К. Азадовский приводил в порядок свою библиотеку — обеспыливал ее, чистил. И звал в помощь студентов. Азадовский говорил: «Кто участвует в весенней чистке библиотеки, тот имеет право ею пользоваться». А библиотека была прекрасная. Так вот Ивана Кравченко Марк Константинович всегда ставил нам в пример: «Ну, что вы читаете — берете книжку-две, а Ваня Кравченко ко мне придет и скажет: “Можно я вот эту полочку возьму?”. И уносил целую полку книг. Через месяц, прочитав, приносил книги обратно».

И.И. Кравченко был человеком, который прочитал колоссальное количество книг. Человек непрерывного чтения. Мы с ним ездили в фольклорную экспедицию на Дон — от Цимлянкой до Ростова. Наш маршрут проходил по нижним станицам. Мне повезло, между прочим: тогда я записал одну донскую былинку. Это очень редкий случай — запись былины на юге России. Я потом написал об этом студенческую работу, но она не была опубликована: потерялась во время войны. В этой работе я предлагал называть донские былины донскими былинными песнями, потому что они не похожи на северные былины: поэтическая система совсем другая.

Когда мы с Кравченко были на Дону, передвигаться чаще всего приходилось пешком. Машин тогда было мало. Иван всегда брал с собой книжки. Мы идем 30 км до следующей станицы, делаем привал, он тут же открывает книгу и начинает читать. Пел, кстати, сам очень хорошо. Знал донские песни. Сейчас записи нашей донской экспедиции находятся в архиве Пушкинского Дома.

Я в студенческие годы несколько идеализировал Ивана Кравченко. Мне казалось, что если он так много читает и так много

¹²См.: *Кравченко И.И.* Частушки колхозной деревни // Поволжье. Сталинград, 1935. № 6–7. С. 97–106; Частушки колхозной деревни / Сост. И.И. Кравченко. Волгоград, 1935; Песни донского казачества / Сост. И.И. Кравченко; Под ред. А.В. Швера. Сталинград, 1936; Песни донского казачества / Сост. И.И. Кравченко. Сталинград, 1937; *Кравченко И.* Дед Щукарь («Поднятая целина» М. Шолохова) // Резец. 1939. № 13–14. С. 22–23; Донские народные драмы: Ермак, Атаман Буря / Предисл. И.И. Кравченко // Литературный Ростов: Альманах. Ростов-на-Дону, 1940. Кн. 8. С. 143–157; *Кравченко И.И.* Шолохов и фольклор // Литературный критик. 1940. № 5–6. С. 211–228; *Кравченко И.И.* Шолохов и фольклор // Михаил Шолохов: Лит.-крит. сб. Ростов-на-Дону, 1940. С. 75–123 и др.

знает, то и понимает все, значит, он великий ученый. А оказалось, что ученый он хороший, но не выдающийся. После войны я читал его кандидатскую диссертацию — что-то об отношении фольклора к действительности. Он ее писал по аналогии с диссертацией Н.Г. Чернышевского «Отношение искусства к действительности». По правде сказать, меня эта работа Ивана несколько разочаровала. Но он защитил кандидатскую диссертацию. М.К. Азадовский перед самой войной устроил его работать в Украинскую академию наук. Институт из Киева был эвакуирован в Уфу. И Кравченко поехал туда. Украинская Академия наук добилась для него «брони». Он успел написать и опубликовать одну статью. Потом «бронь» все-таки отменили — молодой, здоровый парень, ему было где-то около 30 лет. Ивана забрали в армию, и он погиб. Жалко.

До войны, как я уже сказал, я работал в семинаре М.К. Азадовского. У Марка Константиновича было такое правило: каждый, кто занимался у него в семинаре, должен был поработать еще в каком-то другом семинаре. Я работал один год у М.К. Азадовского, год у Г.А. Гуковского, год у В.Е. Евгеньева-Максимова, год у Б.М. Эйхенбаума. Ежегодно мы обязаны были писать курсовое сочинение, как правило, это была работа на стыке разных проблем. Я на одном из курсов писал сочинение «Сумароков и фольклор». Эта тема курировалась одновременно М.К. Азадовским и Г.А. Гуковским. Моя статья на эту тему позже была опубликована. Сумароков до Крылова был самым лучшим русским баснописцем. Если бы в нашей литературе не было Крылова, мы бы самым крупным баснописцем считали Сумарокова. Я приготовил доклад, который обсуждался на семинаре. Речь шла не только о притчах и баснях, но и о комедиях Сумарокова, говорилось о дискуссии между Ломоносовым и Сумароковым по поводу ритмики русского стиха. Доклад прошел хорошо. После него Григорий Александрович Гуковский сказал мне: «Насчет дискуссии надо подсократить, о комедиях надо дать несколько строчек, а притчи надо развернуть, и тогда это будет очень интересно».

Дело в том, что Сумароков написал 200 притч. Ими серьезно занимался профессор Варшавского университета Заусцинский¹³. Он показал, откуда были заимствованы сюжеты басен. В литературе, как известно, на разных языках использовались близкие сюжеты, начиная с Эзопа, дальше Лафонтен, Гердер и т.д. Сюжеты повторялись из одной национальной литературы в другую. За-

¹³См.: *Заусцинский К.* Басни Сумарокова // Варшавские университетские известия. 1884. № 3. Отд. IV. С. 1–32; № 5, Отд. III. С. 33–126 (со списком сюжетов, заимствованных из иностранных источников).

усинский объяснил происхождение около 180 притч Сумарокова, возведя их к каким-то источникам. А я занялся остальными и выяснил, что они восходят к русскому фольклору. В трагедиях Сумарокова нет никаких фольклорных заимствований, а в комедиях они наличествуют, и тем более в баснях (притчах): ведь этот жанр, согласно классицистической поэтике, считался «низким». В общем, я нашел около двадцати фольклорных источников для басен Сумарокова. Это понравилось Гуковскому, и он мне сразу сказал: «Готовьте к печати. Я в сборнике “XVIII век” опубликую». Я был необыкновенно счастлив, потому что для студента публикация в таком солидном сборнике, как «XVIII век», была большой честью.

Я написал статью, отдал ее Григорию Александровичу, но вскоре началась Великая Отечественная война, и сборник, естественно, тогда не вышел. После войны, когда я уже был в аспирантуре, Г.А. Гуковский встретил меня и говорит: «Кирилл Васильевич, у меня ведь в “портфеле” лежит Ваша статья “Сумароков и фольклор”. Мы сейчас думаем возобновить издание сборника. Вы, наверное, захотите посмотреть свою работу, что-то переделать. Были Вы мальчиком, а теперь стали “мужем”». — «Конечно, Григорий Александрович, очень хочу посмотреть». Взял я свою старую студенческую работу, многое дополнил, переделал. Экземпляр этой статьи, с редакционными поправками Гуковского, кстати, хранится у меня дома как ценность. Поправок не очень много, но они сделаны рукой Гуковского!

Издание сборника тогда задержалось, а потом Гуковский был арестован по делу Еврейского антифашистского комитета. Все его члены тогда были арестованы. В то время, после Второй мировой войны, как раз создавалось Израильское государство. Сначала у нас, в руководстве СССР, было очень положительное отношение к созданию еврейского государства в Палестине. Советскому Союзу было выгодно, что англичан вышибли из Ближнего Востока. До этого территория Палестины, на которой жили арабы, являлась колонией англичан. Лигой Наций было принято решение передать часть палестинской территории для создания еврейского государства. Но вскоре позиция сталинского руководства изменилась, тогда-то и был арестован весь Еврейский антифашистский комитет.

Г.А. Гуковский, как известно, умер в тюрьме. Прошел еще год-два, я уже работал в Карелии. Приезжаю в Ленинград. Встречает меня Павел Наумович Берков и говорит: «Кирилл Васильевич, я смотрел Вашу статью, она даже уже была отредактирована Григорием Александровичем. Будем печатать в сборнике “XVIII век”». — «Очень рад. Буду очень Вам благодарен». Но издание

опять тянулось очень долго, и в конце концов в 1955 г. я напечатал эту статью, названную мною «"Притчи" Сумарокова и русское народное творчество», в «Ученых записках Карело-Финского педагогического института»¹⁴. Так что моя первая студенческая работа оказалась самой долгой публикацией.

¹⁴См.: Чистов К.В. «Притчи» Сумарокова и русское народное творчество // Учен. зап. Карело-Фин. пед. ин-та. Петрозаводск, 1955. Т. 2. Сер. обществ. наук. Вып. 1. С. 145–160.

МАРК КОНСТАНТИНОВИЧ АЗАДОВСКИЙ¹



Марке Константиновиче Азадовском я слышал еще до поступления на филологический факультет Ленинградского университета. О нем рассказывал мне мой брат В.В. Чистов. Он с 1934 г. учился в университете² и с первого курса увлеченно работал на незадолго до этого открывшейся кафедре русского фольклора. С 1935 г. он начал участвовать в фольклорных экспедициях.

До поступления в университет мне удалось прочитать и некоторые работы М.К. Азадовского — это был двухтомник, изданный в издательстве «Academia», «Русская сказка. Избранные мастера»³ и статьи о сказках Пушкина и Арине Родионовне⁴. Двухтомник, как мне помнится, брат приносил из библиотеки, приобрести его удалось только позже; а статьи о Пушкине заинтересовали меня особенно, так как в конце 1936 и начале 1937 гг., когда я учился в десятом классе, мне пришлось выступать с лекциями и чтением пушкинских стихов на предприятиях Детского Села (с 1937 г. — г. Пушкин). В связи со 100-летием дуэли и гибели великого поэта пушкинский юбилей отмечался очень широко.

¹ Впервые опубликовано: *Чистов К.В.* Из воспоминаний о М.К. Азадовском // Воспоминания о М.К. Азадовском. Иркутск, 1996. С. 59–78.

Марк Константинович Азадовский (1888–1954) — выдающийся фольклорист, заведующий кафедрой фольклора Ленинградского государственного университета, заведующий отделом фольклора Института литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

² Кафедра фольклора была создана в 1934 г. при Ленинградском историко-лингвистическом институте (ЛИЛИ), который в том же году был преобразован в Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории (ЛИФЛИ). В 1937 г. ЛИФЛИ вошел в Ленинградский государственный университет, образовав там филологический факультет.

³ См.: Русская сказка: Избранные мастера / Ред. и комм. М.К. Азадовского. Л., 1932. Т. 1–2.

⁴ См.: *Азадовский М.К.* Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. С. 134–163; *Азадовский М.К.* Сказки Пушкина // Пушкин А.С. Сказки. Л., 1936. С. 105–141; *Азадовский М.К.* Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л., 1938 и др.

В эти же годы — с января 1935 г. — мне посчастливилось быть причастным к замечательному и своеобразному детскому литературному клубу (он назывался Детский литературный университет), организованному С.Я. Маршаком. После литературного конкурса газеты «Ленинские искры» были отобраны из Ленинграда и ближайших пригородов, кажется, около 30 мальчиков и девочек. Мы собирались обычно два раза в неделю по вечерам в старом здании на Исаакиевской площади и занимались языками, слушали литературные и всякие другие лекции, обсуждали свои стихи и рассказы. Кроме того, С.Я. Маршак иногда просто приходил с какой-то книгой (стихами Боратынского, Тютчева, Верхарна, Уитмена и т. д.), читал нам стихи по-русски, по-французски или по-английски и в переводах и говорил о том, как он их понимает и как их надо понимать. И, наконец, он любил приводить к нам интересных людей. Среди них были известный полярный исследователь В.Ю. Визе, писатель и пушкинист А.Л. Слонимский, челюскинцы, архангельский писатель Б.В. Шергин, Л.И. Пантелеев и многие другие. Среди них оказались и крупнейшие северорусские сказители, приезжавшие в те годы в Ленинград, — певец былин П.И. Рябинин-Андреев, исполнитель былин и сказочник Ф.А. Конашков. Они меня чрезвычайно заинтересовали. После нескольких лет типичного мальчишеского рационализма, заставлявшего меня отвергать сказки и показавшиеся мне в школе совершенно неинтересными былины, я вдруг увидел старых людей, которые с удивительной серьезностью и вместе с тем с артистизмом и явным удовольствием поют былины и рассказывают сказки. В живом исполнении это было что-то совсем новое и увлекательное, мало похожее на чтение сказок из детских книжек или, тем более, чтение былин в школьных хрестоматиях.

Таким образом, чтение первых ставших мне доступными работ М.К. Азадовского, встречи со сказителями и рассказы брата о фольклорных экспедициях увлекали меня в одну и ту же сторону. Я поддался этому юношескому увлечению и остался верен ему всю жизнь.

Поэтому, когда с братом и родителями я обсуждал, какую мне выбрать специальность, куда пойти учиться после десятого класса, я без колебаний назвал филологический факультет, и было решено: необходимо убедиться в том, что я не ошибся в выборе, и побывать хотя бы на нескольких лекциях в университете. Так я попал на лекции Г.А. Гуковского, Д.Е. Тамарченко и, конечно, М.К. Азадовского — это была одна из лекций по истории русской фольклористики.

М.К. Азадовский не обладал таким ошеломляющим красноречием, как Г.А. Гуковский, но меня поразила серьезность и исто-

рическая глубина проблем, которые в его лекциях связывались с проблемами фольклора. Первобытность, сравнительные материалы из фольклора других народов, связь фольклористики с проблемами русской литературы и общественного движения XIX в., современное бытование фольклора — все это увязывалось в единую по своим масштабам концепцию, еще совершенно незнакомую и не вполне понятную мне. Но зато я со всей ясностью ощутил: фольклор не только интересен, о нем существует серьезная наука. Это окончательно определило мой выбор. Я решил идти на филологический факультет для того, чтобы заниматься фольклористикой у М.К. Азадовского. Я понимал вместе с тем, что это не только не отвлечет меня от других моих литературных интересов, но придаст им неожиданные краски. В этом я убедился, читая одну из курсовых работ моего брата Василия «Пушкинский “Узник” в фольклоре». И в этом смысле я тоже не ошибся.

Вокруг М.К. Азадовского сложилась многолюдная, но тесно связанная друг с другом группа студентов разных курсов — члены фольклорного кружка и семинара. Все они работали при кафедре, но вместе с тем М.К. Азадовский поощрял параллельную работу в других семинарах. Так, на первых четырех курсах я побывал в семинарах Г.А. Гуковского, Б.М. Эйхенбаума, В.Е. Евгеньева-Максимова, слушал спецкурсы В.М. Жирмунского, В.А. Гофмана.

Я позже понял: это не был просто педагогический прием. Марк Константинович сам был литературоведом в такой же степени, как фольклористом. Его работы по XIX в. (декабристы, Тургенев, Омулевский, Короленко и др.) первоклассны. Впрочем, достаточно почитать его двухтомную «Историю русской фольклористики», чтобы представить себе, сколь обширны были его познания в истории русской литературы.

Характерно вместе с тем, что М.К. Азадовский после того, как в 1938 г. при филологическом факультете была открыта кафедра этнографии, рекомендовал своим ученикам ходить на лекции Д.К. Зеленина, Е.Э. Бломквист, П.Н. Винникова. Вопрос о том, что есть фольклористика: филологическая наука (раздел литературоведения) или наука этнографическая — вообще не стоял, тем более в том виде, в каком его много раз возбуждали позже некоторые фольклористы. Кстати, когда мне через несколько лет пришлось быть аспирантом при той же кафедре, мы сдавали кандидатский минимум, который охватывал и литературоведческую, и этнографическую, и собственно фольклористическую проблематику. Понимание фольклористики как науки одновременно филологической (словесные тесты) и этнографической (они функционируют в народном быту) было для М.К. Азадовского само собой разумею-

щимся. Как известно, в студенческие годы, учась на филологическом факультете, он, как тогда говорили, приватно занимался этнографией (в том числе и этнографией Сибири) у Л.Я. Штернберга.

Но возвратимся назад. В 1937 г. я стал студентом филологического факультета. В конце сентября в первый раз при мне собрался фольклорный кружок — на нем слушались предварительные доклады об экспедициях прошедшего лета. Тут я впервые встретился с большинством предвоенных учеников М.К. Азадовского (с некоторыми из них — сокурсниками моего брата — я был уже знаком): А.Д. Соймоновым, Г.Н. Париловой, М.М. Михайловым, В.Р. Дмитриченко, Н.В. Новиковым, А.М. Кукулевицем, О. Володиной, М.А. Шнеерсон, И.М. Колесницкой, И.Н. Этиной и др. Четверем из своих учеников, погибшим в годы Великой Отечественной войны, М.К. Азадовский посвятил свою двухтомную «Историю русской фольклористики». Посвящение гласит: «Светлой памяти моих учеников-фольклористов, павших в боях за родину: Анатолия Кукулевича, Ивана Кравченко, Ольги Володиной, Михаила Михайлова посвящается»⁵.

Заседания проходили весьма непринужденно. Доклады начальников отрядов переходили в общую беседу, расспросы. М.К. Азадовский — известный собиратель с большим экспедиционным опытом — в эти годы в «поле» уже не ездил, но надо было видеть, с каким интересом он расспрашивал вернувшихся из экспедиций. Его радовала увлеченность молодежи, и глаза его светились лаской и открытым удовольствием, когда он видел, что записано что-то особенно интересное и записавший смог это оценить. Видны были не только тексты, но и значительные исполнители, особенности их репертуара и сказительской манеры, отношение к ним односельчан, приемы записи. Почти все было мне внове и слушалось с необыкновенным интересом.

Во втором полугодии начались лекции по фольклору. Курс М.К. Азадовского был настолько содержательным, что к концу полугодия я со всей наивностью считал себя фольклористом. Я прочитал всю рекомендованную литературу, читал сборник за сборником текстов и, пользуясь советами брата, старался как можно больше прочитать классических фольклорных монографий. Это стимулировалось также тем, что довольно значительная часть курса русского фольклора отводилась истории русской фольклористики. Я еще не знал тогда, насколько это необычно. Поэтому, когда начались систематические курсы по истории русской и зарубеж-

⁵ Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1. С. 19.

ной литературы, мне казалось, что им не хватает историографических введений или рядом с ними (*перед ними?*) должен был бы читаться курс истории литературоведения.

Позже я понял, что такое внимание к историографии было связано у Марка Константиновича, помимо всего прочего, с тем, что в эти годы он работал над «Историей русской фольклористики». Однако это все-таки недостаточно объясняет то влияние, которое оказало на меня и моих товарищей — учеников М.К. Азадовского — такое построение курса. Марк Константинович приучил нас не ожидать от него непрерывного изречения истин. Когда какая-то проблема ставилась, то тут же демонстрировались ее различные решения, которые предлагались учеными, принадлежавшими к разным школам и направлениям. Каждая проблема таким образом получала историческую перспективу, а отдельные ее решения не представлялись только ошибочными, они получали историческую мотивировку. Часто (если не обычно) оказывалось, что они содержат все-таки какое-то рациональное зерно, отражают какую-то сторону вопроса, иногда в гипертрофированном виде, но все-таки реально существующую. Это приучало что-то принимать, а что-то не принимать, не считать, что есть раз и навсегда установленные истины (или, скажем мягче, решения отдельных проблем), что наука динамична и нас ждут свои решения. Только сейчас можно по-настоящему оценить, как это было важно на фоне нараставшей догматичности общественных наук того времени.

Вероятно, это все так прямо не формулировалось, но так отложилось в сознании, так об этом теперь вспоминается. Круг учеников М.К. Азадовского, в котором я оказался, был очень активен. Вопросы, возникавшие в семинаре, на занятиях кружка, на лекциях, продолжали обсуждаться в перерывах, после занятий и, как я узнал позже, особенно рьяно во время экспедиций. Одна из постоянно и остро обсуждавшихся проблем могла бы иллюстрировать и горячность, и незрелость наших тогдашних споров: почему Марк Константинович придает такое значение истории науки, ее самопознанию? Является ли это показателем кризиса фольклористики или, наоборот, ее развития, приобретения ею разносторонности? Нам тогда трудно было понять, что то и другое могло совмещаться, переплетаться и не противоречить одно другому. Надо учесть, что все это происходило на фоне 1937–1938 гг., для которых характерно было обострение национально-патриотических настроений, связанных с явно приближавшейся войной, и вместе с тем исключительно сложных и противоречивых внутренних событий.

Полугодие заканчивалось, дело шло к экзаменам. И вдруг оказалось, что они меня пугают. За год я успел познакомиться с Марком Константиновичем, ходил на занятия его кружка, на заседания его кафедры и мне казалось, что он считает меня своим потенциальным учеником.

Если я чувствовал себя хоть маленьким, но уже каким-то фольклористом, а Марк Константинович видит во мне своего ученика, то сколько мне надо знать, чтобы не подвести его? И я начал не просто читать фольклористические книги, а лихорадочно готовиться к экзамену.

Экзамен я сдал хорошо. Марк Константинович дважды прерывал меня, говорил: «Ну, хватит, хватит, я вижу, что Вы это знаете!». После первого вопроса он позвал Наталию Павловну Колпакову послушать, как отвечает один из членов кружка. Она была в это время заведующей кабинетом фольклора и очень приветливо относилась ко всем, кто интересовался фольклором и постоянно занимался в кабинете⁶.

Экзамен кончился для меня вполне благополучно — я получил «5». Марк Константинович не знал тогда, что эту пятерку мне пришлось «оплатить». Студенты могли в те годы сами решать, в какой из тех дней, которые объявлены профессором, они будут экзаменоваться. В ту сессию мне полагалось сдать какое-то количество зачетов и три экзамена. Один из них я сдал досрочно. 24 дня, которые у меня образовались для сдачи оставшихся двух, я распределил так — 20 дней отвел на фольклористику и только три дня — на политэкономия. Оказалось, что, несмотря на занятия в году (чтение «Капитала» и т.д.), трех дней для политэкономии было мало, а никаких возможностей маневрировать у меня уже не осталось. Я явился на экзамен измученный и усталый. Преподаватель выслушал меня терпеливо и, улыбаясь, спросил: «Вы довольно старательно выкручиваетесь, но скажите честно, сколько дней Вы занимались перед экзаменом?». Мне пришлось ответить: «Три дня...». — «Ну, — сказал он, — такова и цена Вам!». И поставил мне в зачетную книжку тройку — единственную для меня тройку за все время учебы в университете.

⁶ Наталья Павловна Колпакова (1902–1994) — фольклорист, специалист в области лирической песни и свадебного обряда. Как ученый сложилась в 1920-е годы в Государственном институте истории искусств. В 1930-е гг., после увольнения из ГИИИ, работала в различных библиотеках Ленинграда. В 1939 г. была приглашена М.К. Азадовским на кафедру фольклора Ленинградского государственного университета на должность заведующего кабинетом народного творчества. В 1953–1967 гг. научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Марк Константинович, кажется, действительно не знал об этой тройке. Экзамен по политэкономии был после фольклорного. По крайней мере, мне он об этом ничего не говорил и ни о чем не спрашивал. Сейчас я с некоторым сомнением размышляю об этом, так как у М.К. Азадовского очень развито было то, что можно было бы назвать «чувством учителя». Его ученики должны были составлять «школу Азадовского». Он следил за ними с интересом и некоторым напряжением. Мы должны были быть достойны его. Поэтому он мог остановиться в коридоре кого-нибудь из своих учеников и спросить с огорчением: «Как же Вы могли получить тройку по французскому языку? Мои ученики так не учатся». Но, может быть, к моменту экзамена он не считал еще меня своим учеником?

Марк Константинович очень заботился о нас и радовался каждому нашему успеху. В послевоенные годы ему, отягощенному болезнями, трудно было после занятий нести портфель, обычно туго набитый книгами и рукописями. Мы стремились ему помочь, а Марк Константинович любил назначать провожавших по очереди. Жил он в это время на углу Невского и улицы Герцена. Это было сравнительно недалеко, но все-таки надо было пройти от филологического факультета до Дворцового моста, обогнуть Адмиралтейский сад и по Невскому пройти до бывшего дома Елисеева на улице Герцена. По дороге задавался традиционный вопрос: «Ну, что же Вы читали за последний месяц по фольклористике?», и далее следовала интереснейшая беседа о прочитанном или о готовившейся курсовой или дипломной работе, о диссертации, об экспедиционном отчете или, наконец, о какой-нибудь уже сочинявшейся статье или рецензии.

Эти беседы незабываемы. Они не только держали нас в постоянном напряжении («Что я читал за этот месяц по фольклористике?»), но и учили обдумывать прочитанное, выяснять какие-то попутные вопросы, накапливать сомнения и аргументы.

Марк Константинович не только радовался успехам своих учеников, но и любил демонстрировать их своим коллегам по факультету или фольклористике. Помню, как он смутил меня в дни юбилейного съезда Всесоюзного географического общества (1948 г., Ленинград). В перерыве между заседаниями фольклорной секции П.Г. Богатырев рассказал Марку Константиновичу о том, что одна из его аспиранток пишет диссертацию об олонекких причитаниях, и попросил проконсультировать ее. Марк Константинович тут же позвал меня и велел консультировать аспирантку Богатырева. Это означало: посмотрите, мой аспирант консультирует аспирантку Богатырева! Я же только начинал заниматься И.А. Федосовой и причитаниями и вовсе не считал, что я могу кого-то консультировать. Но пришлось, напрягаясь, как говорят, из последнего.

Помню, как мне досталось от Марка Константиновича за рецензию на «Спутник фольклориста» В.Ю. Крупянской и В.М. Сидельникова, написанную вместе с братом и опубликованную в 1939 г. в «Резце»⁷. Побывав в двух экспедициях (а брат, вероятно, в четырех-пяти), я вообразил себя знатоком методики собирания фольклора и под руководством брата разносил в пух и прах методичку В.Ю. Крупянской и В.М. Сидельникова. Это была юношеская дерзость, и Марк Константинович дал мне понять это. Это был мой «Ганс Кюхельгартен»⁸, и сейчас я бы с удовольствием скупил тираж журнала для уничтожения его. Но уже поздно. Хорошо, что этот эпизод основательно забыт. В послевоенные годы, когда я близко познакомился и даже подружился с В.Ю. Крупянской⁹, она время от времени напоминала мне о нем и подшучивала над моей юношеской отвагой.

В аспирантское время, когда как-то раз надо было составить еще весьма скудный список работ, я спросил, упоминать ли мне об этой рецензии. Марк Константинович сказал суховаато: «Придется!», но потом все-таки хитровато улыбнулся.

Не надо думать, что Марк Константинович нянчил нас. Он стремился скорее приобщить нас к делу и к самостоятельности. Он удивительно умел вовлекать своих учеников в подлинные дела и избегать столь распространенной в учебных заведениях «игры в науку» — пишутся сотни курсовых и дипломных работ, а потом все оказываются в мусорной корзине. Исключений не так уж много.

Я не знаю ни одного довоенного (да и послевоенного) филологического семинара, участники которого столь активно печатались бы. Так, М.М. Михайлов, погибший в годы войны, в студенческие годы собрал уникальный материал и издал сборник «Русские плачи Карелии», Н.В. Новиков — один из лучших сборников русских сказок «Сказки Ф.П. Господарева», Г.Н. Парилова и А.Д. Соймонов — «Былины Пудожского края», В.В. Чистов — «Творчество народов Карело-Финской ССР»; еще ранее Л. Громов, А.Д. Соймонов и В.В. Чистов выпустили весьма своеобразный сборник «Песни и сказки на Онежском заводе», И.М. Колесницкая вместе с М.К. Азадовским издала «Сказки Магая». Со-

⁷ См.: Чистов В.В., Чистов К.В. [Рец. на кн.: Крупянская В.Ю., Сидельников В.М. Спутник фольклориста: Методическое пособие. М., 1939] / Резец. 1939. № 13/14. С. 32. Это первая публикация К.В. Чистова.

⁸ «Ганс Кюхельгартен» — ранняя юношеская поэма Н.В. Гоголя, написанная в подражание стилю немецкого романтизма и встретившая после опубликования резко отрицательные отзывы критиков. Тираж изданной поэмы был скуplen Гоголем и сожжен.

⁹ Вера Юрьевна Крупянская (1897-?) — московский фольклорист; работала в Фольклорном архиве Государственного литературного музея.

всем перед войной — в 1939–1941 гг. — готовились сборники «Сказки Ф.Н. Свиньина» (В.Р. Дмитриченко), «Беломорские сказки» (И.М. Колесницкая и М.А. Шнеерсон), «Былины и исторические песни И.Т. Фофанова» (К.В. Чистов). Война помешала публикации этой «второй очереди» сборников. Я не упоминаю при этом статьи и библиографические работы (например, по рабочему фольклору — А.Д. Соймонова и В.В. Чистова), публиковавшиеся в студенческих томах «Ученых записок филологического факультета ЛГУ»¹⁰, и отдельные рецензии и заметки в самых разных изданиях.

Самым талантливым предвоенным учеником М.К. Азадовского был, несомненно, Анатолий Михайлович Кукулевич. Досадно, что его жизнь сложилась так, что деятельность в области фольклористики и литературоведения была слишком коротка. Он смог только довольно поздно, в 1934 г., поступить в университет — препятствием, существенным для конца 1020-х — начала 1930-х годов, было его дворянское происхождение. Но пришел он на филологический факультет по существу уже зрелым ученым, чрезвычайно образованным и даровитым. Его интересы были весьма широки — от античной филологии до русского фольклора, литературы начала XIX в. и Достоевского. После окончания университета (его приглашали в аспирантуру три кафедры — античной филологии, русской литературы и русского фольклора) он был призван в армию и в 1944 г. погиб. Он успел напечатать только статьи «Источники баллады Пушкина “Жених”», «Из творческой истории баллады Пушкина “Жених”» (обе в соавторстве с Л.М. - Лотман) и «Идиллия Гнедича “Рыбаки”»¹¹.

¹⁰ Имеется в виду ротационное издание: Студенческие записки филологического факультета Ленинградского государственного университета. Л., 1937. Здесь были опубликованы студенческие работы Л. Громова, И.М. Колесницкой, А.М. Кукулевича, Л.М. Лотман, М.М. Михайлова, Н.В. Новикова, А.Д. Соймонова, В.В. Чистова, И. Этиной. Не исключено, что существовали и другие «самиздатовские» номера «Студенческих записок».

¹¹ См.: *Лотман Л.М., Кукулевич А.М.* Источники баллады Пушкина «Жених» // Студенческие записки филологического факультета Ленинградского государственного университета. Л., 1937. С. 90–111; *Кукулевич А.М., Лотман Л.М.* Из творческой истории баллады Пушкина «Жених» // Пушкинот: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941. Вып. 6. С. 72–91; Кукулевич А.М. «Илиада» в переводе Н.И. Гнедича // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. Л., 1939. № 33. Вып. 2. С. 5–70; *Кукулевич А.М.* Русская идиллия Н.И. Гнедича «Рыбаки» // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. Л., 1939. № 46. Вып. 3. С. 284–320; *Орлов В.Н., Кукулевич А.М.* Гнедич // История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 5. С. 418–435.

Одним словом, никто сейчас не удивился бы, если подобная серия работ была подготовлена за 5–6 лет целым институтом. И что особенно важно: на всех этих работах нет печати ученичества, незрелости, неумения. Марк Константинович не просто следил за всеми этими работами или, как нынче принято говорить, «проталкивал» их. Он помогал своим ученикам разрабатывать планы будущих книг, приучал их к современным текстологическим правилам, помогал выработать концепцию вводных статей и научного комментария. Он либо сам выступал редактором этих книг, либо вовлекал в эту работу ведущих сотрудников фольклорного сектора Института русской литературы АН СССР¹², который он создал и возглавлял (А.М. Астахову, Г.С. Виноградова, А.Н. Лозанову). Позже, я уверен, уже мало кто осознавал, что все эти книги были подготовлены студентами.

Мне приходит в голову единственная аналогия — семинар профессора В.Н. Перетца в Киевском университете в предреволюционные годы. Я говорю не о целой плеяде блестящих ученых, вышедших из этого семинара (В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий и др.), с которой нам трудно состязаться, а об интенсивности публикаций и уровне студенческих работ. Из киевского семинара вышли такие замечательные фольклористические книги, как «Русская сказка. История собирания и изучения» С.В. Савченко, «Заговоры» Н.Ф. Познанского и другие, вошедшие в историю русской науки¹³. В послевоенные годы нечто сходное происходило в семинаре Э.В. Померанцевой (сборники «Русский фольклор Башкирии», «Русский фольклор в Татарской АССР», «Русский фольклор Вологодской области»)¹⁴, но, если я не ошибаюсь, студенты в этом случае выступали преимущественно как собиратели, готовили группами отдельные разделы, а не самостоятельно целые

¹² В те годы Институт назывался Институтом литературы (ИЛИ).

¹³ См.: Семинарий русской филологии акад. В.Н. Перетца. 1907–1927. Л., 1929.

¹⁴ Более точные названия этих изданий: Русское народное творчество в Башкирии / Сост. С.И. Минц, Н.С. Полищук и Э.В. Померанцева. Уфа, 1957; Сказки и песни Вологодской области / Сост. С.И. Минц и Н.И. Савушкина; Ред. Э.В. Померанцева. Вологда, 1955. Под сборником по русскому фольклору Татарии, возможно, автор воспоминаний имеет в виду издание, отражающее материалы 1980-х годов, собранные в Татарстане: Фольклорные традиции современного села. М., 1990. Из фольклорного семинария Э.В. Померанцевой вышло также следующее издание: Песни и сказки Ярославской области / Сост. Л. Астафьева, В. Бондарь, Е. Вальтер, В. Велинская, В. Гацак, К. Дубровина, М. Кострова, В. Крупянская, С. Минц, М. Роговская, Н. Савушкина, Ю. Смирнов, А. Филатов и В. Шершавицкая; Ред. Э.В. Померанцева. Ярославль, 1958.

сборники. Но, как мы знаем, семинар Э.В. Померанцевой дал тоже целую когорту фольклористов, играющих ныне видную роль в развитии нашей науки.

Редактирование студенческих работ сотрудниками ИРЛИ не было случайностью. Фольклорный сектор ИРЛИ, семинар и кафедра русского фольклора ЛГУ составляли в эти годы единый организм. Дело, разумеется, не просто в том, что сектор и кафедру возглавлял М.К. Азадовский. Он был одним из признанных лидеров тогдашней фольклористики. Его лекции (особенно спецкурсы) привлекали сотрудников ИРЛИ, они были обычными посетителями заседаний кафедры, так же, как мы — студенты, ученики Марка Константиновича — заседаний сектора. Сектор шефствовал над фольклорным отделом Карельского научно-исследовательского института культуры, опустевшего после трагических событий 1937–1938 гг. Большинство наших экспедиций работали в Карелии, А.Н. Лозанова¹⁵ была постоянным сотрудником Карельского института, а старшие из наших студентов ей помогали. А.М. Астахова организовывала все, что касалось экспедиций в Карелию. Все перечисленные выше книги изданы под грифом этого института. После окончания университета А.Д. Соймонов¹⁶, Г.Н. Парилова, М.М. Михайлов, В.Р. Дмитриченко поехали работать в Петрозаводск (последний — в издательство редактором фольклорных изданий). М.К. Азадовский был участником первого съезда писателей Карелии, превратившейся в союзную республику. Собственно говоря, моя многолетняя работа в Карелии (1947–1961) была прямым продолжением этих связей, установившихся в предвоенные годы.

¹⁵ Александра Николаевна Лозанова (1896–1968) — фольклорист, специалист по устной словесности Разинского и Пугачевского восстаний. Научный сотрудник отдела фольклора времен его существования в Институте антропологии и этнографии АН СССР (1934–1939), а затем и в Пушкинском Доме (1939–1941; 1945–1958). В 1938 г. от Фольклорной комиссии Института этнографии АН СССР А.Н. Лозанова была откомандирована в Петрозаводск и стала руководителем созданной там фольклорной секции.

¹⁶ Алексей Дмитриевич Соймонов (1912–1995) — фольклорист, специалист по былинам и истории собрания П.В. Киреевского. В ноябре 1938 г., за несколько месяцев до получения диплома, сменил А.Н. Лозанову на должности заведующего фольклорной секцией в Карельском научно-исследовательском институте культуры. В Петрозаводске проработал до начала Великой Отечественной войны. В 1949–1978 гг. — научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Г.Н. Парилова — фольклорист, его жена.

И еще о кафедре русского фольклора. Она была фольклорным центром Ленинградского университета. На ее заседания приходили и читали доклады профессора и преподаватели других кафедр филологического факультета, интересовавшиеся проблемами фольклора (В.М. Жирмунский, М.П. Алексеев, В.Я. Пропп, Г.А. Гурковский, И.И. Толстой, И.М. Тронский, О.М. Фрейденберг, С.Я. Лурье, Д.К. Зеленин и др.). Бывали здесь Н.П. Андреев и П.И. Калецкий, читавшие курсы фольклора в пединституте им. А.И. Герцена. Эти доклады и дискуссии были для нас необычайно важны, они приобщали к высокой филологической культуре, традиционной для Петербургского — Ленинградского университета.

Кажется, М.К. Азадовский стал окончательно считать меня своим учеником после первой экспедиции и первого моего доклада. Экспедициям придавалось чрезвычайно важное значение. Наш учитель любил повторять: «Понять по-настоящему фольклор может только собиратель его» или: «Собиратель и исследователь должны совпадать в одном лице». Мы спрашивали: «А как же А.Н. Веселовский или в наши дни Н.П. Андреев?» (Позже можно было бы спросить: «А как же В.Я. Пропп?»). Марк Константинович отвечал: «Если бы они, кроме того, ездили в экспедиции, то были бы еще более значительными учеными!».

Первая моя экспедиция была в южную часть Пудожского района Карелии для записи былин для готовящегося сборника «Былины Пудожского края» и общего изучения репертуара. Это было лето 1938 г. В сентябре, выслушав предварительный рассказ о поездке, Марк Константинович велел мне готовиться к основательному отчету, который я, может быть, буду делать в ИРЛИ. Замысел этот тогда не реализовался (я выступал в ИРЛИ только после второй поездки), но мне пришлось основательно посидеть, чтобы разобраться в довольно многочисленных записях и экспедиционных заметках.

В 1938 г. я провел лето у Ивана Терентьевича Фофанова, записал от него 22 былины и привез множество интересных наблюдений. Дело, конечно, было не в какой-нибудь особенной моей собирательской изощренности, а в самом И.Т. Фофанове — замечательной личности и первоклассном исполнителе былин. О лете, проведенном у него, я уже рассказал в книге «Русские сказители Карелии»¹⁷, поэтому не буду повторяться. Я поехал к И.Т. Фофанову по идее Марка Константиновича, А.М. Астаховой и А.Д. Соймонова, уже работавшего над сборником «Былины Пудожского края». По первым записям от Фофанова (2–3 первые

¹⁷ См. в наст. изд. очерк «Иван Терентьевич Фофанов».

былины записала от него И.В. Ломакина-Лебедева) было видно, что это незаурядный мастер и что он знает гораздо больше. Попытка что-либо записать от него в дни фольклорной конференции в Петрозаводске¹⁸, куда он был приглашен среди прочих крупнейших исполнителей фольклора для выступления, кончилась неудачей. Поэтому решено было специально командировать меня к нему на месяц для длительного и спокойного домашнего общения. Ежедневные записи и беседы дали много нового. Особенно необычными были записи его рассказов о богатых, так сказать, вне былин, то есть его общих представлений о богатых и, наконец, «тайные» записи его ночных репетиций перед очередной дневной записью. Как я уже рассказывал, И.Т. Фофанов служил в это время сторожем нефтебазы МТС¹⁹ и дежурил по ночам. Мне удалось подслушать, а потом несколько раз записать, как он тренируется, пропевает отдельные отрывки былин, которые я на следующий день должен был записывать. Это помогло понять некоторые особенности его исполнительской манеры и, пожалуй, даже общий механизм запоминания и воспроизведения былин вообще. Возвращаясь из поездки, я мечтал об отдельной статье о Фофанове. Выслушав меня вместе с А.М. Астаховой, Марк Константинович сказал, что в этом году я наверняка буду отчитываться за экспедицию в ИРЛИ и, предваряя мой вопрос о статье, сказал, поглядывая на А.М. Астахову: «Надо начинать работу над книгой — сборником текстов Фофанова с хорошим предисловием и комментариями. Это, голубчик мой, открытие!». Анна Михайловна выразила полное согласие, и мы тут же договорились, что она будет приглядывать за моей работой, а потом редактировать книгу. Марк Константинович был весел, ласков, он весь светился от удовольствия — кажется, еще один ученик будет «на плаву», превратится из студента в ученого.

Мне хотелось рассказать об этом эпизоде потому, что он очень характерен для Марка Константиновича. Он поставил передо мной задачу, которая превзошла мою мечту, распахнул, в буквальном смысле этого слова, необыкновенно заманчивую перспективу. Я не помню, звучала ли в этот раз его любимая цитата из А. Мицкевича или нет, но это была одна из ситуаций, в которых он любил произносить:

¹⁸ Имеется в виду I Всекарельское совещание по вопросам языка, литературы и фольклора, состоявшееся летом 1938 г. На это совещание съехалось 20 русских и карельских сказителей. См.: *Лозанова А.Н.* Работа по фольклору в Карельской АССР // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1941. Вып. 7. С. 256.

¹⁹ МТС — машинно-тракторная станция.

Не по силам цели выбирай,
А по цели силы напрягай.

И дело не в том, удалось или не удалось выполнить этот смелый замысел — никто не мог «запланировать» войну и ее последствия, угадать, как будут складываться послевоенные дела и судьбы. Мне был преподан урок, как надо двигаться вперед, задумывать и строить свою научную биографию.

Припоминаю еще один эпизод, связанный с экспедициями и возвращениями из них, значительно менее приятный для меня. В 1940 г. снова предстояла поездка в Пудожский район, продолжение собирания былин для того же сборника — предполагавшегося и несостоявшегося второго тома²⁰. Экспедицию должен был возглавлять А.Д. Соймонов. Незадолго до нашего отъезда из Петрозаводска пришло сообщение, что можно увеличить число участников и организовать еще один отряд из трех человек. Было решено назначить меня начальником отряда и разрешить мне набрать еще двух человек по моему выбору (наши отряды всегда формировались с учетом дружеских отношений).

Я стал подбирать участников отряда и, к своему огорчению, убедился в том, что все члены кружка, с которыми мне хотелось бы поехать, уже «разобраны». Я поделился огорчением с моими ближайшими друзьями — студентом моего курса и тоже русистом Ю.М. Агулянским и студенткой германского отделения одним курсом младше нас (она позже стала моей женой) Б.Е. Марголис. Они мне посочувствовали, потом о чем-то пошептались и вдруг объявили, что хотели бы со мной поехать. Я не ожидал такого поворота дел, и мне показалось это невозможной затеей — они же не фольклористы! Потом меня эта идея начала увлекать, действительно, хорошо бы поехать с такими друзьями: они ведь тоже филологи (Ю.М. Агулянский даже слушал и сдал курс русского фольклора), их же можно еще в Ленинграде научить не очень хитрой технике записи, рассказать о методах работы с исполнителями. Перебрал в уме еще раз «свободных» членов кружка и объявил своим друзьям, что готов поговорить о них с М.К. Азадовским и А.Д. Соймоновым. Они встретили мое заявление довольно сурово, но снисходительно. Соймонов был знаком с моими друзьями, а Марк Константинович несколько иронически

²⁰ Имеется в виду задуманный, но несостоявшийся второй том издания: Былины Пудожского края / Подгот. текстов, статья и прим. Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова; Предисл. А.М. Астаховой. Петрозаводск, 1941. К.В. Чистову в этом сборнике принадлежит подготовка записей от И.Т. Фофанова.

спросил: «Это что же — та девушка, с которой Вы всегда прогуливаетесь по коридору?». Помолчал, а потом сказал: «Ну что же, надеюсь, что Ваш отряд хорошо поработает...» или что-то в этом роде. Отряд наш работал хорошо, но на пути обратно мы потеряли битком набитый портфель с записями, который был водружен вместе с нашими рюкзаками на телегу. По дороге доски днища разошлись, и портфель соскользнул на дорогу. Я обомлел — мне сразу представились одна за другой несколько пренеприятнейших сцен: как я буду объяснять все это начальнику экспедиции (мы, правда, с ним виделись только-только на Купецком озере и рассказывали ему о своих записях, но он их не читал), как я буду отчитываться и объясняться в Карельском институте и, самое главное, конечно, как я смогу смотреть в глаза Марку Константиновичу. Поверит ли он, что произошла беда и что мы вернулись не из увеселительной поездки?

Слава богу, беда пронеслась мимо. Мы все, включая мальчишку, которому было поручено доставить нас к пристани Песчаное, кинулись назад и через несколько километров увидели тетушку, которая несла ребенка. В другой руке у нее был наш портфель, а за юбку цеплялась девочка лет семи-восьми. Они нашли портфель и решили нести его до пристани.

Радость наша была безмерной, но ни о какой благодарности, кроме словесной, она не хотела и знать. В Карелии это было совершенно не принято. Я ее крепко обнял, но и этим она, кажется, была не очень довольна. Она не понимала, как можно было поступить иначе.

Итак, экспедиция закончилась вполне успешно. Мы возвратились в Ленинград, и я засел за сочинение отчета. Отчет должен был быть на заседании кружка; по совету Марка Константиновича я стал готовить статью для студенческого выпуска «Ученых записок филологического факультета ЛГУ», в которой давалось развернутое сопоставление результатов работы экспедиции братьев Соколовых в северную и северо-восточную часть Пудожского района Карелии с результатами нашей экспедиции (мы побывали в этих же местах через десяток лет). Обзорная статья Б.М. и Ю.М. Соколовых «A la recherche des bylines» («В поисках былины») была опубликована в известном французском славистическом журнале «Revue des études slaves»²¹.

²¹ *Sokolov B. et J. A la recherche des bylines // Revue des études slaves. Paris, 1922. T. 12. P. 202–205. См. также: Соколов Ю.М. По следам Рыбникова и Гильфердинга // Художественный фольклор. М., 1927. Вып. 2–3. С. 34–58. Результатом этой экспедиции стал сборник: Онежские былины / Подбор былины и науч. ред. текстов Ю.М. Соколова; Подгот. текстов к печати, прим. и словарь В.И. Чичерова. М., 1948. Моя статья об экспедиции в Пудожский край в связи с началом войны опубликована не была.*

Если экспедиции уезжали из Ленинграда разом, то Марк Константинович часто приходил проводить нас на вокзал. Это придавало отъезду некоторую торжественность, а всей экспедиции — значительность. Это было событие для каждого студента, для кафедры, для нашего учителя. Во время одного из таких провожаний мои родители познакомились с Марком Константиновичем. Я как сейчас помню этот день. Проводы закончились комическим эпизодом. Мама приготовила нам в дорогу обширнейший сверток с бутербродами. Когда поезд отправился и провожавшие стали по обычаю махать нам руками, желая счастливого пути, оказалось, что мама машет нам своим свертком. Это заметил Марк Константинович, и поезд и перрон огласились дружеским смехом. Этот эпизод тоже характерен.

Марк Константинович не был записным шутником или остро-словом. Тем более он не позволял себе шутками оживлять лекции, чтобы приобрести успех у студентов. Но он и в лекции, и в разговоры со студентами вносил всегда атмосферу легкости, бодрости, естественного веселья, какой бы серьезный вопрос ни обсуждался. Он любил говорить: «Скучные люди не должны заниматься наукой». Увлеченность, умение восхититься поэтической красотой текста, красотой отысканного факта, красотой стройной концепции — во всем этом и был источник его естественной веселости. (Г.А. Бялый вспоминал, как встретил Марка Константиновича в один из самых тяжелых для него послевоенных дней, когда порой казалось, что его навсегда вычеркнули из науки, и поразила его сияющей веселости. Оказалось, что Марк Константинович только что посмотрел хороший французский фильм и был объят эстетическим восторгом. Он повторял: «*Charmant, просто charmant!*».)

Разумеется, студенты и ученики М.К. Азадовского ездили в экспедиции не только в Карелию. И мне довелось участвовать в одной южно-русской экспедиции — на Дон и в Донбасс. Я вспоминаю об этом потому, что эта поездка связана с одним из своеобразнейших предвоенных учеников Марка Константиновича — Иваном Ивановичем Кравченко.

Надо сказать, что студенчество 30-х годов во многом отличалось от современного. Многим, если не большинству, предстояло стать интеллигенцией в первом поколении. Родители не получили образования не потому, что не хотели, а потому, что не могли учиться. Поэтому и они, и их дети всячески стремились получить образование. Сын или дочь с дипломом о высшем образовании были гордостью семьи, родственников, всей деревни. Сами же студенты очень определенно знали, что им надо и хочется учиться, ими владела, если можно так выразиться, «плебейская ярость»,

«плебейское упорство», жажда знаний. Это задавало тон всему студенчеству — учились напряженно и в охотку.

При такой общей атмосфере среди нас выделялся Иван Иванович Кравченко. Выходец из казачьей семьи, он очень рано должен был добывать хлеб собственным трудом. Был наборщиком в какой-то типографии в Сталинграде, потом, кажется, корректором, и учился заочно. В середине 30-х годов он увлекся донским фольклором — занятия фольклором в те годы вообще стали весьма популярными. Не было журнала или газеты, которые не публиковали бы из номера в номер фольклорные материалы. Постоянно цитировался доклад Максима Горького на I съезде писателей. Вышел том «Творчество народов СССР»²². Областные и центральные издательства выпускали фольклорные сборники десятками. Несомненно, в этом движении (оглядываясь назад, мы теперь это видим) было много наносного, случайного, конъюнктурного. Печатались не только добротные исследования, хорошие грамотные популярные статьи, но и поверхностные, риторические сочинения — дань моде и общественной ситуации. И все же в целом это был период бурного развития фольклористики, ее «серебряный век», если «золотым веком» считать время взлета фольклористики в середине XIX в. и в начале его второй половины. Оба периода, кроме многочисленных исследований, оставили целую серию фольклорных сборников, ныне ставших уже классическими (кстати, среди них нужно назвать уже упоминавшиеся сборники Новикова, Соймонова и Париловой, Михайлова).

Качество сборников, издававшихся в областных издательствах, было весьма различным. Добротно собранные и хорошо изданные тут же обращали на себя внимание. О них писали в центральной прессе.

И.И. Кравченко в 1935–1937 гг. издал два хороших сборника донских песен и один сборник частушек²³. Почувствовав в нем способного фольклориста, Марк Константинович предложил ему поступить в аспирантуру кафедры русского фольклора Ленинградского университета.

Марк Константинович был увлечен Иваном Кравченко и всем образом его жизни. Именно он был самым ярким носителем «плебейской ярости», невиданным даже для тогдашнего филологического факультета. Кравченко, глубоко потрясенный количеством

²² Имеется в виду издание: Творчество народов СССР / Под ред. А.М. Горького, Л.З. Мехлиса и А.И. Стецкого. М., 1937. Сборник с произведениями советской направленности был издан к 20-летию Октябрьской революции.

²³ См. прим. 12 к главе «Университет».

книг, обнаруженным им в крупнейших ленинградских библиотеках, на первых порах стал очень разбрасываться. Список работ, который предлагался аспирантам, казался ему ничтожно кратким. Но вот он побывал дома у Марка Константиновича и с восторгом потоптался у стеллажей домашней библиотеки Азадовского — она была действительно обширной. Ему представилось, что он, наконец, обрел цель вполне достижимую: перечитать все книги в библиотеке Марка Константиновича. Марку Константиновичу это тоже показалось увлекательным, хотя и несколько наивным. Он вспоминал рассказ Н.А. Тэффи, героиня которого получала образование по энциклопедии Брокгауза и Эфрона (она уже знала, кто такой Байрон, но не слышала о Шекспире). Рассказывая о том, какие у Ивана установились отношения с его библиотекой, Азадовский говорил нам не без иронии: «Разве вы умеете читать? Возьмете две-три книжки и читаете неделю. А Кравченко приходит ко мне с веревкой и говорит: “Можно я возьму эту полку?”».

Кравченко таков был и в быту. Вернее, никакого быта у него не было. Помню, как во время нашей совместной экспедиции он не расставался с томом Э. Тэйлора «Первобытная культура». Он заменял ему подставку для листов, на которых записывались песни. Когда мы шли из села на хутор и в степи делали пятнадцатиминутный привал, том Тэйлора немедленно раскрывался, и Кравченко углублялся в чтение. Я шутя говорил, что мы путешествуем втроем.

После возвращения в Ленинград я рассказал об этом и о том, как Кравченко пел вместе с исполнителями донские песни. Марк Константинович был очень доволен. Его ученик оправдывал ожидания.

К сожалению, Иван Иванович Кравченко не вернулся с фронта; он очень коротко поработал в фольклористике, не успев достичь зрелости ученого, который в нем угадывался. И все же его донские сборники, статья о фольклоре в творчестве Шолохова, о Джангаре, серия рецензий на самые различные издания, посмертно изданная статья об украинской несказочной прозе — все это, написанное и изданное за пять предвоенных лет, оставило свой след в нашей фольклористике. Но вместе с тем не будем преувеличивать. Его диссертация «Эстетические представления народных певцов и сказителей», написанная как бы в продолжение известного трактата Чернышевского, которую я не успел прочитать перед войной, в послевоенные годы (она хранится в Фундаментальной библиотеке ЛГУ) показалась мне работой ученической, хотя и весьма добросовестной. Видимо, за теоретические исследования ему браться было еще рано.

Я вспомнил обо всем этом не только ради памяти И.И. Кравченко — он ее, несомненно, достоин. Он был одним из самых любимых предвоенных учеников Марка Константиновича, и о нем до сих пор, к сожалению, ничего не написано.

История аспирантуры Кравченко мне представляется очень характерной — Марк Константинович не только приглядывался к студентам, но и творил из них своих учеников. Он «нашел» Кравченко в Сталинграде и вовлек его в деятельность своей кафедры и своего семинара.

Этот эпизод может показаться в масштабах деятельности Марка Константиновича не столь значительным. Он был одним из признанных лидеров тогдашней фольклористики: к нему приходили и приезжали десятки фольклористов из всех уголков страны, переписка его была поразительно широка. Кравченко мало известен в этой связи, однако его ученичество у Марка Константиновича, его темперамент были явлениями незаурядными и весьма характерными.

В июне 1941 г. мы снова собирались в Карелию. Сдали экзамены и готовили рюкзаки. Были уже куплены билеты до Петрозаводска. Но их пришлось продать — началась война. Все стало тревожным и неопределенным.

Когда экзамены были сданы, я как «белобилетник» вместе со мне подобными отправился на строительство резервного аэродрома за Сиверскую под деревню Даймище. Однако я пробыл там недолго. В Даймище приехал факультетский комсомольский секретарь Сергей Максимов и предложил некоторым из нас поступить в партизанскую школу, чтобы потом составить студенческий партизанский батальон, который — это нас особенно поразило — должен был действовать на территории Ленинградской области. Так близко был враг!

Короткие недели учебы — и вот мы накануне отправки через фронт. Когда это произойдет, мы, разумеется, не знаем и не должны знать. Нам дали короткий отпуск — всего на пару часов. Я помчался на Витебский вокзал и поездом в Пушкин (Детское Село) проститься с матерью. А потом в Институт русской литературы к Марку Константиновичу. Мы с ним молча посидели на скамье в вестибюле Пушкинского Дома. Потом расцеловались (впервые в жизни). Мне надо было спешить.

Четыре долгих года Ленинград и все, что с ним было связано, только смутно припоминались. А там в это время шла своя тяжелая жизнь. Началась блокада, обстрелы, бомбежки, потом голод. Марк Константинович не смог сразу же эвакуироваться вместе с

другими сотрудниками академических учреждений²⁴. Его сын был грудным, а жена Лидия Владимировна была нездорова.

Незадолго до эвакуации моя жена встретила Марка Константиновича и поделилась с ним печальным известием — считалось, что я погиб. Как она мне рассказывала, он не мог удержаться от слез. Дело, конечно, не в какой-то моей особенной ценности. Потеря каждого ученика была для Марка Константиновича трагическим событием. Вспомним посвящение «Истории русской фольклористики», вспомним беспримерную публикацию — «Письма молодых фольклористов»²⁵, составленную из фронтовых писем учеников, продолжавших свои фольклорные наблюдения в тяжелые годы войны.

В послевоенные годы и уже после кончины Марка Константиновича Л.В. Азадовская, так много сделавшая для публикации его работ, по той или иной причине не увидевших свет при его жизни, опубликовала письма, написанные во время войны. В одном из них (10 сентября 1942 года) можно прочитать: «Встреча с вами, первыми моими учениками, сыграла роль своеобразного целительного бальзама. Ведь не успели мы с вами даже поближе познакомиться, а уже возник фольклорный кружок, уже появилась первая группа энтузиастов-фольклористов, из которых ведь только одна Лида Лотман несколько отошла, да и то непрестанно возвращается, работая в своей области близкие темы, а затем ваша экспедиция, бюллетень, поездки в Карелию... Для меня это было больше, чем организационный успех; это было полное излечение, это было полное возвращение веры в себя и в свои силы»²⁶.

Это письмо совершенно поразительно. Как настоящий учитель, Марк Константинович не только много давал нам, он видел в своих учениках источник своей силы, веры в науку, возможность осуществления новых замыслов, открытия новой перспективы.

Наше общение продолжалось и в послевоенные годы. Радостная встреча после демобилизации, послевоенный семинар, трагические годы, которые за этим последовали, и многое другое — все это достойно подробного рассказа. Надеюсь, что я еще сумею к этому вернуться.

²⁴ М.К. Азадовский был эвакуирован из блокадного Ленинграда в марте 1942 г. Ему было предложено остаться в Москве, но ученый решил уехать с семьей в родной для него Иркутск, где и оставался почти до самого окончания войны.

²⁵ См.: *Азадовский М.К. Письма молодых фольклористов // Новая Сибирь: Альманах. Иркутск, 1945. Кн. 15. С. 73–79.*

²⁶ Письмо В.В. Чистову см. в сб.: *Из истории русской фольклористики. Л., 1981. С. 215.* См. также: Там же. С. 210–211. См. также письмо В.И. Чичероу (17 февраля 1942 г.), хранящееся в архиве Государственного литературного музея.

ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ ФОФАНОВ¹

В моей комнате между дверью и стеллажом висит под стеклом портрет пожилого человека с бородкой и венчиком седеющих волос. Он курит грубоватую крестьянскую трубку, придерживая ее большой рукой.

В нижнем углу итальянским карандашом подпись художника — Г. Стронк. Это известный певец былин Иван Терентьевич Фофанов. Для меня это больше, чем портрет знакомого человека. С И.Т. Фофановым связаны незабываемые впечатления моей молодости.

Дело вовсе не в том, что я «открыл» И.Т. Фофанова, как П.Н.Рыбников «открыл» Т.Г. Рябинина или Е.В. Барсов — И.А. Федосову. Я уже писал об условности слова «открыл», когда речь идет о человеке, который немало прожил до того, как его «открыли». Открывают «первых». Т.Г. Рябинин был первый крупный исполнитель эпических песен, с которым познакомилась русская наука. И.А. Федосова — первая исполнительница причети. В известном смысле они до сих пор не превзойдены. Но это тоже условно. Хороших сказителей было много, и хороши они были по-разному, каждый по-своему.

Про И.Т. Фофанова не скажешь «непревзойденный» или «крупнейший». Никаких рекордов он не ставил, но он один из наиболее замечательных знатоков и исполнителей русских былин и, безусловно, один из лучших певцов былин того поколения, к которому он принадлежал.

С именем И.Т. Фофанова были связаны первые и самые ранние мои успехи и увлечения в науке. Я помню об этом и стараюсь ничего не преувеличивать. Но факт остается фактом: Ивана Терентьевича знает теперь каждый, кто интересуется русским

¹Впервые опубликовано: *Чистов К.В.* Русские сказители Карелии: Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980. С. 211–256. Иван Терентьевич Фофанов (1871–1943) — пудожский сказитель из д. Климово, от которого записывал К.В. Чистов. Записи опубликованы: *Былины Пудожского края / Подгот. текстов, статья и прим. Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова; Предисл. и ред. А.М. Астаховой.* Петрозаводск, 1941. С. 186–265.

эпосом и его исполнителями. И так, по-видимому, останется навсегда, ибо подобные «открытия» происходят все реже. В этом, конечно, заслуга И.Т. Фофанова, а вовсе не моя. В моих же воспоминаниях самое главное — месяц, проведенный в 1938 г. в селе Климове на берегу Купецкого озера. День в день я прожил его с Иваном Терентьевичем, ежедневно слушал его пение и тихие неторопливые рассказы. Они объяснили мне в нем человека и художника, которого я горячо полюбил. Иван Терентьевич — один из наиболее значительных людей и самых поэтических натур, которых мне посчастливилось встретить, хотя не могу не признать, что жизнь в этом отношении баловала меня — сводила со многими талантливыми и непохожими друг на друга людьми.

Первая наша встреча произошла в июне 1938 г. И.Т. Фофанов был приглашен в Петрозаводск для пения былин участникам фольклорной конференции². Тогда еще никто не знал, сколько былин он помнит. Первая запись от него собирательницей И.В. Ломакиной (Гудовщиковой) дала всего два текста, правда, отличных, но все-таки только два. Можно было предположить, что это далеко не все. Как правило, записи от исполнителей, которые случайно запомнили одну-две былины, довольно легко отличить от вариантов подлинных мастеров, хорошо владеющих былинной традицией. В былинах, записанных И.В. Ломакиной от И.Т. Фофанова, чувствовался мастер. Поэтому организаторы конференции хотели не только порадовать ее участников хорошим исполнением былин, но и выяснить, нельзя ли продолжить запись от И.Т. Фофанова. Это и было поручено мне. Я повторил записанное, чтобы Иван Терентьевич «распелся». Спел он действительно очень хорошо. Потом я записал еще две былины и укрепился во мнении, что с И.Т. Фофановым можно работать дальше. Я понял, что в суматохе и многолюдии конференции, при постоянной смене слушателей, то внимательных и знающих, то просто любопытствующих, многого от Фофанова не добьешься. Этот спокойный и во всех отношениях достойный человек оказался застенчивым, даже робким. Искусственно вырванный из привычной среды, он не мог быстро примениться к городскому многолюдью и суете. Он привык петь былины землякам долгими и неторопливыми осенними или зимними вечерами или летними

² Имеется в виду I Всекарельское совещание по вопросам языка, литературы и фольклора, состоявшееся летом 1938 г. На это совещание съехались 20 русских и карельских сказителей. См.: *Лозанова А.Н.* Работа по фольклору в Карельской АССР // Советский фольклор: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1941. Вып. 7. С. 256.

ночами в рыбацкой избушке, когда все дела уже позади. Там все друг друга давно знают, его умение ценят и восхищаются им. Мои торопливые просьбы («Иван Терентьевич! До заседания осталось сорок минут. Спойте мне, пожалуйста, что-нибудь. Хотелось бы записать что-то новое...») выводили его из равновесия, и он тихо, то ли смущенно, то ли насмешливо, говорил: «Да нет уж, Кирила! И мне не спеть, и ты не поймешь... Недосуг так, недосуг». Оставалось договориться с ним и приехать к нему домой, когда это ему удобнее.

Для участников конференции И.Т. Фофанов спел тоже очень хорошо. А.М. Астахова³ — в то время лучший знаток живой эпической традиции — признала, что давно не слышала столь «истового» пения, и поддержала меня. Руководство Карельского научно-исследовательского института (кажется, вопросом этим занимался тогдашний ученый секретарь, а позже многолетний директор института В.И. Машезерский) согласилось с моим планом.

Оказалось, что Иван Терентьевич в колхозе не работает; он ночной сторож нефтебазы местной МТС, и поэтому важно приехать не в сенокос, когда он днем непрерывно занят. Не откладывая, в августе того же года, я собрался к Ивану Терентьевичу, чтобы пробить у него столько, сколько понадобится для исчерпывающей записи.

Ближайший и наиболее удобный путь из Петрозаводска до деревни Климово Авдеевского сельсовета, что на Купецком озере Пудожского района Карелии, где жил Иван Терентьевич, лежал через Песчаное, до которого можно было добраться пароходом. Однако я решил, что так буду возвращаться, и, чтобы по сложившейся уже экспедиционной привычке не ездить дважды одним путем, стал искать другой вариант. Он быстро нашелся — пароходом до устья реки Шалы, а там по тропе на север до Купецкого озера. Не буду подробно рассказывать, как я добирался до Климова, хотя это могло бы быть небезынтересно.

В те годы, отправляясь в фольклорную экспедицию, мы могли надеяться только на свои ноги. Все внутрирайонные да частенько и межрайонные передвижения фольклористов совершались пешком. С рюкзаком за плечами, с фонографом в руках мы порой ходили на современных туристов, только мы не стояли на обочине дороги и не «голосовали» пробежавшим мимо машинам в расчете на то, что они нас подвезут, их тогда было мало. Если не ошибаюсь, в

³ Астахова Анна Михайловна (1886–1971) — видный фольклорист, былинвед; с 1939 по 1965 гг. — научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

Пудожском районе было считанное количество машин — райкомовская и райисполкомовская, райпотребсоюзовская... Какой-то грузовичок ходил более или менее регулярно между Пудожем и озером, на котором был гидродром — место посадки самолетов, летавших из Петрозаводска в Пудож. Вот, пожалуй, и все...

Поэтому добираться до Пудожа не имело смысла, попутную машину можно было ждать неделями. Не мудрено, что в те годы мы частенько ходили не дорогами, а просеками, тропами, пользовались услугами проводников.

Вспоминая все это, я не удивляюсь тому, что предупредил тогда И.Т. Фофанова о своем приезде письмом, а не телеграммой. Впрочем, и в письме я мог назвать только примерный срок выезда из Петрозаводска. Кажется, даже не сообщил ему, каким путем буду добираться, а он, разумеется, думал, что через Песчаное. Пароход ходил раза два в неделю, не чаще. Помню, когда я появился на пороге избы Ивана Терентьевича, он меня не ждал. Фофанов был один дома, сидел на лавке около печи. Старый ватник накинут на плечи, в руках какая-то работа: то ли корзинку плел, то ли вязал сеть. Как я потом убедился, он всегда был чем-то занят, но никогда не торопился.

Пожив у него, я открыл для себя еще и другое. Книги Иван Терентьевич почти не знал. Батрачивший смолоду, он остался неграмотным. Он с удовольствием слушал чтение, но случалось это редко — если только кто-нибудь из школьников почитает. Радио или тем более телевидения в деревнях еще не было. Но это не значит, что умственная жизнь Ивана Терентьевича была вялой или неинтересной. Он прекрасно владел традиционной устной культурой — знал большое количество былин. И не только былин, но и песен, сказок, преданий, деревенских устных рассказов. Он непрерывно о чем-то очень сосредоточенно размышлял. Однако высказывал свои мысли, накопившиеся за долгие годы, редко, только к случаю или в минуты особой откровенности и обычно очень лапидарно. Я и сейчас его вижу таким: руки чем-то заняты, лицо спокойно и удивительно красиво в своей сосредоточенности, хотя писаным красавцем его назвать было трудно. Для старой деревни, казалось бы, довольно обыкновенное, но все-таки очень значительное лицо, украшенное пытливыми, умными глазами. Он был одним из самых замечательных сказителей своего времени, но отнюдь не был словоохотлив. С посторонними людьми он мог провести несколько часов, не произнеся ни слова. Но когда говорил о чем-то, не связанном с рабочими обстоятельствами текущего быта, это всегда было значительно и хорошо обдуманно, решено надежно и обстоятельно. Конечно, я несколько упрощаю, деревенская жизнь

тридцатых годов вовсе не была застойной и традиционной; происходило многое — коллективизация, появились МТС, первые машины... Деревенский быт претерпевал значительные и далеко не всегда безболезненные изменения. И все же меня всегда — и в эту, и в последующие встречи — поражало душевное равновесие, спокойствие Ивана Терентьевича.

Я не сразу понял, как меня встретил Иван Терентьевич. Сначала показалось холодновато, что немало смутило меня. Когда я вошел в избу, он поднял глаза, удивленно протянул мне руку. Чтобы нарушить молчание, я сказал:

– Здравствуйте, Иван Терентьевич! Ну, вот я и пришел к вам!

– Ну что ж, — ответил он, — пришел, так хорошо. Сымай мешок (это про мой рюкзак) да садись.

Медленно, как будто нехотя, поднялся, вышел из избы и что-то прокричал в огород. Потом выяснилось — наказал своей жене истопить мне баню с дороги. Опять вошел и говорит:

– Пойду какую-нибудь рыбку обману.

И ушел.

Эту его последнюю фразу я тоже не сразу понял. Я был горожанином, мальчишкой лавливал рыбу. Но кто рассчитывал когда-нибудь на мой улов? Несколько раз удавалось уху сварить, а так все кошке. По крайней мере, моим родителям не пришлось бы в голову посылать меня на реку, когда гость уже в доме...

Дальнейшие события все разъяснили.

Пока же я оказался один в избе, немного передохнул и огляделся. Минут через пятнадцать в сенях застукал умывальник, кто-то утерся полотенцем, и в избу вошла очень приветливая, моложавая и статная жена Ивана Терентьевича, с которой мы быстро разговорились и как-то сразу же подружились. Она уже все знала — и зачем я приехал, и откуда, но обо всем еще раз внимательно расспросила меня, а потом повела в стопившуюся баню. Когда я вернулся, на столе уже была горячая уха.

Я знал, что пудожане любители чайку попить, а с чаем бывают перебои. Поэтому я привез из Ленинграда лучший чай, какой мог достать, и этим очень обрадовал хозяев. К ужину пришел мой единственный знакомый из тех мест — Никита Антонович Ремизов⁴. Он оказался двоюродным братом хозяина. Допив чай,

⁴ Никита Антонович Ремизов (1877– ?) — пудожский былинщик. См. его тексты в том же издании, что и старины И.Т. Фофанова: Былины Пудожского края / Подгот. текстов, статья и прим. Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова; Пред. и ред. А.М. Астаховой. Петрозаводск, 1941. С. 266–331.

Иван Терентьевич запел былину, но увидев, что я метнулся за бумагой и карандашами, остановил меня:

— Писать потом будешь. Не к спеху. Это тебе гостинец.

Гостинец был поистине щедрый — сводная былина об Илье Муромце. Иван Терентьевич, от которого уже дважды записывали, понял, что это работа нелегкая, хотя и радостная. Поэтому со свойственным ему тактом он не стал бы меня, еще не отдохнувшего с дороги, тут же вовлекать в работу, но успокоить меня, показать, что приехал я не зря, порадовать меня ему, видимо, хотелось. И, надо сказать, удалось.

Во городе как было ведь во Муромле,
Во селе как было во Карачеве,
Ну старый казак был Илья Муромеч,
Илья Муромеч ведь сын Иванович.
Седлал ён коня да нуьку доброго,
Сиделко кладывал да ён на сидельшко,
Черкальско седло ён на верех кладывал,
Не ради ён красы-басы, а ради ён крепости,
А ради было силы богатырскую.
Как старый казак ведь Илья Муромеч,
А брал как ён копьё да долгомерное,
За плеча кладывал ён тугой свой лук
И брал-то ён стрелочки каленыи,
Каленыи ведь стрелки начиненыи,
А палицы ён брал ведь сорок пуд.
Облатался как ён тут, обколчужился.
Старый казак Илья Муромеч
Садился тут ведь на добра коня.
Видли добра молодца ведь сядучи,
Не видли молодца поезжаючи
Из города как было ведь из Муромля,
Из села то еще было Карачева...

Мне кажется, что я и сейчас отчетливо слышу, как Иван Терентьевич пел в первый день моего приезда в Климово. Здесь не было той суеты, как в Петрозаводске, того многолюдья. Я не поглядывал на часы, чтобы не опоздать на очередное заседание, где нас ждали. Поэтому все встало на свои места. Я услышал былину так, как ее надо было слышать. Это был голос неумолкшей истории, доносившийся из глубин XV или XIV вв.

Былина не музейный экспонат, который может веками лежать на полке, пока не понадобится. Она умирает вместе с людьми, ее знающими, если ее вовремя не подхватят, если кто-нибудь не захочет запомнить, потом спеть, а кто-то не захочет слушать.

Иван Терентьевич пел былину любовно, он смаковал ее и был уверен, что доставляет мне истинное удовольствие. Это был отнюдь не археологический энтузиазм. И он оказался прав. Его былина не только очаровала меня тогда, она запомнилась мне на всю жизнь.

Меня поразили ее спокойствие и слаженность, удивительное перетекание строки в строку, простота и завидная скупость поэтических средств. И вместе с тем монументальность. Я был очень молод, любил стихи и в какой-то мере знал поэзию, но меня всегда удивляло, почему стихи обычно дело юных или, по крайней мере, молодых? Почему многие люди с возрастом (профессионалы-поэты или литературоведы не в счет) перестают ими интересоваться, считают это занятие недостаточно серьезным, от нечего делать? И вот передо мной старый человек, умудренный жизнью, проживший нелегкую крестьянскую жизнь, очень спокойный и серьезный в каждом своем движении. И вот его поэзия — и не только его — прожила не одну сотню лет иждивением именно таких «пожитых», как говорят на севере, людей.

Этот вечер укрепил меня в моем будущем, помог мне совершить окончательный выбор и посвятить свою жизнь изучению фольклора, его собиранию и спасению от забвения.

Иван Терентьевич пел, слегка покачиваясь, поглядывая то на меня, то в низкое окошко перед собой. А за окном струилась старая деревенская дорога, виднелись избы по сторонам, а за ними стеной вставали леса. Не были видны, но представлялись озера, без которых Карелия немислима. Я тогда впервые почувствовал, что былины можно по-настоящему слышать и понять только в избе, сидя на лавке у десятилетиями скобленного стола, в бревенчатом окружении стен, в соседстве с огромной русской печкой, когда пение прерывается только многоверстной тишиной леса, всплесками озерной волны и какими-то другими приглушенными деревенскими звуками. Вся эта столетиями повторявшаяся жизнь, бурная и тихая, простая и мудрая, породила все, что сейчас происходит с Иваном Терентьевичем и со мной. В своей неподвижности эта жизнь как будто лишена привычного нам в городах исторического движения. В действительности же она и есть история, отлившаяся в предельно определенные формы и осознавшая себя. С тех пор, когда я читал или слышал былины об Илье Муромце, мне виделся Иван Терентьевич, окно, улица, избы, лес, озера. Отсюда, именно отсюда отправлялся в свой богатырский путь Илья Муромец — любимец певцов былин.

Спев, Иван Терентьевич встал и, не слушая моих похвал, стал переодеваться, пора было на ночное дежурство на нефтебазу. Перед уходом постоял, потом тихо сказал Ремизову:

– Ну, Никита, ты тут недолго рассиживай, дай крещеному отдохнуть с дороги.

Никита в ответ встрепенулся:

– А что, Кирила из Ленинграда пешком шел? Небось, на пароходе!

– Ну-ну, ладно баять, а ты поди, поди...

И ушел.

Крепко дружившие, братаны были разными людьми. Это обнаружилось в первые же дни. Но я по-юношески полюбил их обоих. Иван Терентьевич был довольно высок, суховат, даже, пожалуй, жилист, с рыжеватыми гладко зачесанными назад волосами и округлой бородкой. Никита Антонович — небольшого роста, кряжистый и очень подвижный, чернявый, с проседью на острой клинушкой бороде. Словоохотливый, ироничный, сметливый, острый в непрерывных затеях и выдумках. В деревне подшучивали над его цыганской чернотой. Он же сам распустил слух, что он и есть цыган, его, мол, в детстве на поросенка выменяли. На чей-то вопрос: а зачем же он тогда понадобился отцу с матерью, ведь своих детей было много, — он, не задумываясь, отвечал:

– Так ведь сначала детей не было, а как я пондравился, завелись.

Кто-то из односельчан не стерпел:

– Никита, не ври! У тебя два брата старших было.

– А они меня потом обогнали. Знаешь ведь, какой я неторопкий? — отвечал он посмеиваясь.

И всем было ясно, что это не ложь, а забава. Мужик ведь честнейший и добрый.

На следующий день мы начали записывать только к вечеру. Иван Терентьевич отдыхал после дежурства, а потом был занят домашними делами. Я не смел торопить его. Мне хотелось, чтобы он сам выбрал время для записи. Уже в Петрозаводске стало ясно, что для пения былин ему нужно определенное расположение духа. В первый вечер я попытался расспросить об известных ему сюжетах. Мне хотелось представить себе, сколько нам потребуется времени. Однако Иван Терентьевич неохотно отвечал на подобные вопросы. Или отвечал довольно неопределенно. Позже разъяснилось и это. Он считал невозможным петь плохо. Он не позволял себе, даже если его очень просили, спеть отрывок из полузабытой былины или тем более «словесно» пересказать содержание былины. Былину надо петь или не петь. Все время, пока я жил у него, он напряженно работал. В день приезда жена его рассказала, что он готовился к моему появлению. Кстати, это ее сообщение я не сразу понял, как же готовился, если при мне

отправился рыбу ловить? Мне тогда и в голову не приходило, что она имела в виду былины. Я считал, что он и так знает их.

Эта сторона наших взаимоотношений открылась мне не сразу.

В один из первых вечеров в Климове, когда Иван Терентьевич отправился на ночное дежурство, я вышел посидеть у озера. Возвращаясь, встретил соседа:

– Что, Кирила, ходил слушать Ивана?

И тут он мне рассказал, что Иван Терентьевич все ночи напролет поет былины, но очень сердится, когда ему об этом говорят или приходят слушать. Гонит всех.

Я тут же тайком отправился к нефтебазе и, убедившись в том, что Иван Терентьевич действительно поет, уселся в укромном месте. Он пел мою завтрашнюю былинку. Я не успел к началу, но постепенно разобрал — пел он ее целиком. Спев до конца, помолчал минут десять, прислушиваясь к тишине и о чем-то размышляя, а потом стал пропевать (как в театре сказали бы «прогонять») отдельные пассажи. Прогонки были разных масштабов — то короче, то длиннее. Некоторые он повторял по два-три раза, как бы пробуя разные интонационные ходы, сочленения, переходы. Иногда что-то варьировалось в тексте, я не все улавливал, потому что он пел то громче, то тише, иногда как бы совсем замирая. Молча ходил вдоль забора нефтебазы, потом опять садился и, подумав, заводил снова.

Мне сейчас очень трудно воспроизвести весь ход этой своеобразной репетиции. Помню, что повторявшиеся куски текста не были только «формульными» или только «переходными». Репетиция состояла не в зазубривании текста, это была скорее тренировка, отлаживание механизма формирования текста, который должен был окончательно возникнуть во время исполнения для записи, и способа его произнесения (или точнее пропевания). И, конечно, одновременно вокальная тренировка.

Я очень жалею, что не сохранились мои тогдашние записи. Они погибли во время войны. Может быть, я теперь смог бы точнее передать все, что происходило. В последующие дни я несколько раз повторял опасное подслушивание. «Опасное», так как надо было прятаться не только от Ивана Терентьевича, но и от его односельчан. Они, конечно, не преминули бы рассказать ему, чем я занимаюсь во время его дежурств. А мне меньше всего хотелось спугнуть певца. Я хотел записать наилучшие варианты текстов, а за репетициями следить тайно. Многим ли фольклористам удавалось наблюдать за сказителем, когда он наедине с самим собой произносил текст, который потом предстояло исполнить? Я уже тогда отчетливо понимал ценность подобного рода наблюдений. Когда я возвратился в Ленинград и рассказал об этих ночных

эпизодах М.К. Азадовскому, А.М. Астаховой и А.Д. Соймонову (который уже начал работать над сборником «Былины Пудожского края», куда должны были войти мои записи от И.Т. Фофанова)⁵, они все меня дружно поддерживали, решив, что Фофанова надо издать отдельно, а мои наблюдения — эти и иные — подробно изложить в предисловии. Издание это я начал было готовить, но оно не осуществилось: в 1941 г. началась война, изменившая все планы — личные, исследовательские, издательские.

Жена Ивана Терентьевича рассказывала, что до моего приезда подобные репетиции происходили не только во время дежурства, но при случае и дома, днем. Может быть, они продолжались и в

⁵ Кстати, по-видимому, сохранилось весьма ограниченное число экземпляров этого сборника, тем более что тираж был не столь велик — 10 000 экземпляров. Сборник был отпечатан и направлен в книготорговую сеть в последние дни перед началом войны. Один из его составителей, Алексей Дмитриевич Сойманов, рассказал мне об удивительном переживании, связанном с этой книгой. Он был студентом филологического факультета Ленинградского университета. Окончил его в 1939 г. и после этого два предвоенных года работал в Карельском научно-исследовательском институте культуры в Петрозаводске. В это время и была завершена подготовка к печати сборника, начатая еще в университете. Потом сборник редактировался, был набран, читалась корректура, сигнальный экземпляр и т.д., одним словом, книга эта была основным содержанием его научной жизни последних предвоенных лет. Когда началась война, А.Д. Сойманов знал, что книга вышла в свет, у него был уже один экземпляр ее, но в продаже он ее не видел. По крайней мере, она не продавалась еще в Петрозаводске, где он встретил первый день войны. Кажется, в 1942 г. судьба забросила его на одну из маленьких станций в Вологодской области. Именно «забросила», т.к. на эту станцию он с высокой температурой был привезен санитарной машиной и сдан в расположенный там полевой госпиталь. Его поместили в одну из изб местных жителей, занятых под палаты. Придя в себя, он стал осматриваться, понял, что попал в госпиталь, и попытался вспомнить, что было с ним в предыдущие дни. Взгляд его случайно обратился к стене, и тут ему показалось, что он бредит или сошел с ума: стена была оклеена страницами из «Былин Пудожского края», которые он знал наизусть. Позже выяснилось, что санитары, оборудовавшие избы под госпиталь, нашли на станции около тушика покрытую брезентом кучу книг, видимо сваленную здесь впопыхах, чтобы освободить вагон. За неимением не только обоев, но и газет, для «палат», нуждавшихся в ремонте, решили употребить попавшиеся под руку книжки, старательно расшили их и оклеили ими несколько изб. Остается предположить, что это была только часть тиража, отправленная из Ленинграда, где книга печаталась, в Петрозаводск, а может быть, и в какие-то другие города. Поистине, как говорили древние, «habent sua fata libelli», то есть «книги имеют свою судьбу!» (Примечание К.В. Чистова).

лесу или на рыбалке. Смолоду — не решаясь петь на людях — он любил распевать в лесу или на озере, когда никто не видит и не слышит. Судя по всему, он испытывал наслаждение от этого пения для самого себя, но это не единственная причина, заставлявшая петь наедине. Другая и, может быть, важнейшая — восприятие эпоса как чрезвычайной ценности, а пения былин как дела весьма ответственного. Меньше всего он хотел или позволял себе «баловаться» былинами, забавляться ими, развлекать своих слушателей. Петь былины имеют право только умудренные жизнью старики, которым есть что рассказать. Подобным серьезным и вместе с тем трепетным отношением к былинному знанию объясняется и все, о чем я уже говорил: былины можно петь только хорошо, только с начала до конца, только при определенном душевном расположении и певца, и его слушателей. Петь надо не торопясь, обстоятельно и спокойно. Не случайно и былины, которые Иван Терентьевич пел, были почти сплошь героическими; былин новеллистического характера он знал мало, по крайней мере, исполнял их неохотно.

Нельзя не признать, что все сказанное рисует совершенно определенную эстетическую систему, хотя, разумеется, Иван Терентьевич не формулировал ее теоретически: она существовала для него в унаследованном от его учителей отношении к эпосу и отдельным былинам. Все это показалось мне тогда особенно интересным. В сказительском поведении Ивана Терентьевича я увидел не механическое извлечение из памяти «окаменелостей», а человеческую активность очень определенного стиля и природы, теснейшим образом связанную с самим человеком, его свойствами и темпераментом. В Иване Терентьевиче, таким образом, мне посчастливилось встретить не только человека, умевшего петь традиционные былины, что для 30-х годов XX в. было уже само по себе достаточно удивительным, но и тип истового сказителя русского эпоса. Вместе с тем это был первый в моей жизни мудрый старик, с которым мне удалось близко познакомиться и сойтись душевно. Можно себе представить, что это значило тогда для меня, девятнадцатилетнего юноши, увлекшегося старинной русской культурой.

О пудожской былинной традиции писали несколько раз и собиратели, и исследователи фольклора. Первые исследования в известной мере устарели — мало было записей тогда. Например, А.Ф. Гильфердинг считал, что былины стали прививаться на Пудожском берегу довольно поздно, возможно, они проникали сюда с двух сторон — из Заонежья и из архангельского Кенозерья, которое на востоке граничило с бывшим Пудожским уездом. Подтверждение этому он видел в сходстве пудожской традиции и

традиции соседних с ним районов. Но он, видимо, был не прав. За редкими исключениями, каждый, даже самый однородный по своей традиции район неизбежно имеет какие-то черты, сходные с соседними. В действительности Пудога, как ее раньше называли, производит довольно цельное впечатление, хотя, конечно, и здесь можно выделить отдельные гнезда — Шалу и окрестные деревни, Водлозеро, юг района, Купецкое озеро с прилегающими к нему деревнями и т.д. В недавнее время пудожская традиция подверглась еще раз тщательному и целостному изучению, которое теперь можно было осуществить на основе уже накопившихся фактов (записей П.Н. Рыбникова, А.Ф. Гильфердинга, отдельных собирателей конца XIX — начала XX вв., экспедиции середины двадцатых годов под руководством известных советских фольклористов братьев Б.М. и Ю.М.Соколовых, экспедиции Карельского НИИ культуры и Ленинградского университета в 1938–1940 гг., Петрозаводского института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР в первые послевоенные годы и Московского университета в 50–60-е годы). Эти материалы отложились в известных фольклорных архивах Петрозаводска, Ленинграда и Москвы, частично опубликованы в сборниках «Онежские былины» Б.М. и Ю.М.Соколовых⁶ и В.И. Чичерова и «Былины Пудожского края» Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова.

В 1926 г. собиратели не записывали от И.Т. Фофанова. Причины этого не выяснены с достаточной достоверностью: то ли они просто его не встретили, то ли в то время Иван Терентьевич еще не решался петь публично и по своей скромности не признался приезжим, что он что-то знает. Итак, после того как фольклористы начали записывать от И.Т. Фофанова, опубликовано два важнейших обзора пудожской традиции: предисловие Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова к названному выше сборнику (1941) и пока еще не опубликованное монографическое исследование Ю.А. Новикова «Эпическая традиция Пудожского края»⁷, защищенное им в качестве кандидатской диссертации в 1976 г. Естественно, что в обзорах (и в первом, и во втором)

⁶ См.: Онежские былины / Подбор былин и науч. ред. текстов Ю.М. Соколова; Под. текстов к печати, прим. и словарь В.И. Чичерова. М., 1948 (Летописи Гос. лит. музея; Кн. 13).

⁷ Примечание редактора: Исследование Ю.А. Новикова, упоминаемое здесь К.В. Чистовым, было опубликовано: Новиков Ю.А. Становление мастера: Былинный репертуар Ивана Терентьевича Фофанова // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера: Доклады III Международной научной конференции «Рябининские чтения–1999». Петрозаводск, 2000. С. 242–251.

довольно много говорится о И.Т. Фофанове. Он называется в числе лучших исполнителей былин наряду с пудожанами Никифором Прохоровым (Уткой), Григорием Якушевым, Федором Конашковым, Андреем Сорокиным, Анной Пашковой и др. Авторы обзоров, тем не менее, расходятся в оценке И.Т. Фофанова как сказителя.

Составители сборника «Былины Пудожского края», правда с некоторыми оговорками, считают его прежде всего сказителем-передатчиком. Ссылаясь на предложенную А.М. Астаховой классификацию типов сказителей, они пишут: «Фофанов тоже стремится сохранить, если и не дословно, то почти дословно, известный ему текст»⁸. Сравнивая Фофанова с И.Т. Рябининым, они признают, что Фофанов все же самостоятельнее в передаче текста, чем младший Рябинин, и сообщают в этой связи некоторые свои наблюдения, которые в конечном счете противоречат решительному заявлению о «дословной» передаче текста.

Ю.А. Новиков предпринял фронтальное и тщательное сопоставление текстов, записанных от И.Т. Фофанова, с текстами других пудожских и даже заонежских сказителей. Выводы его представляют большой интерес и очень хорошо согласуются с моими наблюдениями 1938 г. и последующих предвоенных лет. Они состоят в следующем. Фофанов сообщил собирателям, что он учился петь былины у знаменитого в прошлом Никифора Прохорова — Утки. Он говорил: «Я был молод, лет 15... Он, Утка, был в нашей деревне, что-то делал, а я ходил к нему на беседу и эти былины понял...». Кроме того, он называл Т.Г. Блохина из Мелентьевской, сказителя менее известного. Однако, по-видимому, список его реальных учителей этими двумя именами не исчерпывается. Сопоставление текстов показывает связь их с вариантами не только Н. Прохорова, но и А. Сорокина, известного по записям П.Н. Рыбникова и оставшегося безымянным «шальского лодочника», и, наконец, Н.А. Ремизова. Конкретные источники некоторых былин И.Т. Фофанова, как пишет Ю.А. Новиков, «установить не удастся, но их местное (то есть пудожское) происхождение не вызывает сомнения («Илья и Соловей», «Илья и Калин», «Чурила и Катерина»). В былине И.Т. Фофанова «Дюк» действие развивается «по кенозерскому образцу». Улавливаются некоторые переключки с повенецко-толвуйской традицией. Одним словом, складывается впечатление, что И.Т. Фофанов слышал многих исполнителей. Смолоду он вел

⁸ См.: Былины Пудожского края / Подгот. текстов, статья и прим. Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова; Предисл. и ред. А.М. Астаховой. Петрозаводск, 1941. С. 29.

полубатрацкий и бродячий образ жизни, хозяйством обзавелся, видимо, только в 1910–1911 гг., когда ему было уже лет тридцать девять — сорок. Поэтому все это кажется убедительным. Между тем исполнявшиеся им былины как бы отлиты из одного куска, они едины в стилистическом отношении. При многообразии источников и учителей это можно объяснить только одним — воспринятые былины были, видимо, тщательно им переработаны в соответствии с его пониманием былинного стиля, законов построения сюжета, темпа развития действия, повествовательного этикета.

И.Т. Фофанов представлялся составителям пудожского сборника «передатчиком», т.е. сказителем-исполнителем, не проявляющим активной личной инициативы, потому что они соотносили тексты, записанные от него, с традицией в целом, а не с отдельными записями от пудожских сказителей. Личный вклад понимался ими как нарушение традиции или обновление ее, например, внесение реалистических деталей, психологических мотивировок, анахронизмов, новых эпизодов или даже изобретение новых сюжетов. Традиции противопоставлялось новаторство.

В этом смысле в былинах И.Т. Фофанова действительно трудно найти что-либо существенное. Они очень традиционны. Сказительская деятельность И.Т. Фофанова была не ломкой традиции, не нарушением ее, а ее продолжением, развитием, полноценным воплощением. Он был одним из представителей последнего поколения исполнителей русского былинного эпоса, однако его не затронул процесс вырождения традиции, ее разложения. В этом заключалась главная особенность И.Т. Фофанова, и в этом его величайшая личная заслуга.

Конечно, и в этом он не был одинок. В его поколении исполнителей былины были блестящие мастера. Однако надо иметь в виду, что мастерство некоторых из них поддерживалось научным и общественным интересом к их деятельности (так было, например, у Рябининых или у М.С. Крюковой), книгой (так было, например, у пудожанки А.М. Пашковой), или безудержной личной инициативой, в сочетании и с первым, и со вторым (так было, например, у М.С. Крюковой), или игровым, артистическим переосмыслением традиции (так было у Н.А. Ремизова). И.Т. Фофанов ничего подобного не переживал. Он не искал стороннего поощрения, долго был известен только своим односельчанам: его первая встреча с фольклористами произошла, когда ему было уже шестьдесят семь лет. Его знание былины объясняется только любовью к ним, представлением (о чем мы уже говорили) о важности эпического знания. Поэтому я не ошибусь, если назову Ивана Терентьевича крупнейшим и в то же

время одним из наиболее естественных носителей традиции русского эпоса на последней стадии его развития.

В отличие от своего родственника и друга Иван Терентьевич не позволял себе превращать пение былин в развлечение, спектакль. Он ценил знание былин Ремизова, но к его манере исполнения относился с неодобрением. Думаю, ему временами казалось, что это очередная мистификация Никиты, что он только делает вид, что поет былины, а на самом деле иронически изображает, как некий певец пел бы былины.

Сам же Иван Терентьевич считал, что каждое исполнение былины — это событие. Поэтому не нужно никаких украшений, побрякушек, завитушек, ухищрений. Они и без того достаточно хороши и значительны.

Исследователи записей от И.Т. Фофанова — и А.Д. Сойманов, и Г.Н. Парилова, и Ю.А. Новиков — совершенно справедливо отмечают, что былинам его свойственна не только стилистическая выдержанность, но и простота и скромность, почти аскетическая сдержанность в построении сюжетов. Замечено, что Иван Терентьевич в ряде случаев избавлялся от усложняющих эпизодов. Когда традиционные сюжеты оказывались сложнее, чем это казалось ему необходимым, он выделял из них наиболее выразительные части и разрабатывал как самостоятельные сюжеты. Так, например, в сложной и сказочной по своему характеру былине «Потык» он отсекает всю вторую часть сюжета, тем самым как бы упрощая и проясняя его, делая его более эпическим, уводит его от сходства со сказкой. В первой части этой былины богатырь Потык женится на Марье Лебедь Белой и дает зарок умереть с ней в один день. Когда Марья действительно умирает, он просит похоронить его вместе с ней. В могиле он сражается со змеей, приползшей сожрать похороненных, побеждает ее и приказывает змее добыть мертвой и живой воды. Так ему удается оживить любимую жену и вернуть ее к жизни. Таким образом, фантастическая любовная история приобретает героический характер, в центре оказывается типичный богатырский эпизод — сражение с Чудищем. Вторая часть этого сюжета, известная нам по записям от других певцов, в том числе и пудожских, совершенно отбрасывается Фофановым — в ней обычно рассказывается о неверной Марье. В этой части сюжета фигурируют и другие фантастические и авантурные эпизоды. После записи этой былины Иван Терентьевич признался (об этом написано в комментарии к «Былинам Пудожского края»): «Петь мне ю не понравилосе. Идно подходит, идно не подходит. Больше мне по нраву про старого казака Илью Муромча». Однако он ее все-таки пел, но в сильно переработанном виде. Так же он поступил

и с «Дюком». Его интересовало преимущественно героическое, поэтому от эпизодов не только сказочных, но и от новеллистических он стремился освободиться, очистить от них былинные сюжеты. Тем самым он как бы вступал в единоборство с процессом выветривания героического, характерным для последнего периода бытования русского эпоса.

Собиратели давно заметили, что к концу XIX — началу XX в. стало изменяться соотношение героических сюжетов и сюжетов приключенческих, любовных, бытовых. Последние возникли, по-видимому, позже основного слоя былин и были связаны со стремлением представить жизнь богатырей во всех человеческих ее проявлениях. Распространенность, а потом и преобладание таких негероических былин, по-видимому, были свидетельством изживания эпической традиции в целом. Характерно, что с течением времени среди исполнителей былин встречаются все больше женщины. Новеллистические сюжеты, видимо, были им ближе, чем традиционные и более древние героические. Былина по своему сюжетному составу как бы сближалась с балладой, романсом, любовной песней. И только наиболее «истовые» певцы былин, наиболее строгие, стремившиеся к сохранению «чистоты» былинной поэтики, отчетливо осознавали неизбежность этого процесса и стремились воспрепятствовать ему. Мы уже говорили о героических тенденциях в исполнительской деятельности старшего Рябинина — Трофима Григорьевича⁹. Теперь мы встретились со сходным явлением, только в значительно более позднее время. Если Т.Г. Рябинин известен нам преимущественно по записям 1860–70-х годов, то И.Т. Фофанов — по записям 1930-х годов, т.е. на шестьдесят — семьдесят лет позже. В этом, видимо, и состоит историческое значение И.Т. Фофанова и его подлинная роль в последнем поколении исполнителей русских былин.

Наши записи начались на второй день после моего приезда в деревню Климово. Происходило это очень организованно, почти торжественно. Причем организатором и дирижером всегда был сам Иван Терентьевич. Он выбирал время, когда ничто не могло помешать, и старался, чтобы былина вся была записана в тот же день. Это было не всегда легко — его тексты длинны. В былине «Про Илью Муромца» — четыреста двадцать пять строк, «Про Добрынюшку Микитинца» — пятьсот двадцать четыре, «Про короля литовского» — четыреста шестнадцать и т.д. Но даже если очередной оказывалась сравнительно более короткая былина и можно было начинать следующую, он всегда отказывался петь.

⁹ См.: *Чистов К.В.* Русские сказители Карелии: Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980. С. 33–109.

Другая былина, другое настроение. Я понял это и перестал его торопить.

Иногда были перерывы другого рода. Я теперь не помню точно рабочего расписания Ивана Терентьевича, но, видимо, между дежурствами были какие-то свободные дни. Мы отправлялись на рыбалку, в лес за ягодами или грибами или просто отдыхали. Если случался Никита Антонович Ремизов, то инициативу в разговорах перехватывал он, Иван же Терентьевич помалкивал и посмеивался. Но иногда он вдруг отстранял Никиту и спокойно и тихо о чем-то вспоминал. Было это обычно на привалах, в часы отдыха или еще чаще перед сном. В дороге или между делом он разговаривать не любил. Должен покаяться, что внимание мое раздваивалось, я был молод и меня волновала не только уравновешенная мудрость Ивана Терентьевича, но и балагурство Никиты Антоновича. Старики любили друг друга и никогда не ссорились, разве только в шутку. Они очень удачно дополняли друг друга. Жаль, разумеется, что обширный репертуар Н.А. Ремизова остался в значительной мере не записанным, но в то же время я упрекаю себя и за то, что меньше, чем мог бы, слушал рассказы и рассуждения Ивана Терентьевича. С возрастом я чувствую это все острее.

О чем же рассказывал Иван Терентьевич? К сожалению, я не могу воспроизвести наши беседы с достаточной точностью. Тогда я записывал не все и, конечно, не сразу, а на следующий день и обычно во время сна или дежурства Ивана Терентьевича. Иногда я о чем-то расспрашивал его или каким-то способом провоцировал разговор, переводя его на интересующие меня темы. Иногда это был более или менее связный рассказ, иногда просто свободно развивавшаяся беседа. Я старался направить разговор на воспоминания о его собственной жизни, встречи со сказителями старшего поколения, механику запоминания былинного текста и, что мне тогда казалось очень важным, на рассуждения о богатырях вне былины, вне текстов, которые я уже записал или собирался записывать. Некоторое представление о такого рода воспоминаниях может дать рассказ, записанный мной тогда и опубликованный в 1941 г. в сборнике «Былины Пудожского края». Кроме нескольких цитат из моих дневниковых записей в предисловии и комментариях к этому сборнику, это единственная уцелевшая запись от И.Т. Фофанова, поскольку она была напечатана. Не могу не привести ее.

Иван Терентьевич рассказал: «Жизнь моя была така беспоконная. Отец жил у меня 80 годов. Сперва ён крестьянствовал. Характером был не очень важный. Строжил нас да вино попивал.

Мать была другая (т.е. мачеха. — *К.Ч.*) — так и худа. С отцом, как с чертом, дралась, не дралась, но выходили нелепости. При старом праве ведь, что отец задумал, то и вышло... Я шататься и пошел...

В кончи-коньчов я вырос порядочно, поженился, отделился. Под последу (т.е. в последние годы жизни. — *К.Ч.*) ён, отец-то мой, с корзинкой ходил (т.е. нищенствовал. — *К.Ч.*). Меня ён откинул и тупичку¹⁰ не дал, лошадь продал, коровку прожил, сам и пошел с корзинкой.

Дом мне отец не дал. Я так лет 40 жил, не имел шубы на себе на плечах. Ходил грузил суда в Шалы, пилил дрова, по осеням плотничал, пилил тесовой пилой. Жизнь вот така была...

Потом жил у озера, заправил снасти, ловил рыбу. Рыбка попадалась миленька така, хорошенька. Мер по 50 вылавливал. Поработал у крестьян, у богачков у справных. Косил с бабкой, дитей рогитил. Прископилось дитей пятеро, потом двое померло. В домике жил худом. Сперва пас лет 12 коней, в лисях стоял. Был в кониных пастухах.

Случился раз такой. Коней согнал на лядину. А в лесу мне была избушка: я в ней жировал, спасался. Так по утру выпустил я коней. Ушли ёны на лядину. Кони ведь не коровы. Я пошел след за ими, потрубел им, да придумалось мне на лапти береста драть. Кони идут под горку, я по горке. Смотрю на конях моих в стаде два звиря сидят, дерут. Один тихой; этот ни шуму, ни грому, и кони не пугаются. А конь под им стоит стоем еще. Это медведя были большие. Я разился к коню:

— Коня съедите, так и меня съешьте!

С топором пошел. Один убег, а другой коня не спускает с лап. Я топором хотел тукнуть, а ён с коня свернулся, коня спустил и на меня. Я отскочил. Звирь опять хотел на коня. Я на звиря. Ну тогда он в лес и утек. Вот себе какая оказия была...

Потом дити подросли, так я стал пахать порно (то есть помногу. — *К.Ч.*). Пожалуй, на год стал напахивать¹¹. Заправил лошадь хорошую. Две коровы. Потом, знаешь ты, и дом выстроил, хоть и этак, и некультурный, но по-деревенски важный. Переписали меня середняком из бедняков. Сыновья — один счетоводом был четыре года, теперь командир в Красной Армии. Другой теперь тракторист. Да... Сынов обучал я плохо. Ены сперва ходили, грамоты учились, но ходить ведь не в чем было. Один проходил года полтора, а второй с два. Но были не балованные, учились хорошо. Еще сейчас

¹⁰ Тупой топор для колки дров, колун (примечание К.В. Чистова).

¹¹ То есть хлеба стало хватать на год (примечание К.В. Чистова).

повинуются, слушаются. Записались в колхоз. Не сразу пошли (после двух лет). Старший сын говорит: пусть... посмотрим, как живут, а потом смотрим — ничего, важно.

Сторожом пять месяцев был в МТС. Сторожил шестерни (то есть цистерны. — *К.Ч.*). Керосин был залит, игроин (лигроин. — *К.Ч.*) да горючее. Вот это место и охранял.

В Петрозаводском был полдесяток раз. Не видели при старом режиме ничего интересного. При Советской власти второй раз. Так вижу и все не так. Вот в театре был, так такое и во снах никогда не приснилось бы. Много и понастроили нового. Вот что нуль происходит в городе, в Петрозаводском»¹².

Перечитывая сейчас эту запись, вижу, что она была результатом специального расспроса — надо было записать автобиографию. Судя по всему, она была сделана в Петрозаводске во время конференции, в одну из первых наших встреч. Запись эта кажется мне суше наших обычных разговоров. Хотя и здесь можно выделить прекрасно рассказанный эпизод — нападение медведей на коней, которых пас Иван Терентьевич. Рассказывая об этом случае, он почувствовал себя свободнее, оживился, но потом вспомнил, что я его, собственно, не об этом просил. Характерно и другое: даже за наиболее деловыми фразами, которые были прямыми ответами на мои вопросы, чувствуются размышления и нравственные оценки. Думаю, что я не преувеличу, если скажу, что даже по этому отрывочному и довольно сбивчивому рассказу можно понять, что повествует о себе человек, не только проживший жизнь, но много раз обдумывавший ее. Если я преувеличиваю, то прошу помнить, что я, читая эту запись, не могу не воспринимать ее на фоне моих воспоминаний о тогдашних встречах и о давних беседах.

Однако, чтобы не упустить главное, я ведь вспоминаю и должен вспомнить об Иване Терентьевиче не только как о человеке, но как о певце былин. Попробую восстановить кое-что из наших бесед на эпические темы. Это довольно трудно. Я точно помню только некоторые фразы, но смысл их был тогда для меня столь неожидан и впечатляющ, что исказать его не могу. Поэтому не буду внушать читателю иллюзию протокольного воспроизведения наших разговоров в 1938–1940 гг., то есть без малого почти сорок лет тому назад. Буду передавать только общую суть.

Иван Терентьевич, как выяснилось, знал о богатырях и о былинах не только из устной традиции. Он видел какие-то

¹² Былины Пудожского края / Подгот. текстов, статья и прим. Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова; Предисл. и ред. А.М. Астаховой. Петрозаводск, 1941. С. 186–187.

картинки — то ли лубочные, то ли книжные иллюстрации или репродукции картин на богатырские темы. Помнится, я пытался поточнее выяснить, что же это были за рисунки, но безуспешно. Он видел их еще в юности или ранней молодости — один раз у кого-то в Гакуксе, а другой раз в Шале. Узнав, что прохожий человек показывает их местным мужикам, специально поспешил туда. Это оказался портной, а не просто прохожий, поэтому застать его было не мудрено. Иван Терентьевич прожил в Шале несколько дней и хорошенько рассмотрел картинки. В Гакуксе он видел изображение Добрыни Никитича, сражающегося со змеем, а в Шале — несколько картинок об Илье Муромце. Кроме того, тоже еще в молодости он ездил в Петрозаводск, и там кто-то показал ему книгу, в которой были напечатаны былины. Что это была за книга, Иван Терентьевич объяснить не мог, но он помнил, что дело происходило на Соловецком подворье, недалеко от пристани. Когда мы с Иваном Терентьевичем второй раз оказались вместе в Петрозаводске (уже после того, как я побывал у него в Климовой), он сводил меня на Соловецкое подворье.

И картинки, и книжка с былинами (хоть он не мог ее читать!) произвели на него сильное впечатление. Дело не только в каких-то деталях вооружения, одежды, конской сбруи и т.д. — все это тоже было для него очень важно, — дело даже не в возможности увидеть изображение самих богатырей. Важнее было другое: если это напечатано и изображено на бумаге, значит бесспорная правда. Бумага существует, чтобы изображать то, что было на самом деле. Это документ. Да и откуда художник нарисовал бы Илью или Добрыню, если бы не видел их? Возможность вымысла совершенно им не допускалась. Сказать, конечно, можно все что угодно. Есть такие люди, что наврут с три короба, только поверь им. Спеть, в конце концов, тоже можно даже шуточную песню. Но ведь это нарусовано, значит это было! Очень важен был и факт книжной публикации былин. Человек неграмотный, Иван Терентьевич был преисполнен глубочайшего уважения к печатному слову. Он был неколебимо уверен в том, что печатать пустяки не станут. (О, если бы это было в действительности так!) Ученые люди (а книжки ведь печатают именно ученые люди, кто же еще?) знают, что былины — дело важное, а не детские потешки. Эти три случая — в Гакуксе, в Шале и в Петрозаводске — крепко запомнились Ивану Терентьевичу. Не было никакого сомнения в том, что они сыграли весьма важную роль в формировании его эпических представлений. Он с детства слышал былины, интересовался ими и пробовал их петь, никому не сказываясь, но его, видимо, неотступно мучил вопрос: насколько можно доверять былинам, достоверен ли их рассказ. И вот

нашлись неопровержимые доказательства того, что интерес его к былинам ненапрасен. Позже, уже в советское время, в конце 20-х или начале 30-х годов, когда школьные учебники появились в каждой крестьянской избе, Иван Терентьевич часто видел иллюстрации к былинам по Васнецову и Билибину. Прошло еще несколько лет, и самим Иваном Терентьевичем заинтересовались фольклористы. Судя по всему, его не удивлял интерес «ученых» людей к былинам. Он был вполне подготовлен к такому пониманию вещей. Он считал вполне закономерным, что с распространением грамотности люди снова смогут оценить былины. Вот в какой неожиданно исторической перспективе рисовался ему мой приезд в деревню Климово!

Надо сказать еще и о том, что сложившийся постепенно на протяжении многих лет способ понимания былин и их исторической судьбы был поддержан тогдашней печатью и радио. Слова «героическое прошлое», «родина», «защита отечества», «советские богатыри-воины», «соколы-летчики», «богатыри Арктики» не сходили в 1930-е годы со страниц газет и в сознании Ивана Терентьевича, любившего послушать газетку, сочетались с характерным для того времени интересом к фольклору, сказителям, фольклорным стилизациям на современные темы и другими характерными явлениями общественной жизни предвоенных лет.

Однако возникает вопрос (да и тогда возникал он, и это отразилось на наших беседах с Иваном Терентьевичем): как же мог все-таки он согласовывать свою психологию человека XX в. с верой в подлинность богатырей, побеждающих в одиночку целое войско татар, размахивающих палицей в «девьяносто пуд» и т.д.

Как я и ожидал, у Ивана Терентьевича и на этот вопрос был ответ давно продуманный и весьма логичный, хотя, разумеется, и не выдерживающий научной критики. Богатыри неправдоподобны, но это, считал Иван Терентьевич, только так кажется, т.к. мы знаем нынешнюю жизнь. Но когда-то в старое время богатыри, безусловно, были. Иначе кто бы спас Русь от татарского нашествия? Тогда, при той жизни, существование богатырей было не только возможно, но и необходимо. Оно было возможно, потому что жизнь была гораздо более правильной и нравственной. Позже жизнь утратила первоначальную справедливость, баре придумали крепостное право, купцы стали безобразничать и людей притеснять, придумали пожизненную военную службу, стали случаться частые войны, появились такие свирепые цари, как Иван Грозный, в лесах завелись разбойники, а хлеб стал родиться хуже, рыбы стало меньше, дичи в лесах тоже. От общей безнравственности жизни

перевелись и богатыри. Люди стали слабее, трусливее, стали больше надеяться на хитрость, чем на силу и победу в прямом бою. Однако не все еще потеряно. Если жизнь удастся сделать лучше и справедливее, могут опять появиться богатыри или какие-то справедливые и сильные люди, которые будут побеждать.

Я уже говорил о том, что я не могу сейчас восстановить отдельные беседы и вспомнить, в каких выражениях формулировалась та или иная мысль, в памяти всплывают только отдельные фрагменты. Я пересказал суть идей Ивана Терентьевича своими словами, или даже точнее, своими теперешними словами, но общий смысл был именно таков. В сознании Ивана Терентьевича переплелись эпическая традиция и его собственный опыт. Сейчас очень трудно выделить, что он слышал от своих учителей — знатоков былины — и до чего додумался сам. Но это не так и важно. Усвоенные представления и собственное умозаключение были для него одинаково своими. И для меня Иван Терентьевич был не просто личностью, индивидуальностью, а представителем многовековой и великой традиции, к которой я тогда впервые прикоснулся. Я понял, что традиция былин, которую представляет Иван Терентьевич, существует не по инерции, как это часто следовало из работ фольклористов, с которыми я в те годы начал знакомиться, она органическая часть духовной жизни ее носителей, она им нужна, ими переживается и передумывается, над ней размышляют, о ней спорят, она отвергается или принимается. Эта умственная деятельность исполнителей былин (как, впрочем, и других жанров фольклора), к сожалению, остается мало известной исследователям, ее заслоняют тексты, которые мы получаем при записи. Конечно, разные исполнители переживают традицию по-разному, в меру своего дарования, склонностей, темперамента. Когда я это понял, Иван Терентьевич стал для меня не просто человеком, хорошо умевшим исполнять былины, а художественно одаренной натурой, мудрым человеком, всю жизнь размышлявшим над великим наследием, доставшимся ему от предшественников.

И второе — высота нравственной оценки жизни, нравственная суть его исторических и эпических воззрений. Она давала ключ к пониманию многих особенностей психологии русского крестьянства. Мне стало яснее, чему именно учился у крестьян Лев Толстой. При всей исторической наивности пересказанной выше эпической концепции, она обладает очень высокой человеческой ценностью. Общение с Иваном Терентьевичем помогло мне позже понять и Ирину Федосову, и Трофима Рябинина, и других их земляков, мастеров русского фольклора. Во вступлении

к этой книге я вспоминал¹³, как еще в школьные годы впервые слышал некоторых из них, как они оживили для меня мертвевшие в школьных учебниках и хрестоматиях фольклорные тексты, помогли понять пение былин и рассказывание сказок как процесс переживания их, обладающий несомненной подлинностью и ценностью. Встречи с И.Т. Фофановым научили меня видеть во всем этом не просто некую артистичность, а живые связи с тем бытом и той культурой, наследниками которой они были. Поэтому без всякого преувеличения могу сказать, что вместе с С.Я. Маршаком, с которым моя щедрая судьба свела меня еще в детстве, и моими университетскими учителями я всегда называю Ивана Терентьевича в числе людей, которые оказали сильнейшее влияние на всю мою жизнь.

Месяц, прожитый у И.Т. Фофанова, был напряженным и интересным и поэтому показался коротким. Почти ежедневные записи, которые отнимали значительную часть дня, лов рыбы на Тягозере, соединенном с Купецким озером протоком. Ночевка у костра, которая тоже запомнилась на всю жизнь, и вот уже подошел прощальный вечер. Записи упакованы, карандаши убраны, мы просто беседуем. Теперь мы уже совсем друзья, и трудно поверить, что год тому назад мы не были знакомы. Однако прежде чем рассказать об отъезде, не могу не вспомнить еще о двух эпизодах, памятных мне с тех пор.

Один из них связан с ночевкой во время рыбалки на Тягозере, куда мы поехали с Иваном Терентьевичем и его другом Никитой Антоновичем. К вечеру мы пристали к мысу, на котором стояла «фатерка» — небольшая избушка для рыбаков и охотников. Но мы ночевали не в ней, а около костра, на нем сварили уху, вскипятили чай. Костер горел всю ночь, его дым отгонял комаров, которых в этих местах довольно много. Костер — это два сухостойных бревна, положенных друг на друга крестом таким образом, чтобы снизу оставался зазор для тяги. По мере сгорания бревен мы сдвигали их друг на друга. После ужина, немного побеседовав, улеглись спать. Утомленный за день обилием впечатлений и веслами, я довольно быстро заснул.

Весь день я старался трудиться как можно больше. Старики тактично отстраняли меня то от дорожек, то от весел, то от сети, но моя мальчишеская честь не позволяла мне отставать от них и, конечно, к вечеру я сильно устал. Поэтому заснул быстро. Проснулся я ночью, когда Никита Антонович подправлял бревна

¹³ См.: *Чистов К.В.* Русские сказители Карелии: Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980. С. 3–32.

в костре. А может быть, меня разбудила очередная атака комаров. За ночь направление ветра изменилось, и пришлось перебраться на новое место, где потеплее и комары не так донимали. Проснулся и Иван Терентьевич. Он помог Ремизову справиться с костром, выбрал себе место поудобнее и улегся, завернувшись в куртку. Я стал засыпать и уже сквозь сон услышал тихое пение — Иван Терентьевич напевал былинку. У меня захватило дух. Первое, о чем я подумал: «Совсем как Рыбников на острове!». Боясь спугнуть певца, я лежал и думал о людских судьбах, о книгах, о моем будущем. А Иван Терентьевич пел все тише, пока совсем не замолк. На этот раз это была не репетиция, не пение для записи или других людей, а привычное бормотание перед сном. Привычное! На следующий день я убедился в том, что Никита Антонович тоже слышал это пение. Когда мы встали и пошли умываться, Никита Антонович прокричал:

- Смотри, братан, не свались в воду!
- А что я должен свалиться?
- Не выспался, небось, всю ночь ведь старины тянул, никак до конца не мог дожить...
- Подь-ка ты, приснилось что ль тебе!

Никита Антонович несколько раз принимался поддразнивать, но безуспешно, Иван Терентьевич не помнил о своем ночном пении.

Второй эпизод спровоцировал одну из тем нашей экспедиции 1940 г. и, более того, имел значительное продолжение. Убедившись в том, что привезенный мною чай оказался весьма кстати, я написал в Ленинград своему другу и попросил срочно послать еще небольшую посылку. В один из последних моих дней на Купецком озере почтальон принес извещение. За посылкой надо было идти в деревню Авдеевскую за несколько километров от Климовской, но тоже на Купецком. Я решил, чтобы не терять рабочее время записи, сразу же отправиться туда, пока Иван Терентьевич отсыпается после дежурства. Возвращаюсь — Иван Терентьевич только что встал. Он не знал еще ни о почтальоне, ни о посылке и был удивлен, что меня нет. Когда я вошел в избу, он сидел на лавке у печи и обувался. Я сразу же рассказал, где был.

- Что же, ужель на почту успел?
- Успел, успел, — отвечаю, — вот и посылка. С чаем будем.
- Ишь ты, приткой какой, быстрой, как Рахкой на лыжах!

Я немедленно стал расспрашивать, что он слышал о Рахкое, или Рахте, из Рагнозера. Из университетских занятий я знал об очень редкой и специфической «олонецкой» былине о Рахте и о еще более редких преданиях о нем, записанных одним из краеведов в XIX в. В этом предании рассказывается о мужике Рахкое, первом

жителе на Рагнозере — небольшом озере в двух-трех десятках километров от Купецкого. Рахой отличался необыкновенной силой. Слух о нем дошел до Москвы, и царь позвал его для того, чтобы он померялся силой со столичными борцами. Рахой одолел их и получил в награду право на Рагнозеро, на владение самим озером и угодьями вокруг него без даней и податей, на житье без барина, без воинской службы, без воевод и приказчиков. Когда-то русские мужики именно ради этого и покидали плодородные земли Южной и Центральной Руси и уходили в глушь северных лесов на камни, пески и болота. Предание о Рахкое, по-видимому, возникло довольно поздно — не раньше XVI–XVII вв. — и отражает тот этап, когда мужикам уже и в северных лесах приходилось мечтать о свободе, воле и земле.

В других преданиях о силаче с Рагнозера рассказывается о том, как он приобретал и терял силу, об измене жены, о столкновении с разбойниками и их атаманом. В некоторых из них разбойники называются «панами» (явный отзвук Смутного времени начала XVII в., когда по Северу бродили отряды разбитых в Центральной России польско-шведских войск). Одним словом, предание очень интересное, известное только в этих местах, но вместе с тем очень характерное, яркое, типично северорусское. В последующие дни я сделал еще несколько записей предания от Н.А. Ремизова и других жителей ближних деревень, а еще через год Пудожская экспедиция во главе с А.Д. Соймоновым, продолжавшая собирать материал для сборника, специально отправила мой отряд на Рагнозеро и в другие деревни между Водлозером и Купецким для записи преданий. Искали и записывали их и в других частях Пудожского района. Собралось довольно много материала, но систематическим исследованием его я смог заняться только в середине 50-х годов. В сборнике к Международному конгрессу славистов в Москве в 1958 г. была напечатана статья «Былина о Рахте Рагнозерском и предания о Рахкое из Рагнозера», а в 1959 г. в «Трудах Карельского филиала АН СССР» — тексты преданий («Материалы к изучению былины и предания о Рахкое из Рагнозера») ¹⁴. Вместе они составляют целую книжечку. Родилась она, так же как и несколько работ на этот же сюжет, которые за ней последовали (В.В. Пименова,

¹⁴ См.: *Чистов К.В.* Былина «Рахта Рагнозерский» и предание о Рахкое из Рагнозера // *Славянская филология: Сборник статей.* М., 1958. Т. 3. С. 358–388 (IV Международный съезд славистов); *Чистов К.В.* Материалы к изучению былины о предания о Рахкое из Рагнозера // *Труды Карел. фил. АН СССР.* Петрозаводск, 1959. Вып. 20. С. 122–166.

Ю.И. Смирнова), из нашего первого разговора с Иваном Терентьевичем в тот день, когда я принес из Авдеевской посылку с чаем.

Накануне моего отъезда из Климовой мы решили отпраздновать отъездную. Хозяйка напекла и наварила. Я принес из магазина вино. Пришел Никита Антонович, его жена, а потом собрались и соседи. После сравнительно короткого застолья и взаимного потчевания все вместе попели песни, а потом началось настоящее состязание. Не только И.Т. Фофанов и Н.А. Ремизов, которые, прощаясь со мной как хозяева, спели на прощанье одну из полюболюбившихся мне былин, но и их односельчане, со многими из которых я успел сдружиться, старались что-то вспомнить и исполнить для меня: женщины — песню, мужчины — былинку или какую-нибудь мужскую песню (солдатскую, бурлацкую, ямщицкую) или сказку. Среди них были и замечательные исполнители, такие как сказочники Болотов и Юлигин.

Не следует думать, что в своем знании былин Иван Терентьевич был одинок. Я тогда насчитал в деревнях вокруг Купецкого озера человек восемь-десять мужчин и женщин, знавших по крайней мере по одной или две былины. А.Л. Фадеева из деревни Ижгора исполняла в те годы пять былин. Сказки знали многие, а еще большее число жителей этих деревень знали старинные песни. Большинство старых женщин умели причитывать. Вместе с тем почти все они не выделяли себя, не считали, что им должно быть оказано особое внимание. Признанными исполнителями былин были только И.Т. Фофанов и Н.А. Ремизов и, может быть, еще А.Л. Фадеева, признанными сказочниками — тот же Ремизов и Болотов. В последний день снова прозвучала одна из замечательных былин Ивана Терентьевича об Ермаке Тимофеевиче. И.Т. Фофанов знал, что она меня особенно заинтересовала. И не только своими поэтическими достоинствами. В редакции, записанной от него, как бы получает свое полнокровное завершение превращение исторического Ермака Тимофеевича, казачьего атамана, сыгравшего большую роль в истории продвижения русских в Сибирь, в киевского богатыря. Ермак в этой былине оказывается младшим богатырем, который совершает свой подвиг, когда старших богатырей в Киеве не случилось, а на город напали татарские полчища. Ермак изгоняет татарского хана Калина из хором князя Владимира, а затем едет в поле, где стоит татарское войско.

Ехал Ермак на добром кони.
Ехал на гору ён высокую,
На шелома поехал ён искатнии,
Смотрел ён в трубоньку подзорную,
Смотрел ён в тую сторону восточную
На рать на силу на великую...
Тут Ермак Тимофеевич пораздумалсе:
– Не честь-хвала мне будет молодецкая
Бить эта сила мне-ка с краю ведь,
А поеду я в самую серединочку,
В рать-силу великую.

Он бросается в бой, и рать вражеская побеждена. Былина кончается встречей Ермака с Ильей Муромцем. Как и в других былинах, оценка Ильей подвига, совершенного другим богатырем, братание с Ильей, слово Ильи — самые важные мерки достоинств богатырей. У Ивана Терентьевича редкая былина обходилась без Ильи, в этом одна из особенностей его былинного наследия.

К сожалению, далеко не все, что знали в тридцатые годы жители Купецкого, удалось записать. В предвоенные годы предполагалось после сборника былин начать подготовку к изданию пудожских сказок, но этому помешала война. В послевоенные годы изучение района продолжалось. В конце 1940-х — начале 1950-х годов там неоднократно бывала А.В. Белованова (Щемелева), а с середины 1950-х годов несколько лет подряд в район выезжала экспедиция студентов Московского университета под руководством известной фольклористки Э.В. Померанцевой. Собрано довольно много самых разнообразных материалов, но они до сих пор почти не публиковались. В последние годы экспедициями под руководством А.П. Разумовой записано много сказок.

Записи 1940–70-х годов заметно обогатили представления фольклористов о традиции Пудожья, однако столь крупных сказителей, как в 1920–30-е годы (Г.А. Якушев, И.Т. Фофанов, Н.А. Ремизов, Н.В. Кигачев, А.М. Пашкова, Ф.А. Конашков, Е.С. Журавлева, А.Т. Конашкова и др.), уже не было обнаружено. Именно поэтому я и говорил о том, что И.Т. Фофанов был одним из крупнейших и наиболее «истовых» представителей последнего поколения сказителей. Собственно, то же самое можно сказать о нем в масштабе всего Русского Севера и даже в общерусском масштабе.

Перед отъездом я еще раз пересмотрел тетрадки с записями. Итог оказался довольно внушительный. Всего от Ивана Терентьевича было записано восемнадцать былин и так называемых старших исторических песен. По числу исполнявшихся былин он

вставал в один ряд с П.И. Рябининым-Андреевым, Ф.А. Конашковым, А.М. Пашковой и М.С. Крюковой. По качеству же исполненного с ним могли конкурировать только первые два. Кроме того, в моем рюкзаке оказались отдельные записи от Н.А. Ремизова (остальные его былины были записаны Е.П. Родиной и Г.Н. Париловой), от Болотова и других односельчан Фофанова. И, наконец, на дно моего рюкзака легла объемистая тетрадка с ежедневными записями наших бесед и моих наблюдений.

В 1939 и 1940 гг. мы еще несколько раз виделись с Иваном Терентьевичем. В 1939 г. он приезжал в Ленинград по приглашению М.К. Азадовского для пения былин студентам, слушавшим курс русского фольклора. Потом мы снова встретились в Петрозаводске, а в 1940 г. я еще раз побывал в деревне Климово, правда, недолго: мой маленький отряд, состоявший из Ю.М. Агулянского, Б.Е. Марголис и меня (все трое тогда студенты филологического факультета Ленинградского университета), завернул на пару дней в Климово под конец экспедиционной поездки по северо-восточной части Пудожского района.

Особенно интересны были встречи в Ленинграде и в Климовой. В Ленинграде И.Т. Фофанов провел несколько дней. Естественно, М.К. Азадовский просил меня «пошефствовать» над ним в это время. Собственно, просить меня было незачем, я и так не отходил от Ивана Терентьевича. Он пел за эти дни много раз — в университете для студентов и преподавателей, во Дворце пионеров, в Доме писателей, дома у Марка Константиновича Азадовского, дома у меня, в школах, в Институте русской литературы АН СССР. Я помогал ему выбирать былины для пения, рассказывал ему, кто его будет слушать, сопровождал его в поездках и походах по Ленинграду. Время его заранее было расписано, и я должен был напоминать, где ему предстоит выступать и когда. Это каждый раз возбуждало встречные вопросы с его стороны: кто будет его слушать? сколько человек? как долго он должен петь? будет ли еще кто-нибудь петь или говорить? и т.д. Это было ему очень важно, и, что самое интересное, он проявил при этом неожиданную гибкость. Он готов был петь и дольше и короче, только ему надо было знать об этом заранее. В одном он был неколебим — в требовании цельности. Он терпеть не мог, когда его останавливали посредине пения. Он считал, что так можно делать только, если его исполнение совершенно не понравилось. Он не мог понять манеры некоторых музыкантов интересоваться напевом безотносительно к тексту. Видимо, напев был для него не самостоятельной эстетической ценностью, а способом произведения былинных стихов. Так же Иван Терентьевич относился и к сюжету

былины; он может быть максимально сжат, но и в сжатом виде должен быть доведен до конца. Сюжет — носитель смысла, а демонстрировать какой-то фрагмент, обрывок ему казалось неразумным. Он считал, что так надо делать независимо от того, знает кто-нибудь из присутствующих сюжет былины или нет. Вспомним, что сходное отношение к цельности былины отмечал и Е.А. Ляцкий у И.Т. Рябинина.

Я неоднократно наблюдал подобное отношение к сюжету и у сказочников. Это тоже элемент вполне определенной художественной системы. Разве не известно заранее, что всякая сказка и всякая былина кончается благополучно? Но это не снимает интереса к процессу рассказывания сказки или к ее повторению. То, что в ней содержится, вовсе не сводится к смыслу, понимаемому чисто логически.

Иван Терентьевич не мог понять, зачем я каждый раз, когда он поет, что-то пишу. Ведь былина была записана еще дома. Что это? Назойливая проверка? Ожидание, что он ошибется? Это его даже раздражало, хотя он старался мне этого не выказывать (приезд в Ленинград он считал не своей, а моей заслугой). Ценности варьирования, повторной записи и сопоставления отдельных актов исполнения он не понимал. Для него все исполнения были одинаково «правильные». Для меня же открывалась счастливая возможность наблюдать, как меняется текст былины в зависимости от обстоятельств, аудитории, состава слушателей, их осведомленности в былинах и т.д.

Интересны были для меня и прогулки с Иваном Терентьевичем по Ленинграду. Сюда он приехал в первый раз. Города, крупнее Петрозаводска, он прежде не видел. Его поражало многое: огромные дома, Петропавловская крепость, городское многолюдие и движение, масштабы города, Нева, морские суда на ней. Мы бродили по улицам, сидели на набережных и в садах, залезли на купол Исаакиевского собора, побывали в зоологическом парке.

Восхождение на Исаакиевский собор было для него чрезвычайным событием. Так высоко он еще никогда не поднимался. Слегка кружилась голова, под нами расстилался Ленинград, на севере синей полосой открывался Финский залив. Иван Терентьевич, несколько потеряв масштабы, стал у меня спрашивать, где Онежское озеро и родная ему Пудога. Я смог показать только примерное направление. Его волновал вопрос — близко ли тут пролетают самолеты. С другой стороны, он воспринимал происходящее в традиционных мифологических категориях. Когда мы спустились вниз, он вдруг сказал: «Побывали мы с тобой живыми на небесах, как Илья Огненный, а потом опять по земле идем. Как во снях, как во снях!».

В зоопарке он стремился разобраться, какие звери одомашнены, а на каких можно охотиться. Вспоминал виденное на картинках и не очень четко различал зверей мифологических и реальных. И, конечно, сразу разобрался в зверях и птицах, обитающих на нашем Севере. Они ему были интересны, но он явно жалел их. Клетки — скверное для них обиталище. Очень оживился он, когда увидел белых медведей, моржа, тюленей, он слышал о них от мужиков, ходивших на Белое море, но никогда не видал. Для каждого из них у него было свое северорусское название. Он был поражен тем, что на малой территории зоопарка как бы разместились и северные леса, и Белое море, и заморские страны. Меня же удивляло пестрое сочетание очень точных охотничьих знаний с легендарными сведениями о «чужих» животных в духе средневековой письменной (видимо, и устной) традиции, в духе «Физиологов», «О человецех незнаемых в Сибирской стороне» или «Путешествия» Афанасия Никитина. С детства привыкший узнавать зверей по книгам, я не мог представить себе, с каким запасом знаний и ассоциаций может прийти в зоопарк человек, воспитанный на устной и старописьменной традиции. Неожиданным был для меня и этический элемент, который он сразу же внес в наши разговоры. Ему было досадно и почти стыдно, что вместе с хищными и опасными зверьми в клетки запрятаны совершенно безопасные — заяц, лиса, многочисленные птицы. Очень оживился (пожалуй, больше я его таким не видал ни дома, ни в Петрозаводске, ни в Ленинграде) при виде павлина, распутившего роскошный многоцветный хвост. И, конечно, тут же он произнес не «павлин», а «жар-птица». — «Вот это жар, так жар. Век не забуду! А женка-то его, равно как девка, принцесса! Ну, Кирилла, ну, Кирилла!».

В связи с нашими ленинградскими встречами не могу не вспомнить об одном забавном эпизоде, разыгравшемся у меня дома. Я жил тогда в Детском Селе (ныне город Пушкин) под Ленинградом. Вероятнее всего, это было в воскресенье, так как моя мама была дома. После прогулки по детскосельским паркам мы с Иваном Терентьевичем и моими университетскими приятелями побывали в Екатерининском дворце, а потом возвратились домой обедать. После обеда И.Т. Фофанов должен был петь.

Мама, зная, что к обеду соберется несколько человек и что для меня это не обыкновенный обед, а праздничный (я ей после лета в Климове о многом рассказывал), решила угостить нас получше, но, как она потом признавалась, совершенно не подумала о привычках нашего главного гостя. Праздничный обед она задумала по-городскому. На первое был отличный мясной бульон с

пирожками. Первая тарелка полагалась Ивану Терентьевичу. Когда все уселись, и бульон был разлит по тарелкам, последовала чарка и тост за здоровье Ивана Терентьевича. Произнесла его мама, как старшая среди собравшихся. Это несколько смутило гостя, по старым крестьянским обычаям женщина не произносит первого тоста, тем более хозяйка, ее дело пригласить гостей откусать. Но дальше было еще хуже. Когда все начали есть, Иван Терентьевич, взглянув на пустую, с его точки зрения, тарелку, в которой была налита одна водичка (или как бы он сказал «юшка»), потихоньку ее отодвинул и начал жевать пирожки. Мы с мамой переглянулись и поняли, какой совершили промах. С крестьянской точки зрения «юшка» не еда, даже не «хлебово», в ней что-то должно быть. Когда было подано второе, все уладилось наилучшим образом, и явно, чтобы не подчеркивать, что его плохо угостили, Иван Терентьевич с удовольствием попросил добавки и громогласно нахваливал хозяйку. На пути в Ленинград (я провожал Ивана Терентьевича до гостиницы Дома ученых, где он жил) я пытался объяснить, почему мама угощала нас именно так, а он меня успокаивал и говорил, что и к городским порядкам можно привыкнуть.

После обеда Иван Терентьевич долго пел. Он заметил, с каким уважением мои друзья относятся к моей маме, он знал также, что она учительница, и после обеда обратился прямо к ней:

– Вера Ивановна, можно я теперь былинку спою!

И в дальнейшем он обращался только к ней. Даже в непривычной обстановке старался он быть, как говорили олонецкие старики, «вежественным», вести себя скромно, обходительно, но с достоинством.

Последняя наша встреча — тогда казалось, что еще многое впереди, т.к. я только начинал работать над сборником былин И.Т. Фофанова, — произошла в 1940 г. в Климовой. Я уже говорил, что к Ивану Терентьевичу мы завернули в самом конце поездки по северо-восточной части Пудожского района. Дело не только в том, что мне хотелось не упустить возможности лишний раз повидаться с семейством Фофановых. На Купецком должна была произойти встреча двух отрядов пудожской экспедиции 1940 г. Во втором отряде были А.Д. Сойманов, Г.Н. Парилова и Н.А. Бутинов. Найти они должны были нас у Фофановых. Встреча была радостная и по-студенчески шумная. Иван Терентьевич усмехался, мы казались ему ребятишками. Со мной он встретился особо, пока все шумели (и чтобы не терять спокойствия на людях), вывел меня в сени, облобызал и прослезился.

Потом было застолье, но, как и каждый раз у него в избе при стечении публики, довольно короткое. За ним последовало

сказывание былин Иваном Терентьевичем и, конечно, Никитой Антоновичем Ремизовым. Как ни успешна была работа отрядов, былины Ивана Терентьевича, его пение и пение Никиты Антоновича стали крупнейшим для нас событием и одновременно конечной наградой за все труды. Шумная компания притихла и прониклась эпическим спокойствием и серьезностью.

Потом члены отряда А.Д. Сойманова, распроставшись, пошли на ночлег в соседнюю деревню, где они остановились, а мы втроем остались у Ивана Терентьевича, еще долго сидели и тихо разговаривали. Иван Терентьевич рассказывал о своих делах, семейных и деревенских, вспоминал свою поездку в Ленинград и другие наши встречи, расспрашивал о ленинградских знакомых. Особенно полюбились ему М.К. Азадовский, который встретил его очень ласково и почтительно, и А.М. Астахова. Впрочем, Анну Михайловну Иван Терентьевич помнил еще со времен петрозаводской конференции. Он оценил ее знание былин и умение разговаривать совершенно на равных, попросту и дельно.

Из троих членов нашего отряда Иван Терентьевич знал не только меня, но и Юру Агулянского. Он видел его среди слушателей в Ленинградском университете, потом у меня дома и понял, что мы приятели. Его волновало другое. Третьей среди нас была студентка Б.Е. Марголис. Он поглядывал на нас испытующе и со свойственной ему чуткостью по каким-то оттенкам нашего поведения уловил, что между мной и ею существует большее, нежели просто студенческая дружба. Действительно, это была моя будущая жена. Иван Терентьевич пристально нас разглядывал. Он умел это делать так, что нас это не смутило, а потом тихо сказал фразу, которая запомнилась и оказалась совершенно верной:

– Вижу вы бровьяма подобные. Будете долго вместе жить...

Вот это нас, конечно, смутило, мы были влюблены, но о будущем еще не очень думали и не считали себя «женихом» и «невестой». В тогдашнем молодежном обиходе этих слов не было, мы прекрасно обходились без них. Ну, что же? Должен признать, что Иван Терентьевич оказался прав. Но интересно тут и другое. За этой фразой, сказанной вскользь, но со значением, как всегда у И.Т. Фофанова, стоял целый комплекс представлений, выношенных и продуманных. Он считал, что брак может быть прочным, если муж и жена имеют что-то общее даже внешне. Вероятно (подробно поговорить об этом мы тогда не успели, но все-таки самое главное он нам объяснил), он представлял себе дело так, что духовное родство должно обязательно иметь какие-то физические признаки.

Я рассказал об этом эпизоде вовсе не ради курьеза. Он очень характерен для Ивана Терентьевича. Мне, юноше тогда, казалось

естественным, что за долгую жизнь Иван Терентьевич успел обо всем подумать — и о своих былинах, и о богатырях, и о жизни, и о людях, которые его окружали, о зверях в лесах и о рыбах в озере, о восходе и о закате... Лет ему много, человек он спокойный, по ночам дежурит и есть время подумать. Теперь же я хорошо знаю, что есть разные люди: иной живет и подольше Ивана Терентьевича и ни о чем не успеет толком подумать, все суетится, мельтешит. Поэтому я сейчас совершенно уверен в том, о чем догадывался уже и тогда: Иван Терентьевич был человеком безусловно незаурядным, а не только даровитым сказителем. Он постоянно о чем-то размышлял и умел додумывать все до конца, до ясного понимания вещей. Жизнь задавала ему немало загадок, т.к. он был человеком интенсивной традиции, человеком традиционной культуры и жил в современном мире, быстро обновлявшемся и создававшим новые традиции и человеческие взаимоотношения.

Этот очерк мне хочется кончить одним, может быть, неожиданным сопоставлением. Великий Эйнштейн говорил, что если бы он был бургомистром, то он велел бы на каждом перекрестке поставить скамейки. Пусть люди посидят и подумают, куда они бегут и зачем. У них должно быть время подумать о том, кто они такие.

Мудрая мысль! Может быть, мне она поможет еще раз сказать самое главное об Иване Терентьевиче. Он был одним из людей, которые часто присаживаются на свою скамейку и думают о жизни, о себе и о других людях. Только так можно понять и его любовь к былинам, и их сосредоточенное понимание. Для него они были одним из важнейших способов посидеть и подумать о жизни. Быт и традиции северорусской деревни, в которой он родился и вырос, дали ему это прекрасное средство, очень старое по своему происхождению и по своей сути, но мощное и художественно полноценное. Оно одновременно и очень хорошо вписывалось в действительность 30-х годов нашего века, и не могло уже не противоречить ей. Позже жизнь в своем постоянном изменении лишила людей такой возможности. Былины ныне живут преимущественно в книгах. Конечно, сами по себе они не стали от этого хуже. Но я не могу не радоваться тому, что судьба свела меня с человеком, который знал их не из книг и для которого они были тысячью нитей связаны с его собственной жизнью, его собственными раздумьями о ней.

БЕЛЛА. ЖЕНА. «ВЕЧЕР ВДВОЕМ»

Наша дружба началась так. Белла¹ была на курс младше и училась на германском отделении филологического факультета Ленинградского университета. Однако некоторые лекции мы, русисты, слушали вместе с западниками. Например, античную литературу у Ивана Ивановича Толстого. И познакомились мы во время этих лекций. Сначала здоровались, немножко разговаривали, а потом однажды 8 марта 1939 г. пошли четвером — двое еще было, не помню кто, — в вегетарианскую столовую. Она находилась напротив Дома книги, по ту сторону канала Грибоедова, где теперь ресторан. Сейчас таких столовых нет. А это было вкусно, и мы, студенты, часенечко туда заглядывали.

Мы сидели четвером, обедали, разговаривали. Был очень хороший весенний день. Потом вышли, наши товарищи пошли в одну сторону, а мы с Беллой пошли гулять. И гуляли до вечера. Так и стали друзьями. До этого знакомы были — стали друзьями.

Помню, однажды мы гуляли на Васильевском острове около Академии художеств. Раньше калитку в садике Академии на ночь запирали. Я перебрался через забор, а Белле трудно. Она была в довольно узкой юбочке, но все-таки мы проникли в академический садик.

¹Белла Ефимовна Чистова (урожд. Марголис; 1921–1999) — филолог-германист, преподавала в Петрозаводском государственном университете и Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. См. труды: Маяковский в Германии: Из истории советско-немецких литературных взаимоотношений 20-х годов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1974; Упражнения по синтаксису и лексике. Методическая разработка для студентов факультетов русского языка и литературы, изучающих немецкий язык. Л., 1977 (в соавт. с Е.С. Новгородовой); Дидактический материал для занятий по немецкому языку с работниками торговли. Л., 1979 (в соавт. с Е.С. Новгородовой и М.М. Раменской); Русско-немецкий разговорник (на торговую тематику к Олимпиаде-80) / Сост. Е.С. Новгородова, В.Е. Чистова. Л., 1980; Majakowski in Deutschland: Texte zur Rezeption, 1919–1930. Mit einer Studie von Bella Tschistowa / Hrsg. von Roswitha Loew und Bella Tschistowa. Berlin, 1986 и др.

Один раз было так. Мы загулялись с Беллой по Ленинграду, и я опоздал на последний поезд в Детское Село. Прибежал на Витебский вокзал, а последний поезд уже ушел. Мне какой-то железнодорожник говорит: «Что ты тут мечешься? Поезда уже больше до утра не будет. А знаешь, сейчас вот пойдет паровоз, он тут стоит, пойдет за порожняком. Пойдем, я скажу машинисту, что ты опоздал, студент — занимался, работал. Он возьмет тебя».

Он меня взял. По дороге мы еще говорили о моем отце. У меня нашлась тема для разговора с машинистом, который меня тогда вез. И машинист во время разговора забыл, что обещал меня посадить в Пушкине, и дует мимо станции. Я думаю: что же мне делать, я ночью заеду неизвестно куда. Зима была снежная, и после переезда был большой сугроб. Я думаю: «Господи, благодать!» И ринулся в этот сугроб. Потом портфель долго искал в темноте. Я ведь еще боялся, что мама будет очень волноваться: я все не еду и не еду. Она волновалась, конечно, но все-таки я приехал.

Белла с самого начала писала студенческие работы под руководством Майи Лазаревны Тронской. Курсовую работу она писала о фольклорном немецком сборнике А. Арнима и К. Брентано «Волшебный рог мальчика». У немцев, как известно, архаическая песня не дождалась возникновения фольклористики. Состояние немецкой фольклорной традиции не сравнимо с тем, что было в России в XIX в. В сборнике «Волшебный рог мальчика» было много песен литературного происхождения. Белла и занималась проблемой соотношения фольклорного и литературного начал в сборнике.

Мы с Беллой всегда вместе занимались в библиотеке. Обычно порядок был такой: мы слушали лекции, ходили обедать, а потом возвращались на факультет в библиотеку. Марк Константинович тогда как-то спросил у меня, имея в виду, что меня постоянно видят со студенткой германского отделения: «Так Вы работаете не только на нашу кафедру?». Я говорю: «Нет, я не прикасался к ее работе, она сама делает». — «Но под Вашим влиянием?» — «Ну, может, отчасти». Белле тогда действительно литературно-фольклорная проблематика стала тоже интересной. А я в том году как раз писал курсовую работу на тему «Сумароков и фольклор», о которой уже рассказывал выше.

Белла обычно летом уезжала в Баку к родителям. А в 1940 г. она решила поехать с нами в экспедицию. Ездили мы тогда с Юрием Агулянским. Был у меня такой друг, погиб во время войны.

Плыли мы на пароходе. Тогда по Онежскому озеру один пароход шел из Петрозаводска до Шалы, а другой — в Заонежье, мимо

Кижей, и потом приставал на пристани Песчаное. Я нарочно придумал маршрут так, чтобы выехать через Песчаное, потому что я до этого уже видел Кижы. Первый раз я увидел Кижы так. Плыли мы белой ночью, все пассажиры спали, а потом вдруг все проснулись и стали смотреть Кижы. Рядом со мной стоял старик один и говорит: «Господи, благодать-то, благодать-то!». В тот раз эту благодать я смотрел с Беллой.

Мы поженились 27 июня 1941 г., на пятый день войны. Предложение ей сделал не я, а она мне. Потом я очень любил подшучивать, что я, наверное, единственный мужчина, которому его будущая жена сделала предложение. Белла тогда рассудила, что если я уйду на фронт, то со мной может всякое случиться. Меня могут ранить, и, для того чтобы она могла быть рядом со мной, ухаживать за мной, она должна быть не подружкой, а официальной женой. Мы пошли 27 июня в ЗАГС и расписались. Тогда не требовалось никаких испытательных сроков. Кстати, не мы одни в тот день расписывались. Перед нами была небольшая очередь желающих официально оформить свои отношения.

Белла скончалась 8 марта 1999 г. Такое мистическое совпадение. Мы отсчитывали нашу дружбу с 8 марта 1939 г., а 8 марта 1999 г. она ушла из жизни. 60 лет мы были вместе. Она была очень красивой женщиной — и умной. Я в юности был влюбчив, но часто, когда знакомился с какой-то девочкой, которая издали была мне симпатична, я быстро понимал, что она дура. И мне с ней становилось совершенно неинтересно.

Белла настолько была уверена в своей красоте, что была совершенно некокетлива. Она и в старости была красива. Я ей об этом говорил. А она: «Какая я тебе красивая, что ты говоришь? Старуха». Но женщины бывают в разном возрасте красивы по-своему. За 60 лет сначала тесной дружбы, а потом семейной жизни у нас не было ни одного плохого дня. Это я говорю без всякого преувеличения. У нее был южный характер — взрывчатый. Она могла вспылить, наговорить что-то, но через час подходила ко мне, обнимала, целовала, и все проходило. А я ей никогда никаких грубостей не говорил. По-настоящему большой ссоры за всю жизнь у нас вообще не было ни одной.

Белле на ее жизненном пути нередко приходилось трудно. У нее открылся туберкулез, приобретенный во время войны, неясно было, сможет ли она родить ребенка. Она решилась. Нам очень этого хотелось. Мы четыре военных года были врозь, и после войны нам очень осознанно хотелось иметь семью и ребенка. И в 1946 г. родился наш первый сын. Когда я сказал ей, что складывается так, что мне следует переехать в Петрозаводск, она, не колеблясь, оставила Ленинград и поехала вместе со мной. Потом

у Беллы опять была вспышка туберкулеза — уже в Петрозаводске. Это длилось несколько лет. А затем врачи вдруг ей сказали, что она практически здорова, и она родила второго сына. Ей очень хотелось второго сына. Когда меня перетащили на работу в Москву и Ленинград, она оставалась в Петрозаводске, пока нам не дали квартиру в Ленинграде, четыре года прожила с ребятами практически одна, без меня.

Она справлялась со всеми жизненными трудностями. И вместе с тем продолжала заниматься наукой. Белла выросла в видного германиста. Она очень хорошо читала лекции и всегда очень по-доброму относилась к студентам. Никогда не стремилась создавать дистанцию. В Германии у нее была опубликована книга «Русский футуризм и немецкий импрессионизм», вышла целая серия статей. Белла занималась культурологическими и лингвистическими изысканиями. Например, в ГДР выходил многотомный «Словарь современного немецкого языка». С 20-го выпуска там стали отмечать некоторые различия языкового употребления в Западной и Восточной Германии. Под влиянием разных социальных систем в немецком языке появились, с одной стороны, американизмы (на Западе), и с другой — руссизмы (на Востоке). Например, в Восточной Германии возникло слово «новерер» — производное от нашего «новатор». В Западной Германии этого слова не знали. Белла написала очень интересную статью, посвященную подобным влияниям на язык разных социальных систем.

Кроме того, Белла считалась почти штатным театральным рецензентом. Она хорошо понимала театр, и к ней обращались с просьбой написать отзыв на ту или иную постановку. Ей говорили: «Вот, новая постановка, напишите нам в газету рецензию на нее». Она создала в Петрозаводском университете студенческий театр, в котором сама играла роль режиссера. Студенты любили ее. У нее очень наполненная жизнь была.

Как-то она мне сказал: «Я скоро выйду на пенсию и тогда буду твоим секретарем». Я подумал, что вряд ли она будет моим секретарем. Но так и получилось. Сначала она помогала, секретарствовала, а потом получилось так, что стала соавтором. Она все делала с увлечением. Она так много работала в ее последние годы — пять книг за эти два года были нами сделаны. Может быть, я этим приблизил ее смерть? Нет, не может быть. Она с упоением работала, понимаете? Рак есть рак. Он не спрашивает, кто чем увлекается.

Смерть Беллы для меня — это очень большой удар. Она всегда была первым рецензентом моих работ. Она первая читала мои статьи, иногда говорила: «Мысль хорошая, а выражено плохо». И

я переделывал работу. Часть работ мы написали с нею в соавторстве².

Когда появились магнитофонные записи «поэтов-певцов», как я их называю (я не люблю слово «бард» — это исторический термин, который относится совсем не к нашему времени), — Окуджава, Галич, Высоцкий, Матвеева — она тщательно собирала их песни. У нас есть огромная коллекция записей. Она вела картотеку и звуковой материал собирала. Когда она занималась на кухне, что-то делала, то брала с собой магнитофон и там слушала. Не включала телевизор с «мыльной оперой» какой-нибудь, а слушала эти песни и знала их очень хорошо. Она очень любила Высоцкого, особенно его «Кони»³. Трагическая песня, вообще одна из лучших его песен.

Вечер вдвоем

Мы смеялись и брови хмурили,
Пели, спорили, балагурили
И шептали вдвоем в ночи...
Слышишь? Осень в окно стучит!
Посидим давай и покурим мы,
И покурим и помолчим.
... Забывать и стыдиться нечего.
Обернёмся и поглядим:
Не дымок сигарет —
этим вечером
Вьётся прошлого лёгкий дым.
И давай сполна подытожим мы,

² См. труды, подготовленные Б.Е. и К.В. Чистовым совместно: Причитания / Подгот. к печати К.В. Чистова и Б.Е. Чистовой. Л., 1960 (Б-ка поэта. Большая сер.); Федосова И.А. Избранное / Сост. К.В. Чистов; Подгот. текстов К.В. Чистова и Б.Е. Чистовой. Петрозаводск, 1981; Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия / Сост. и подгот. текста К.В. Чистова и Б.Е. Чистовой. Л., 1984; Чистов К.В., Чистова Б.Е. Заметки по текстологии русской обрядовой песни // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 329–334; Причитанья Северного края, собранные Е.В. Барсовым / Подгот. текстов К.В. Чистова и Б.Е. Чистовой. СПб., 1997. Т. 1–2; Преодоление рабства. Фольклор и язык «остарбайтеров». 1942–1944 / Сост. К.В. Чистов и Б.Е. Чистова. М., 1998; Fliege, mein Briefchen von Westen nach Osten. Auszüge russischer, ukrainischer und weissrussischer Briefen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 1942–1944. Bern; Berlin, 1998 (Studien zur Volksliedforschung; Bd 18).

³ Имеется в виду известная песня Владимира Семеновича Высоцкого (1938–1980) «Кони привередливые» (1972) — одно из самых ярких лирико-философских произведений поэта.

Как итожит твоя седина,
Всё что пережито, всё что прожито,
Дорогая моя жена...
Когда мальчики наши вырастут
(Один — тихий, другой — задиристый)
И коснется их сердца жизнь —
Наша юность, перескажись!
Передайтесь им, наши веления,
Книжных поисков борозда,
Парки в Пушкине, сердцебиения,
Лозы вербные, куст сиреневый,
Прионежские эти места,
Мои первые стихотворения,
Ожидания чистота.
Пусть не знают блокадного голода,
Пуль и бомб, и войны любой,
Но хочу им трудную молодость,
Труд и бой, как у нас с тобой!
Пусть на жизнь свою не посетуют,
Если даст им узнать всерьёз
Сладость встреч после дня победного,
Горечь долгих разлук и слёз.
Правда, долго ждать ещё лета им —
Только-только летят грачи...
Вот об этом и побеседуем,
И покурим и помолчим,
Пока осень в окно стучит...

ВОЙНА. ИЗ СТИХОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Для меня война началась так. Вместе со своим другом Юрием Агулянским, который потом погиб, мы 22 июня, в воскресенье, готовились к очередному экзамену. Было это на его квартире на Петроградской стороне, совсем близко от того места, где я теперь живу. И вдруг раздался телефонный звонок. Наш приятель Борис Раскин позвонил и сказал: «Ребята, вы радио слушаете? Включите радио!». Передавали речь Молотова. Объявление войны. Не Сталиным. Сталин выступил потом, почти через 10 дней. И, когда Сталин выступал, мы слышали, как у него позвякивал стакан (он пил воду, и у него дрожала рука). Тогда он сказал «братья и сестры». Вдруг мы стали «братья и сестры».

Но это было потом. А 22 июня мы поехали в университет. Никакого сигнала не было, никто не призывал, но тысяч десять студентов явилось на тогда еще булыжный университетский двор. Мы собрались в том месте, где находится здание физкультурного зала и где сейчас установлен камень «памяти всех погибших студентов». 22 июня там был митинг. Опасность для нашей страны действительно была смертельной: немцы уже оккупировали Францию, Австрию, Югославию, половина Европы была у них в руках. И, кроме того, до нас доходило, что такое фашизм.

Сначала студентов направляли на оборонные работы. Я был освобожден от воинской повинности по зрению и потому тоже поехал с группой студентов строить запасной аэродром. Туда приехал один наш студент — Сергей Максимов. Он был уже зрелым человеком, участвовал в Финской войне и получил звание Героя Советского Союза. Он был мастером спорта по лыжам и во время войны отличился в «легучем отряде». В университете он стал секретарем нашей комсомольской организации. На аэродроме, который мы строили, он вызвал по очереди несколько человек, в том числе и меня, и сказал: «Вот, Кирилл, такие дела. Мы организуем партизанскую школу, и будет создан специальный студенческий партизанский батальон. Это не комсомольское поручение, не обязанность. Решай сам. Если ты скажешь, что у тебя душа к этому не лежит — выполняй другие обязанности». Я ответил, что

хочу быть с ними.

Дальше нас готовили по подрывному делу, показывали немецкое оружие, а потом как-то ночью подняли нас по команде, выдали тельняшки, симоновские винтовки. Они были десятизарядные, но не выдерживали попадание песка в затвор — сразу же отказывали.

А дальше была ужасная вещь — первые впечатления о войне. Мы приехали в областной штаб партизанского движения, который располагался на улице Плеханова. Там переночевали, утром нас подняли, посадили в машины, и мы покатили по Киевскому шоссе. Отъехали несколько километров от города и уже увидели, что кружится немецкий самолет: в город они еще не прорывались, но летали и разведчики, и истребители. Мы доехали до какой-то части, там нас покормили. И потом я всю войну вспоминал этот солдатский котелок, в котором была рисовая каша с мясными консервами, и думал: «Какого черта я тогда не доел?.. Мне бы сейчас эту кашу!». Начался дождь, и командир отряда Дорофеев сказал, чтобы мы ложились ночевать в лесу. Как ложиться? В грязь? Черт его знает! А ребята более опытные, в том числе Сергей Максимов, обрубали винтовочным штыком лапы у елок и выстлали ими землю. Прилег и я.

Утром нас поднимают и говорят: «Проверьте, чтобы ничего не шумело, не звенело, будем переходить фронт». С нашим батальоном через линию фронта шел также батальон рабочих с Балтийского завода. И вот один мужчина с этого Балтийского завода на привале выстрелил в себя из винтовки и стал кричать от боли — нервы не выдержали. Тогда их командир сказал, чтобы кто-нибудь его пристрелил. А наш Дорофеев заметил, что стрелять нельзя: и так выстрел был, а рядом шоссе и немецкие машины идут. «Зарежьте его». Вот такое жуткое впечатление у меня связано с началом боевых действий.

Потом мы прокрались до так называемых Глуминских болот, и там, на островах в болоте, устроили себе лагерь. Ходили на диверсионные вылазки, подрывали кое-что. Я оцениваю наши действия как не очень-то умелые, но все же это были действия: несколько мостов мы взорвали, обстреливали группы немцев на шоссе. Потом была неудачная вылазка. В тот день мы узнали, что в одной деревне находится всего 5–6 человек немцев, и решили пойти туда. Но элементарно не рассчитали, что пока предыдущая группа разведки возвращалась к нам и пока мы сами шли до деревни, обстановка могла сильно измениться. Попали мы под пулеметный огонь. И в этом нашем бою, к несчастью, погиб Сергей Максимов, самый опытный из нас человек. Его все горячо

любили, прекрасный был парень.

Запасы у нас быстро кончились. Питались мы клюквой и сыроежками, которые не вызывали у меня восторга никогда. Связи у нас не было, о том, что Ленинград окружен, мы не знали. Пробовали пойти дальше на восток и с востока как-то пройти в Ленинград, но ничего не вышло. Именно так мы в одно далеко не прекрасное утро и попали в плен.

Там мне пришлось работать на разных объектах. И получилось так, что я сумел написать письмо домой. Это была редкость, чтобы письмо от пленного, находящегося за линией фронта, дошло до его родных. Я сам ни разу не слышал о таком. Я находился тогда под Вязьмой. Нас, пленных, вместе с местными жителями гоняли на разные работы. Тогда я и написал записочку маме и передал ее одной местной девчонке. Нас, пленных, погнали дальше, в Белоруссию, а Вязьма была вскоре освобождена нашими войсками. Та девчонка сразу же, как наладилась почта, отослала письмо в Ленинград, и мама его получила. Она это письмо сохранила. Я уже говорил своим сыновьям: «Если я не успею привести в порядок свой архив, сдайте его потом в музей».

В Белоруссии я бежал из плена. Мы однажды сговорились и бросились в разные стороны. Охрана была маленькой — три-четыре человека на большую группу людей. Время для побега мы выбрали, когда немцы сели на какой-то камешек покурить. Таким образом, я оказался в одном из белорусских партизанских полков. Добралось до партизан нас туда семеро, а убежало человек 30. Судьбы остальных я не знаю. Может быть, они своим путем сумели как-то вырваться тоже.

Мы, сбежавшие из плена, некоторое время действовали в составе этого партизанского полка. Фронт приближался к Белоруссии. Скоро оказалось, что наше партизанское соединение действует в армейском тылу немцев. Настали очень тяжелые дни. Немцы поняли, где мы находимся, и начали нас бомбить, задействовали артиллерию. Мы получили разрешение добираться через реку (там понтонные мосты были уже наведены) к своим — к нашим армейским частям. Встретили нас прекрасно: армейцы слышали, что мы вели здесь тяжелые бои. Обнимали, целовали, накормили — поняли, что мы действительно воевали в тылу у немцев. А потом пришли «смершесцы»¹. Говорят нам, бывшим пленным: «Сдайте оружие». Нам это было очень оскорбительно. Но делать нечего: сдали все оружие. Командир нашего партизанского полка, Гри-

¹ Имеются в виду сотрудники Главного управления контрразведки «Смерть шпионам» Народногo комиссариата обороны СССР.

шин², — он был Героем Советского Союза — говорит «смершевцам»: «Я ребят никуда не отдам. Они все были со мной в боях, все проверенные, идите прочь отсюда». И нас действительно не тронули.

Я попал в резервный полк, потом в регулярную часть Белорусского фронта. И потом я проделал поход по Западной Белоруссии и Польше. Однажды мы форсировали реку на подсобных средствах: как хочешь, так и плыви. Я оторвал какой-то кусок забора и плыл, держась за него. Винтовку держал в поднятой руке, а другой рукой греб. После этой переправы я заболел: меня рвало кровью, и ходил кровью. Потом выяснилось, что это язва двенадцатиперстной кишки. Паршиво, конечно, себя чувствовал. Меня сначала отправили в полевой передвижной госпиталь, а потом в Брест, где стали лечить. Я помню, что первый раз за всю войну я лежал на простыне и укрывался настоящим хорошим одеялом. И как-то в госпитале услышал, как сестра кричит: «Кому сливки?». Я подумал: «В какой рай я попал! Лежу на всем белом, теплом, сухом, еще и сливки тут дают!». Правда, оказалось, что «сливки» — это то, что кто-то не доел, а из солдатских котелков сливали остатки и отдавали тем, кто не наелся.

В Бресте меня комиссовали. Я думал, что меня домой отправят. «Нет, послужишь еще. Хотя университетское образование, но у нас в госпитале нет счетовода для отдела материального обеспечения. Будешь счетоводом». И стал я считать портянки, гимнастерки б/у и т.д. Очень смешной случай был. Начальником этого отдела был старший лейтенант. Он где-то в начале войны закончил трехмесячные курсы, а до войны работал в школе секретарем. Так что представляете себе, какое у него было образование? Он был неплохой парень, но совершенно неученый. Закончил семь классов, потом его взяли секретарем за хороший почерк. Однажды он мне говорит: «Садись и пиши доверенность. Мы пошлем бойца за мылом. У нас мыло скоро кончится в госпитале. Пиши: в воинскую часть такую-то посылается боец такой-то для получения мыла, подпись которого удостоверяю». Я ему говорю: «Товарищ старший лейтенант, нехороший текст доверенности». — «Чем это нехороший? Я два года в этой части, и всегда так пишу. Что тебе нехорошо? А ты бы как написал?» — «А я бы написал так:

² Сергей Владимирович Гришин (р. 1917) — командир партизанского соединения, Герой Советского Союза (1943). В 1941 г. лейтенантом командовал танковым взводом, попал в окружение. В ноябре 1941 г. создал партизанский отряд, совершавший в 1942–1943 гг. рейды по Смоленщине и Белоруссии. В июле 1944 г. его партизанский полк соединился с частями 5-й Армии 3-го Белорусского фронта.

для получения мыла посылается в в/ч такую-то боец из в/ч такой-то, подпись которого удостоверяю. Подпись бойца удостоверяется, а не подпись мыла». Тот посмотрел и говорит: «Да все равно. Что, там не поняли бы? Ладно, пиши так, если хочешь».

Мне трудно было счетоводом работать, потому что навыка никакого не имел. Мне надо какой-нибудь большой список сосчитать, количество портянок или чего-либо другого. Я сосчитаю сверху вниз, а потом проверяю себя снизу вверх — не сходится. Сейчас считают на калькуляторах, а раньше были счеты. Костяшки на счетах запинаятся — я ведь со счетами никогда раньше дела не имел.

С этим госпиталем докатились мы до немецкой границы и снова встретили войну уже в «польском коридоре». Мы стояли в городе против Гдыньской косы. Самое страшное на войне то, что люди привыкают убивать других людей, убивать становится очень легко и просто. Ничего не стоит — нажать курок и все. Это не совпадало с моим понятием совести, с тем, чему меня учила мама. Но воевать было надо. И я стрелял, не зная, кого убиваю: может быть, убиваю немца, которого дома ждут дети. Но тогда мы об этом не думали.

Просто помню свой страх: как страшно, что люди привыкли убивать друг друга.

Затем был день Победы. Еще второго мая до нас стали доходить слухи, что наши войска находятся уже в Берлине, что немцы пытаются в одностороннем режиме вести переговоры с нашими западными союзниками. И вдруг 8 мая по радио передали, что немцы подписали безоговорочную капитуляцию в Потсдаме: война кончена. Известие это пришло ночью. Мы выскочили на улицы, и пошла пальба! Немцы до смерти испугались: они решили, что началась расправа с местным населением. А мы ликовали...

После окончания войны меня решили оставить служить в Германии. Я знал немецкий язык, а такие специалисты тогда были нужны и ценились на вес золота. Но я рвался в университет. С трудом убедил командира, что мое призвание — это филология, вернулся в родной Ленинград. И окунулся в мир, о котором помнил все фронтовые годы: мир литературы и фольклора.

Моя мама в блокадном Ленинграде пробыла до 1942 г. Потом вместе с Беллой они выехали по «дороге жизни». Белла возвратилась в город с одной из первых групп студентов, участвовала в ремонте университета, который был поврежден во время войны. Она поступила в аспирантуру.

Многие ученики М.К. Азадовского погибли на фронтах. В письмах военной поры к своим коллегам он не раз упоминает о них. Пишет также и обо мне, беспокоясь, что нет никаких вестей. Я,

когда об этом узнал, был потрясен. Что я такое сделал, что Марк Константинович упоминает обо мне: несколько раз выступил на семинаре, съездил несколько раз в экспедиции. А Учитель обо мне помнил.

Из стихов военных лет³

В партизанском секрете

Подо мною в траве роса,
Надо мною в ветвях роса...
Не пройдет и полчаса,
Как застигнет нас гроза!
 ...И когда домой придём
 Мы припомним эту ночь!
 Хорошо в лесу вдвоём,
 Ещё хуже — в одиночку.
По ноге ползёт мураш;
Не мурашки, а мураш.
(Поправляю патронташ).
И ему не спится тоже,
И у них война, быть может...
Наш мураш или не наш?
 ...И когда домой придём,
 Мы припомним эту ночь!
Спать не смей!
 И спать не смей!
Только слушать и смотреть!
Подберётся тихо смерть!
Спать не смей
 и спать не смей!
Хорошо в лесу вдвоём,
Ещё хуже — в одиночку.
Омывает ветерок
Розовеющий восток.
Солнцу долго не согреть
Мокрый от росы курок.
 ...И когда домой придём
 Мы припомним эту ночь!
 Хорошо в лесу вдвоём,
 Ещё хуже — в одиночку.

(1941)

³ Впервые опубликовано: Чистов К.В. Осенний полдень: Стихотворения разных лет. СПб., 2004.

В плену. Ночь

Этот ветер в этом мраке
Размывает грани линий,
И уходит из барака
Мир, не лёгкий на помине.
Окон смутные квадраты
Темнота пробьёт навывлет,
И не верится, что рядом,
Где-то рядом
люди были.

Где-то рядом
За спиною,
За соломой,
За стеною
Лился, длился день безликий,
Крёстный путь в пыли и зное:
Патрули,
приклады,
крики,
Ноги, спины,
а на спинах
Мерзкий знак, как на скотине!
Ни наестся, ни напиться
Пойлом из консервной банки...
А кругом чужие лица,
Чёрные с крестами танки,
И ночные, и дневные
В небе коршуны когтятся!
Где ж вы, соколы родные?
Где летаете вы, братцы?!

Окон смутные квадраты
Темнота пробьёт навывлет
И не верится, что рядом,
Где-то рядом люди были!
Только скрип шагов патрульных,
Шепот шепчущих о деле,
Да свист залётный нашей пули...
Дай ей бог пробиться к цели!

(1942–1943)

Ближих война развела по углам,
С чужими жить приказала...
Полустанками стали родные дома,
И домами стали вокзалы.

Год, прочитанный по складам,
Пусть нелёгкий
и невесёлый
По горящим, голодным селам,
По заклёванным городам!
Днём я был
молчалив, нем,
Думал: сгинет,
не повторится,
Но и ночь —
это та же темь,
Это те же чужие лица,
Те же залпы гремят вдали,
И в дыму и пыли
То же зарево на востоке,
И скитальцев жизнь сама
Приучает думать о боге,
Выживающем из ума.

Может быть, не праздновать нам,
Не назвать эти дни своими,
Но пришедшим с Запада к нам
Не вернуться назад живыми.
Немцы сёла наши спалят,
Города по полям развеют —
Чёрной прорвой им станет земля,
Развороченная траншеей!

(1942)

Стрела на моём плече горит
Всем, кому надо,
она говорит:
– «Вот — пленный. Вещь. Скотина.
Бейте, кому не противно!».

Стрела на моём плече горит.
Я как будто к проклятой пришит.
И нет меня. Нет даже имени.
Смыто снегами и ливнями.
Никем никогда не спрошено.
Я просто «Briller» — «Очкарь», «Очки».
И кажется мне: не очки — пяточки
В глаза потемневшие вложены.
Что же мне делать? Копаю снег.
Ложусь, как запрут. Встаю, когда будят.
Никто не помнит, что я человек,
Даже люди...

И только ночью, впотьмах, во сне
Друг мой любимый ползёт ко мне,
Он скажет сейчас мне слово,
И я скажу ему слово,
И он повторит мне снова:
– «Подвинься тихонько и слушай» —
Звали тебя Кирюшей.
Звали тебя Кириллом.
Было то. Было. Было!
Отольются им наши слёзы,
Приморозятся наши морозы,
Наши молнии, наши грозы —
Настругают крестов берёзовых!
А мы ещё люди. Люди.
И мы ещё будем. Будем!

(1942)

В тифозном сарае

Спасибо тебе, золотая солома!
Мы долго с тобой провалились вдвоем...
Когда мне дремалось,
ты пахла как ломоть
Черного хлеба.
Как память о нем.
Когда мне дремалось, была ты как поле,
Прямилась дрожа
и струилась зерном,
А где-то за полем,
как доля,
как воля,
Мой старый,
еще не покинутый дом,
Где ждут меня ночью
и, может быть, днем,
Где стал я давнишним, неправдашним сном...
Когда мне дремалось,
побыл я дома...
Спасибо тебе, золотая солома
Нам повезло:
Собакам назло
Нас бросили тут на сожранье вшам.
Нам повезло:
Никто нас не тронет,
Никто не рискнет даже сунуться к нам!
Нам повезло:
живых не хоронят,
А мертвых дают закопать землякам.
Ну что ж!
Я хочу, чтобы в могилу мою земляком
Был брошен последний земли ком...

(1942–1943)

За побег — к расстрелу

Велел нам вырыть три ямы рядом
Майор полевой жандармерии,
И нам за деревней, за старой оградой,
За белым, белым весенним садом
Три места они отмерили...
Лопата!
Она тяжела,
 как винтовки приклад,
Она холодна,
 как ствол карабина,
Она холодна,
 как шеренга солдат,
Что по команде «вольно!» стоят
И молча глядят в наши спины,
Придерживая карабины.
Ну что же, друзья мои,
 рыть, так рыть!
Ну что ж, мои милые,
 плыть, так плыть
В эту чёртову неизвестность!
Ведь где-то пришлось бы
 в конце концов
Ткнуться в песок побелевшим лицом,
А здесь — неплохая местность!
 А яма всё глубже,
 Она всё круглей,
 Она — как ствола зрак,
 Она нас всё ниже гнетёт к земле,
 Всё ближе её мрак!
Лопата стучит
И сердце стучит:
— «Спокойней. Спокойней.
Молчи!

Пока ещё руки не связаны,
Пока стрелять не приказано
Надо бы броситься разом нам
На палачей
И лопатой лупить
 всё равно чей
Проклятый вражеский череп!»
Но нет!
Не дарована лёгкая смерть,
Истерика нам не завещана.
Пока не оборвана жизни нить,
Будем презреньем врагов казнить,
Свинцом пусть лица исхлещут нам!
 Кончили рыть...
 Стоим. Ждём.
 На лицах — бусинки пота.
 Но (сволочи!) поняли что-то,
 Говорят нам: «Шпетер убьём.
 Вир браухен твоя работа».

Ах, так вы не стреляете!
Всё равно постоим на своём,
Всё равно мы своё споём,
...Не запугаете!..
...Сердце моё! Как ты вместишь
Сатанинскую эту небыль?
Долго не слышишь:
 бой или тишь.

Долго, долго совсем не спишь
И не знаешь
 ни хлеба,
 ни неба!

(1943)

Этот день — как белый медведь,
Неуклюжий и мокрый —
Ему бы на брюхе елозить,
реветь
Да лапу сосать до крови!
С лохмотьев белёсых
струи бегут,
Стекаются в лужи...
И только глазами следит:
убьют,
Или ещё нужен?

(1943)

Если даже и нечем,
Все равно ты вспомни меня
В этот вечер,
Зимний вечер
Под шелест огня...
И спрошу я как можно тише,
Но ни слова не утаю:
«Ты меня по-прежнему слышишь?
Или только
Память мою?».

(1942–1943)

Сегодня в деле наша рота.
И мы опять ползли болотом,
И снова я стрелял в кого-то,
Рыл щели до седьмого пота,
Перебегал в другие щели,
Тащил трубу от миномета,
Потом опять стрелял в кого-то,
Почти не видя и не целя...
Нам нужен холм за этой рощей,
Войной обглоданной и тощей!

Нам нужен холм за этим полем —
Сегодня в ночь он был паролем,
А отзывом была речушка —
По ней с холма достанет пушка
(достанет, если не устанет
гудеть чугунными устами).
Нам нужно до холма пробиться —
С холма уже видна граница...
И, по законам всех стратегий,
За ней опять холмы и реки,
Поля далекие (не наши —
Мы их не любим и не пашем),
Деревни, города, столицы
(в них нам ни греться, ни гнездиться!).
И автострады, и дороги...
По ним прошёл он — многоногий,
Он — многоствольный, многокрылый,
И многорукий, и кровавый,
И многоликий, многорылый,
Он — натворивший всё, что было...

Нам нужен холм за этим полем.
Сегодня в ночь он был паролем!

(1945)

Над полями поляцкими «мажец»
(«март» по-нашему, по-простому),
Он грязищу свою размажет
От Неметчины аж до дому!
Он от зимней спячки излечит,
Буйной зеленью опьянит,
И мечтой о великой встрече
Будет каждый день именит!

(1945, Польша)

Чужие посёлки
По-пруссацки,
За рядом ряд,
Нахлобучив крыш треуголки,
По команде «смирно»
Стоят.
Земля чужая...
Небо сизое круглый год...
Нашей радости не узнает,
Горя нашего
Не поймёт!
Всё, что есть родного на свете,
Чем ещё дорожишь —
Это нашей Балтики ветер
В чешуе черепичных крыш,
Это волны Балтики нашей,
Шелестящие под дождём.
Что-то нового нам расскажут?
Подождём ещё, подождём...

(1945, Германия)

На рассвете

Смешная девочка в солдатских сапогах
(Шинель. Ремень. Две молнии в петличках.),
Как все бойцы, по фронтовой привычке,
Лежит и спит на брошенных снопах,
Раскинув в стороны косички,
А под щекой пилотка и рука
И по длине подвёрнутый рукав...
Она верна прифронтовой привычке,
Сейчас она простая костромичка,
И так она от фронта далека!
Совсем забыла, как звенели пули,
Когда с подругой на НП тянули
В который раз налаженную связь,
А связь опять терялась и рвалась...
Совсем забыла, как вчера устала
И как опять женой комбата стала...
Совсем забыла, что ей завтра в бой,
И счастлива побыть сама собой!
Бок о бок с ней её подружки спали,
Но им, бедняжкам, снились пули,
Разрывы, взрывы, дым развалин
И связь они во сне тянули...
А ей бы спать и спать, не просыпаясь сутки,
Но полчаса осталось до пробудки...
...Совсем недавно школьницу я встретил.
Передник. Платье. Две косички.
Портфель и книжки в девичьих руках.
Совсем как та,
 другая, на рассвете,
Совсем как девочка в солдатских сапогах!

АСПИРАНТУРА

Мне везло в жизни. Я даже хотел как-то писать воспоминания «История везения». В предвоенные годы я был знаком со многими людьми, которые позже были арестованы, но я не попал в их число. Был случай, когда я был на дне рождения у одного приятеля. Кто-то там позволил себе что-то сказать о советской власти. Нашелся, конечно, стукач, и всех посадили, кроме меня. Дело в том, что я пришел на день рождения очень усталый и скоро лег спать на диване. А потом, когда всех допрашивали, то все говорили обо мне, что я спал и не участвовал ни в каких разговорах.

Во время войны мне тоже повезло: я выжил. После войны я вернулся в Ленинград. Врач, осмотрев меня, спросил: «Сколько же Вам лет?». Я ответил: «Двадцать шесть». Он тогда мне заметил: «У Вас сердце старого человека». Я думал, что мне отпущено немного, лет десять-пятнадцать, поэтому я старался сделать как можно больше. И как мне кажется, то, что я делал, не было халтурой. У меня есть работы, которыми можно гордиться. Это книги о Федосовой, о социально-утопических легендах.

По окончании войны в 1946 г. я вернулся в университет на пятый курс. Мне надо было закончить учебу, получить диплом, потом я думал поступать в аспирантуру. Студенты в те годы были двух категорий: те, кто прямо со школы (они нам тогда казались мальчиками и девочками), и мы, те, кто отвоевал четыре года. На войне люди очень быстро выросли: через два-три месяца боев уже становились взрослыми. Вот таким взрослым человеком я и сел опять на студенческую скамью. Но учиться на пятом курсе мне не пришлось.

Со мной на одном курсе был мой друг Моисей Михайлович Гин¹. Потом мы вместе с ним в Петрозаводске работали, он туда поехал вслед за нами. Как-то раз в 1946 г. он занимался в Публичной библиотеке и на выставке новых поступлений наткнулся на брошюру указов и распоряжений правительства, связанных с

¹ См.: *Чистов К.В.* Человек, педагог, ученый (К 75-летию М.М. Гина) // Петрозаводский университет. 1994. 18 июня.

высшей школой. Там он обнаружил указ, по которому студенты-фронтовики, которые не успели до войны сдать госэкзамены за пятый курс, получали право без сдачи госэкзаменов получить диплом. Он все это вычитал, записал, но решил шума не поднимать, а подать в деканат соответствующее заявление.

Было это в ноябре 1946 г... Мы в это время ходили на лекции. Смотрим, что-то один день Гин не приходит на занятия, второй. Потом, наконец, он пришел. Спрашиваем: «Ты почему не ходишь на занятия? Болен, что ли?» — «Да нет, здоров». — «Что же ты бросил учиться?». Мы относились к учебе серьезно, тогда, после войны почему-то особенно хотелось вгрызаться в книги. Он говорит: «Не бросил, но, может быть, кончил». — «Что значит кончил?» — «Ну, хорошо, ребята. Завтра после лекции пойдемте со мной». — «Куда?» — «Увидите, куда». Он любил всякие мистификации устраивать.

На следующий день после лекций несколько человек, из тех, кто прошел войну, вместе с Гином пошли в приемную ректора. Помню, что был с нами Юра Левин — Юрий Давыдович Левин². Зашли мы в приемную, где сидит секретарша. Увидев М.М. Гина, она прямо вспорхнула из-за стола и говорит: «Моисей Михайлович, разрешите Вас поздравить с окончанием университета». Мы были очень удивлены и ничего не понимали. Секретарша говорит: «Сейчас я доложу о Вас Александру Алексеевичу». Ректором в то время был Александр Алексеевич Вознесенский³, брат председателя Госплана, который позднее был арестован в связи «ленинградским делом» и погиб в сталинских застенках. Вознесенский выходит и объявляет: «Я рад, что могу выдать первый диплом боевому офицеру». А затем обращается к нам: «А вы, ребята, что здесь делаете?». Мы отвечаем: «Мы тоже фронтовики, до войны не успели окончить пятый курс». Тогда А.А. Вознесенский говорит секретарю: «Дайте им по листу бумаги. Пишите заявления. Только не обижайтесь, я, конечно, наведу справки на факультете, что там, как у Вас было». Мы написали заявления, а потом, помню, специально разменяли деньги, набрали двухкопеечные монеты для телефона и стали названивать своим товарищам — тем, у кого дома был телефон, — чтобы сообщить им, что они тоже могут воспользоваться такой возможностью.

² Юрий Давыдович Левин (1920–2006) — известный филолог, специалист по русско-английским литературным связям. С первых месяцев войны добровольцем ушел на фронт. В 1947 г. закончил английское отделение Ленинградского государственного университета. С 1956 г. работал в Пушкинском Доме.

³ Александр Алексеевич Вознесенский был ректором Ленинградского государственного университета в 1941–1948 гг.

Так я получил диплом, практически не учась на пятом курсе. Кадровики, видя мой диплом, всегда удивлялись. Обычно ведь в дипломах пишут: «По постановлению Государственной экзаменационной комиссии присваивается специальность филолог-русист». А у нас было написано: «По указу Верховного Совета присваивается...».

Тогда, в 1946 г., А.А. Вознесенский сделал еще одну очень хорошую вещь. Он сказал: «Раз дело складывается так, что вы раньше времени получаете диплом, то мы устроим прием в аспирантуру не осенью, а в феврале 1947 г., и с ноября по февраль за вами останутся студенческие стипендии. Садитесь и готовьтесь к экзаменам в аспирантуру». Он был очень дельным ректором: строгим, но справедливым. Его в университете любили. Он был немного строгим феодалом, но феодалом, который считал, что его феодал должен быть самым лучшим. Поэтому он вытаскивал после войны в университет из разных городов, где осели эвакуированные, самых сильных преподавателей.

Что значит сдать экзамены в аспирантуру? Это значит нужно знать больше, чем обычный студент, но меньше, чем сам профессор. Готовиться к аспирантскому экзамену было трудно, потому что после четырех лет войны многое было забыто. Но был я тогда молодым, память — хорошей. Помню, беру одну книжку, другую... Странно, вроде помню, припоминаю содержание. Память молодая была, цепкая.

Экзамен мне надо было сдавать по фольклору. Тогда на филологическом факультете была отдельная кафедра фольклора. А сам экзамен проходил следующим образом. Заведовал аспирантурой известный литературовед, член-корреспондент Академии наук Павел Наумович Берков⁴. Человеком он был строгим, даже суровым, и необычайной, я бы сказал патологической памяти. Очень любил спрашивать, в каком году вышла та или иная книга, имя отчество автора, какие были самые главные отзывы и рецензии и т.д. Поэтому все очень боялись его экзаменов.

Меня должны были экзаменовать Марк Константинович Азадовский, Владимир Яковлевич Пропп и сам Павел Наумович Берков. Дали мне вопросы. Марк Константинович говорит: «Кирилл, Вы, наверное, будете отвечать без подготовки?» — «Черт, — думаю, — без подготовки! Четыре года воевал. Много забыл». Но

⁴ Павел Наумович Берков (1896–1969) — выдающийся филолог, специалист по русской литературе XVIII в., чл.-корр. АН СССР (1960), профессор Ленинградского государственного университета (1934), научный сотрудник, заведующий Группой по изучению литературы XVIII в. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

деваться некуда — Марк Константинович на меня надеется. Только я начал отвечать, приоткрывается дверь и входит Дмитрий Миронович Молдавский (потом он стал известным журналистом и писателем, к сожалению, рано скончался). Павел Наумович спрашивает: «Дмитрий Миронович, Вы ко мне? Если что-то срочное, то давайте присаживайтесь ко мне за другой столик, пока здесь идет экзамен». А Молдавский играл роль «подсадной утки»! Сели они в сторонку, и Молдавский говорит-говорит что-то Павлу Наумовичу, а сам все прислушивается: закончил я отвечать или нет. В конце концов, Пропп и Азадовский поняли, что Молдавский специально отвлекает Павла Наумовича. Между тем я продолжаю отвечать. Потом Пропп и Азадовский говорят: «Все в порядке». Подходит Павел Наумович и спрашивает: «Ну, как он отвечал?» — «Все три вопроса на пять». — «Получается, что я не участвовал в экзамене. Задам-ка я какой-нибудь вопрос. Чем Вы занимаетесь?» — обращается он ко мне. Я говорю: «Мы с Марком Константиновичем договорились, что если я поступлю в аспирантуру, то буду заниматься причитаниями вопленицы Ирины Федосовой». — «А кто записывал от нее причитания, когда и где публиковались?» — задает он мне сразу же библиографический вопрос. Я говорю: «Записывал Ельпидифор Васильевич Барсов, преподаватель Олонецкой духовной семинарии. Первый том вышел в 1872 г., второй — 1882, а третий — 1885 г.» Тут Берков и восклицает: «Вот и неправильно! Третьего тома не было». — «Павел Наумович, он есть, я его только что читал». А Марк Константинович приходит ко мне на помощь: «Паша, зайдешь ко мне, я тебе его покажу».

Дело в том, что третий том «Причитаний Северного края» Е.В. Барсова не печатался отдельным изданием. Там была такая история. Общество любителей российской словесности выделило Е.В. Барсову деньги на издание причитаний. Он издал первый том, очень много книг раздал бесплатно. Еле-еле наскреб деньги на второй том, а на третий том средств уже не хватило. К тому времени Е.В. Барсов перебрался из Петрозаводска в Москву, в Румянцевскую библиотеку, и стал членом Общества истории и древности российских и секретарем издававшегося Обществом журнала «Чтения в Обществе истории и древностей российских». В двух номерах журнала Барсов и издал материалы третьего тома⁵. Но отдельно том не выходил. Барсову очень хотелось в 1890-х го-

⁵ См.: Причитанья Северного края, собранные Е.В. Барсовым. Ч. 3: Плачи свадебные, заручные, гостибные, баенные и предвечечные // Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. 1885. Кн. 3. С. 1–160 (2-я пагинация); Кн. 4. С. 161–256 (2-я пагинация).

дах, когда Ирина Федосова стала выступать со своими причитаниями перед публикой, издать этот том отдельно, но по каким-то причинам это ему не удалось сделать. А о журнальной публикации Павел Наумович и не знал. У него, как я уже говорил, была великолепная память, но он, по всей видимости, пользовался знаменитой Венгеровской картотекой⁶. С.А. Венгеров же расписывал только книги, журнальные статьи он не учитывал, потому и нет у него указания на этот третий том.

И многие фольклористы, кстати, не знали об издании третьего тома. Например, Василий Григорьевич Базанов, который какое-то время работал в Карелии, во время войны был в эвакуации в Сыктывкаре и специально записывал причитания на Печоре. Он не знал об этой журнальной барсовской публикации, хотя несколько раз писал о причитаниях. Его ученица Ольга Борисовна Алексеева только тогда, когда вышла моя первая монография о Федосовой, узнала, что был третий том ее причитаний. Да и у А.Н. Пыпина в «Истории русской этнографии» тоже названы только два тома.

Так что на моем экзамене в аспирантуру Павел Наумович должен был сказать: «Ну, коли был третий том Барсова, тогда я сдаюсь».

⁶ Библиографическая картотека С.А. Венгерова хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

ПЕТРОЗАВОДСК

В Петрозаводске я проработал с осени 1947 по 1961 гг. Этот город сыграл большую роль в моей жизни. В Карелии я бывал еще до войны — ездил туда в экспедиции — и поэтому в Петрозаводском институте меня знали. Когда в 1947 г. я поступил в аспирантуру, то довольно скоро получил письмо от В.И. Машезерского¹, который в то время как раз формировал состав института. Он предлагал мне стать аспирантом от Петрозаводского института. Предполагалось, что они возьмут на себя оплату стипендии с тем, чтобы по окончании аспирантуры я непременно приехал к ним работать. Я посоветовался с Марком Константиновичем, и он мне тогда сказал: «Давайте подождем, потому что впереди три года, посмотрим, какая будет ситуация. Мне хочется, чтобы Вы остались на кафедре нашего, Ленинградского, университета».

Однако вскоре стала нагнетаться кампания борьбы с космополитизмом и «низкопоклонством» перед Западом. Кампания эта ударила и по Марку Константиновичу. Потом он говорил, что его в конце 1940-х годов просто вычеркнули из науки. Одно время Главлит запретил цензорам упоминать фамилию Азадовского. Было неудобно и стыдно: смотришь — его идея, а ссылки на него нет.

У Марка Константиновича нашли несколько, так сказать, «провинностей». В свое время он сделал открытие — по автографам Пушкина он установил, что тот отталкивался от Гриммов. У него были еще довоенные статьи, связанные с пушкинскими сказками. Когда он работал над ними, то заглянул в рукописи поэта и

¹ Виктор Иванович Машезерский (1902–1977) — историк, специалист по истории становления советской власти в Карелии. В 1937–1941 являлся директором Карельского научно-исследовательского института культуры. В 1945 г., когда была создана Карело-Финская научно-исследовательская база АН СССР (в 1949 г. переименована в Карело-Финский филиал АН СССР; в 1956 г. — Карельский филиал АН СССР), участвовал в организации Института языка, литературы и истории. В 1945–1949 гг. директором Института был В.Д. Бубрих; в 1950–1965 гг. — В.И. Машезерский.

увидел, что там имеются следы знакомства с немецкими сказками братьев Гримм. У Гриммов в «Сказке о рыбаке и рыбке» старуха в своем последнем желании хочет стать Римским Папою. У Пушкина в черновиках это желание сохраняется, но в окончательном варианте он заменил его на другое — стать «владычицей морской». Пушкин совершил чудо: взял немецкую сказку братьев Гримм и превратил ее в русскую. Пушкинская сказка — русская по своей сути, по своему аромату, по своей стилистике². Но с началом борьбы с космополитизмом Азадовского за это стали ругать: писали, что он не признает гения Пушкина, что якобы он утверждает, что Пушкин просто переписал гриммовскую сказку и т.д.

Ругали и за другое. В 1920-е годы в Иркутске Марк Константинович был редактором журнала «Сибирская живая старина». Тогда отношение к настроениям крестьянства было еще очень реалистическим. Задача была — выяснить настроения народа, как они отражаются в фольклорном материале. Там публиковались, например, частушки — и проколхозные, и антиколхозные. Конечно, тот, кто ругал Марка Константиновича, о тех частушках, что были за колхозы, забыл, а говорил, что Азадовский публиковал контрреволюционные, антиколхозные частушки.

Была в Пушкинском Доме такая сотрудница — Пелагея Григорьевна Ширияева³, малопрятный человек. Она как-то раз в отсутствие Марка Константиновича залезла в его письменный стол и нашла там письма Юлиана Григорьевича Оксмана, известного литературоведа, специалиста по декабристам и Пушкину. Он был в 1930-е годы арестован и сидел в Сибири⁴.

В общем, обстановка в 1947 г. в Ленинграде становилась напряженной. В 1949 г. должно было отмечаться столетие первого полного издания «Калевалы». За два года до празднования в Петро-

² См.: *Азадовский М.К.* Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 1. С. 134–163. Переиздано: *Азадовский М.К.* Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л., 1938. С. 65–105.

³ Пелагея Григорьевна Ширияева (1903–1986) — фольклорист; в 1939 — 1959 гг. сотрудник Сектора фольклора Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

⁴ Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970) — выдающийся филолог, специалист по творчеству А.С. Пушкина и его эпохи. В 1933–1936 гг. работал в Пушкинском Доме, был помощником (заместителем) директора. В конце 1936 г. был арестован, срок отбывал на Колыме. В 1947–1957 гг. — профессор Саратовского университета. Переписка М.К. Азадовского и Ю.Г. Оксмана опубликована: *Азадовский М.К., Оксман Ю.Г.* Переписка. 1944–1954 / Изд. подготовил К.М. Азадовский. М., 1998.

заводске состоялось предварительное совещание, на которое пригласили В.М. Жирмунского, В.Я. Проппа и М.К. Азадовского. Тогда встал вопрос о петрозаводском фольклорном секторе, который был слабоват: был нужен какой-то организатор, который мог бы взяться за подготовку к празднованию «Калевалы». Кого рекомендовать? Их выбор пал на меня. Петрозаводское руководство знало меня по довоенным экспедициям и согласилось. М.К. Азадовский тогда вернулся из Петрозаводска и рассказал мне об этом предложении. Он привез с собой и официальное письмо-приглашение.

А в это время уже началась компания борьбы с космополитизмом. Азадовского объявили «космополитом», ругали и Жирмунского, и Проппа. Марк Константинович мне тогда и сказал: «Раньше я Вас отговаривал от переезда в Петрозаводск, а сейчас скажу: поезжайте туда, потому что Карелия — страна фольклорная, мои ученики там и до войны работали, и Вы ездили туда в экспедиции. По-моему, там хорошее начальство, поезжайте».

И я решил тогда, в 1947 г., уехать из Ленинграда в Карелию. Написал, что готов приехать, благодарил за приглашение, но подчеркивал, что мне нужна квартира, потому что у меня жена, маленький ребенок и книжки. Мне ответили: квартира вам будет, как раз строится дом. Приехали. Квартиру нам дали на улице Пробной. Улица называлась так, потому что там некогда находился артиллерийский завод и существовала просека, вдоль которой «пробовали» — стреляли из новеньких пушек.

Я договорился с дирекцией Института, что меня будут на три месяца в году отпускать в Москву или Ленинград для работы в библиотеках. Обычно я брал не три месяца подряд, а разбивал этот срок на три поездки. Хотелось маму чаще видеть. Она осталась в Ленинграде, а потом, когда ей стало нездоровиться, мы ее перевезли в Петрозаводск. Там она и скончалась. Могилы моих родителей в разных городах: отец похоронен в Баку, а мать в Петрозаводске.

В 1949 г., когда отмечали юбилей «Калевалы», карельскому правительству очень хотелось, чтобы это был международное мероприятие. Но с Финляндией отношения были нелучшие, пригласить финских ученых мы не могли. А из Эстонии и других советских республик на празднества приехали делегации. Привезли, кстати, и разных исполнителей фольклора. Было очень интересно.

И прикатила Мариэтта Шагинян⁵. Она очень любила ездить по всяким праздникам и юбилеям. Перед юбилеем Шагинян по-

⁵ Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) — поэт, прозаик, публицист. Входила в когорту писателей, обласканных властью.

бывала в Ведлозере и напечатала в газете «Правда» статью на два «подвала» о том, как расцветает в Карелии культура. В Ведлозере директором школы был Руханен⁶, кандидат филологических наук. Вот она и решила, что культура в Карелии расцветает, коли даже в школах директора — кандидаты наук. Хохот по этому поводу стоял во всей Карелии. Дело в том, что Руханен жил в Ведлозере фактически на положении ссыльного. Он был финном, арестовали его перед войной, после войны освободили, но с запретом жить в городах. Руханен был хорошим литератором, образованным человеком (закончил финское отделение пединститута). Когда я узнал о его освобождении, пошел в ЦК Карелии и попросил, чтобы Руханену разрешили работать в нашем Институте. Но секретарь ЦК раскричался: «Что? Вы хотите, чтобы у вас работал сотрудник, которого мы к ЦК на 20 метров не подпустим!». — «Да что он вам может сделать?» — «Да разве вы не знаете, что он сидел?» — «Ну, сидел — так ведь уже свое отсидел». — «Нет, мы его не возьмем». Так Руханену и пришлось ехать в Ведлозеро. Так он, кандидат наук, стал в карельской деревне директором школы.

Уже в самом конце юбилейных торжеств Шагинян мне говорит: «Кирилл Васильевич, мне надо переговорить с товарищем Сюкияйненом». А Сюкияйнен — это заместитель председателя карельского Совета министров. Он был заместителем председателя юбилейной Комиссии (председателем был О.В. Куусинен, секретарем — я). «Зачем?» — спрашиваю я. — «Я хочу поговорить с ним, как мне возвращаться из Карелии». — «А какие проблемы? Мы же всех гостей обеспечиваем билетами». — «Нет, Вы не понимаете, устройте мне встречу, я сама ему все расскажу». Взбалмошная была старуха.

Я позвонил Сюкияйнену, тот согласился принять ее. Мы пришли к Сюкияйнену. Она говорит: «Вы знаете, мне советовали возвращаться не поездом, а проехать на север, а затем по северному берегу обогнуть Ладожское озеро». А юбилей проходил в феврале. Снегу полно, дороги в Карелии все замело. Сюкияйнен гово-

⁶ Урхо Нестерович Руханен (1907–2001) — литературовед, переводчик. Закончил аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена, в котором с 1931 г. преподавал финскую литературу на отделении национальных меньшинств. С декабря 1933 г. работал в Карельском пединституте, был заместителем редактора журнала «Ринтама». Автор учебников и хрестоматий для финских школ. После запрещения преподавания на финском языке в школах и учебных заведениях уехал в Ленинград, где в 1938 г. был арестован. Освободился в 1946 г. С 1947 г. работал в средней школе села Ведлозеро. В 1961 г. переехал в Петрозаводск, где работал редактором финской редакции издательства «Прогресс».

рит: «Нет, Мариэтта Сергеевна, ничего не выйдет. Я перед юбилеем ездил в Олонец. По дороге столько снега, что пред моей машиной трактор с треугольником шел, чтобы расчистить дорогу». — «Ой, — заявляет Шагинян, — дайте мне трактор с треугольником». Она не понимает, что все это организовать трудно. Ведь все это было сразу после войны: машин, тракторов не хватало. Сюкияйнен рассердился: «Знаете что, покупайте сегодня билет, а то я отдам распоряжение, тогда Вам и на железной дороге билет не продадут». Мы вышли от Сюкияненна, Шагинян меня спрашивает: «А почему он со мной так разговаривал?». Ничего не понимала, жила как на другой планете.

Однако вернусь к самому началу моей жизни в Карелии. В Петрозаводске действительно поначалу было спокойнее, чем в Ленинграде. Мне тогда было 27–28 лет, я начал заведовать, а по сути дела, формировать отдел фольклора. Но вскоре у меня случился очень неприятный и вместе с тем анекдотический казус. Было созвано собрание городской интеллигенции — писатели, художники, преподаватели вузов. (В Петрозаводске тогда было два вуза: учительский институт и университет.) Везде в стране идет «разоблачение» космополитов, надо, следовательно, и у нас, в Карелии, их «разоблачить». Среди карельских «космополитов» оказался мой близкий друг Елеазар Моисеевич Мелетинский⁷. Обвинили его в том, что он ругал роман Фадеева «Молодая гвардия».

⁷ Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918–2005) — выдающийся фольклорист, литературовед. Во время Великой Отечественной войны Е.М. Мелетинский воевал, оказался в окружении, после чего был арестован, но через девять месяцев освобожден как тяжело больной, «по активровке». В конце войны он оказался в Ташкенте, где тогда находились В.М. Жирмунский и В.Ф. Шишмарев. В 1945 г. ученый защитил кандидатскую диссертацию «Романтический период в творчестве Ибсена». С 1946 по 1949 гг. являлся заведующим кафедрой в Карело-Финском университете. В 1949 г. Е.М. Мелетинский был повторно арестован, приговорен к 10 годам заключения, освобожден в 1954 г. С 1956 по 1994 гг. работал в Институте мировой литературы РАН. См. его воспоминания: *Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания*. М., 1998. С. 429–572; а также труды: *Герой волшебной сказки*. М., 1958; *Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические памятники*. М., 1963; *«Эдда» и ранние формы эпоса*. М., 1968; *Поэтика мифа*. М., 1976; *Палеоазиатский мифологический эпос: Цикл Ворона*. М., 1979; *Средневековый роман: Происхождение и классические формы*. М., 1983; *Введение в историческую поэтику эпоса и романа*. М., 1986; *Историческая поэтика новеллы*. М., 1990; *О литературных архетипах*. М., 1994 и др.

На собрании выступил Василий Григорьевич Базанов⁸. До войны он работал в Петрозаводске, потом был в докторантуре Пушкинского Дома. Он почему-то считал, что мы с Мелетинским опасные конкуренты для его научной карьеры. Он заявил, что Е.М. Мелетинский в своих лекциях мало подчеркивает влияние русской литературы на литературу других стран. А это уже «космополитизм». Про меня он сказал, что я пишу такие статьи, какие раньше писали в «Олонецких губернских ведомостях». И закончил так: «В Ленинграде разгромили космополитов, здесь мы тоже разгромим космополитов».

После описанного городского собрания интеллигенции я пришел к выводу, что мне следует уходить из института. В Петрозаводске в это время жила Ермиония Иосифовна Беляковская⁹, которая много лет работала в Ленинграде в Публичной библиотеке. Она была очень хороший библиограф. К тому времени она уже вышла на пенсию и переехала к своей дочери в Петрозаводск. Но здесь она также продолжала работать в библиотеке — заведовала отделом краеведческой литературы. И когда она узнала, какие у меня дела, то предложила: «Переходите к нам. У нас есть как раз ставка библиографа. Будете библиографом в краеведческом отделе. Дело это Вам не чужое, литературу, связанную с Карелией, Вы в значительной мере знаете». И я решил переходить. Думаю: ну их к черту, буду заниматься библиографией, найду себе занятие. Тогда меня вызвал к себе ученый секретарь Карельского филиала Академии наук, который до войны был директором Карельского научно-исследовательского института культуры и знал меня со студенческих лет, и сказал: «Кирилл Васильевич, я слышал, что у Вас замысел какой-то есть уходить от нас? Не делайте этого. Я договорился с секретарем парторганизации — будет открытое партсобрание. Мы обратились уже к Владимиру Яковлевичу Проппу; он согласился приехать и рассказать открытому партийному собранию — космополит Вы или нет».

⁸ Василий Григорьевич Базанов (1911–1981) — фольклорист, литературовед, чл.-корр. АН СССР (1962). В 1955–1960, 1963–1965 гг. — заместитель директора Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, в 1965–1975 гг. — его директор. В 1948–1951 гг. — заведующий отделом литературы Карело-Финского филиала АН СССР.

⁹ Ермиония Иосифовна Беляковская (1886–1971) — библиограф; с 1932 по 1942 гг. работала в Публичной библиотеке в Ленинграде. С 1945 по 1947 гг. была главным библиотекарем Государственной публичной библиотеки Карело-Финской ССР. После перерыва, вызванного отъездом в Салехард, с октября 1948 г. по 31 декабря 1956 г. являлась главным библиографом кабинета краеведения в этой же библиотеке.

Владимир Яковлевич действительно приехал в Петрозаводск — только ради этого собрания приехал. Мы с Беллой встретили его на вокзале и пригласили к себе. Но из осторожности он тогда сказал: «Знаете что, раз я приехал сюда по такому поводу, я лучше поживу у Ирины Петровны Лупановой¹⁰. Потому что если я буду жить у Вас, то это будет выглядеть так, что я защищаю Вас по знакомству». Владимир Яковлевич, конечно, разъяснил партсобранию, что я никаким образом космополитом быть не могу, потому что занимаюсь только русским фольклором и этнографией. Так я остался в институте.

В Петрозаводске я очень сдружился с Елеазаром Моисеевичем Мелетинским. Началось все так. По приезде в Петрозаводск квартиру нам пришлось немножко подождать: дом, когда мы приехали, еще доделывали. Поэтому мы прожили недели две у Мелетинских. Елеазар Моисеевич в это время заведовал кафедрой литературы в Петрозаводском университете. Вот оттуда наша дружба и началась.

Правда, был у нашей дружбы перерыв: Елеазара Моисеевича в Карелии арестовали и посадили на шесть лет. Местному КГБ¹¹ почему-то очень хотелось сконструировать антисоветский еврейско-финский заговор. Я для заговора им не понадобился, а Елеазар Моисеевич подходил.

Таскали меня и Беллу на допросы, неприятно, конечно, было. В Петрозаводске есть улица Урицкого, которая поднимается на гору. Однажды я шел мимо кинотеатра «Сампо», стоит какая-то машина. Ну, стоит и стоит. Иду мимо нее. Вдруг двери открываются, выходит крупный мужчина, подходит ко мне, говорит: «Кирилл Васильевич Чистов?» — «Да». Показывает мне удостоверение КГБ: «Садитесь». Я решил, что я арестован, прямо на улице, почему-то не дома — обыска у нас никакого не было. Весь день меня допрашивали и потом только в конце сказали, что меня отпускают домой, потому что вызывали как свидетеля.

Потом еще несколько раз меня вызывали в КГБ. Хотели вынудить дать показания против Е.М. Мелетинского, причем очень

¹⁰ Ирина Петровна Лупанова (1922–2003) — фольклорист, профессор Петрозаводского государственного университета, заведующая кафедрой литературы. Ученица М.К. Азадовского и В.Я. Проппа.

¹¹ Печально известная структура, отвечавшая за государственную безопасность в СССР, наследница ВЧК (Всесоюзная чрезвычайная комиссия) и НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), с 1946 г. называлась Министерством государственной безопасности (МГБ), а с 1954 г. — Комитетом государственной безопасности (КГБ). К.В. Чистов вне зависимости от времени событий, о которых он рассказывает, называет это учреждение КГБ.

примитивно провоцируя. Дело в том, что когда я переехал в Петрозаводск, то договорился с местным начальством, что каждый год мне будут давать не менее трех месяцев для работы в библиотеках Москвы и Ленинграда. Так что в течение года я несколько раз на месяц и более уезжал из Петрозаводска. И вот на допросе мне сообщают, что во время моего отсутствия у Беллы якобы завязался роман с Мелетинским. Все это говорилось для того, чтобы я приревновал и стал бы «клепать» на него.

У Беллы были занятия в университете на дневном и вечернем отделениях. Мелетинский жил рядом с университетом, в служебном доме. Она иногда туда заходила. Елеазар Моисеевич провожал ее, потому что на весь Петрозаводск был тогда один-единственный автобусный маршрут. Автобуса надо было очень долго ждать. И мы, как правило, автобуса не ждали, шли пешком — молодые были, нас это не смущало. И Елеазар Моисеевич действительно частенько провожал Беллу до дома.

В КГБ во время допросов мне и говорят, что такого-то числа я был в командировке в Москве или Ленинграде, а Мелетинский после лекций провожал мою жену и даже в дом вошел. Говорилось это, чтобы меня спровоцировать.

Беллу тоже вызывали в КГБ. И тоже пытались подловить на ее якобы романтических отношениях с Мелетинским. Думали, что она испугается и, чтобы что-то не дошло до меня, согласится дать показания на Мелетинского. Белла в КГБ ответила: «Действительно, он меня провожал не один раз, потому что в городе темно. Но у нас ничего не было и не могло быть — мы друзья». Между прочим, спрашивали ее и о критике Мелетинским романа Фадеева «Молодая гвардия». Она сказала: «Но ведь критика романа печаталась в “Правде”. Мы просто обсуждали то, что было написано в газете». И это правда. В газете «Правде» была опубликована отрицательная рецензия, в которой Фадеева обвиняли в том, что он не отразил роли партии в организации подполья. В романе действуют мальчики и девочки, но нет никакого партийного руководителя. И Фадеев после этой статьи, как известно, переписывал и дорабатывал роман¹².

Жена Мелетинского во время этих допросов жила у нас. А ей в КГБ подсунули следующее. При кафедре, которой ведал Елеазар Моисеевич, работала лаборанткой одна женщина. Вместе они

¹² Роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия» был опубликован в 1945 г. в журнале «Знамя» (№ 2–12). Критический отзыв, о котором идет речь, — редакционная статья газеты «Правда» (1947, 3 дек.). В 1951 г., реагируя на критику, писатель создал вторую редакцию романа, где явственнее показана роль партии в руководстве молодогвардейцами.

ездили как-то на Валаам, потому что там нашлись остатки библиотеки монастыря. Надо было отобрать книги для университетской библиотеки, оценить, какая там мебель и т.д. Эта лаборантка действительно влюбилась в Мелетинского. Он ведь был человек талантливый, яркий. Она написала ему любовное письмо. Мелетинский прочитал это письмо, разорвал и бросил в мусорную корзину. Но нашлись, по-видимому, стукачи, которые собрали разорванные куски, в КГБ их склеили и предъявили жене Мелетинского: вот, мол, вы его выгораживаете, а он изменяет вам. Тоже думали поймать на романтических мотивах. Жена Мелетинского заявила: «Да, я знаю, что между ними был роман. Мы с мужем всегда рассказываем друг другу о своих приключениях». Хотя, конечно, эта история ее поразила.

В результате был судебный процесс, и Мелетинский получил 10 лет. Сидел он где-то в лагере на границе Вологодской и Архангельской областей. Сначала был на лесоповале, а потом его взяли куда-то бухгалтером. В заключении было запрещено получать книги. И Мелетинский был лишен возможности какого-либо гуманитарного чтения. Однажды ему попались книги по высшей математике, и он начал заниматься этой наукой: ему интересно было. Потом — смерть Сталина, дела пересматривали, и списали ему оставшиеся года заключения. Много позднее была реабилитация. Вот такая история.

Еще до своего ареста Мелетинский подготовил к защите докторскую диссертацию. Предполагалось, что оппонентами на защите будут Токарев¹³, Чебоксаров¹⁴ и кто-то третий из Института мировой литературы. Накануне ареста он успел разослать копии диссертации своим оппонентам. Затем арест, и все на несколько лет отложилось. Когда Мелетинского освободили, то он пошел к Токареву по старому знакомству — просто чтобы отметить, что, мол, вернулся. Пришел он тогда к квартире Токарева, нажал на кнопку звонка, дверь открылась. Как только Токарев его увидел,

¹³ Сергей Александрович Токарев (1899–1985) — этнограф, специалист в области ранних форм религии. См. труды: Очерк истории якутского народа. М., 1940; Общественный строй якутов XVII–XVIII в. Якутск, 1945; Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX в. М.; Л., 1957; Религия в истории народов мира. М., 1964; Ранние формы религии в их развитии. М., 1964; История русской этнографии (Дооктябрьский период). М., 1966; История зарубежной этнографии. М., 1978 и др.

¹⁴ Николай Николаевич Чебоксаров (1907–1980) — этнограф, антрополог, специалист по народам Азии. См. труды: Народы, расы, культуры. М., 1971 (в соавт. с И.А. Чебоксаровой); Типы традиционного жилища народов Юго-Восточной и Центральной Азии. М., 1979 и др.

то пожал быстро руку и убежал куда-то. Прибегает с рукописью диссертации Мелетинского, но без титульного листа. Оказывается, Токарев, когда Мелетинского арестовали, сохранил его работу, но уничтожил титульный лист — чтобы имени его на рукописи не было. И когда Мелетинский вернулся, то Токарев был очень обрадован, сказал, что работа ему очень понравилась и что он готов быть его оппонентом.

В то время из фольклористов членом Комиссии по рассмотрению диссертаций был Николай Иванович Кравцов¹⁵. Это был «надутый» человек. Так всегда происходит, когда человек думает о себе, что он стоит больше, чем есть на самом деле. Нормальный человек всегда критически относится к своим заслугам. Кравцов долгое время работал в разных провинциальных городах: Воронеже, Калуге и других. Ему тогда казалось, что все занимают его место: он должен преподавать в Московском университете, а работает в провинциальном Воронеже. В конце концов, Н.И. Кравцов был замечен начальством, его ввели в Комиссию по рассмотрению кандидатских и докторских диссертаций Министерства народного образования. Вот тут-то ему и захотелось показать себя: с этой диссертацией он не согласен, та мысль ошибочна, поэтому это надо провалить, то надо не допустить. И вот что случилось с диссертацией Мелетинского.

Однажды Эрна Васильевна Померанцева и кто-то еще из москвичей мне говорят: «Мы все переругались с Кравцовым, не можем с ним разговаривать. Поговорите Вы с ним, что он там творит с защитами диссертаций. Не пропускает Мелетинского». Я встретился с Кравцовым, причем встреча была обставлена так. Я приехал в Москву и остановился, как всегда, у брата на Октябрьской площади. Оттуда позвонил Кравцову, сказал, что очень хотелось бы с ним увидеться, чтобы переговорить о важном деле. А ему, по-видимому, не хотелось со мной встречаться: он подозревал, что разговор выйдет неприятный. К себе он меня не пригласил. Мы встречались с ним в маленьком садике. Когда я стал ему говорить, мол, что же он срывает защиту Мелетинского, он мне в ответ: «А знаете, я со многим в его работе не согласен». Я ему говорю: «А докторская или кандидатская степень присуждается за то, что оппоненты согласны или не согласны, или за качество работы?». И напомнил ему одно интересное выступление Григория Александровича Гуковского на защите какой-то кандидатс-

¹⁵ Николай Иванович Кравцов (1906–1980) — фольклорист, славист. В 1934 г. был арестован по «делу славистов», срок (до 1938 г.) отбывал в Средней Азии. С 1959 г. преподавал в Московском государственном университете, возглавлял кафедру фольклора.

кой диссертации. Тогда Г.А. Гуковский, будучи одним из оппонентов, выступил и сказал: «Я должен сразу предупредить, что буду голосовать “за” эту работу, она этого заслуживает, но я не согласен с 80 % мыслей, которые там высказываются». И, по моему, это правильная позиция. Мало ли что ты не согласен, есть еще и наука кроме тебя.

Н.И. Кравцова мне во время этого разговора как-то удалось переубедить. Он сказал, что Комиссия еще вернется к вопросу о диссертации Е.М. Мелетинского. Потом я получил письмо (до сих пор оно у меня хранится), что та диссертация, наконец, признана докторской: можете, мол, радоваться. Что-то в таком духе было написано. Затем я как-то поехал в Москву на совещание, Кравцов встретил меня и говорит: «Ну что, Вы поблагодарите меня за то, что я Вашей работе помог?». Я сначала не понял, о какой работе идет речь: на моей собственной защите его не было. Он сказал, что имеет в виду Мелетинского.

В связи с Петрозаводском мне вспоминается еще такая история. В самом начале 1950-х годов перед Институтом была поставлена задача написать историю карельской литературы. Работали мы вместе с Лаурой Александровной Виролайнен. Она из ингерманландских финнов, дочь учителей. Ее родители учительствовали, кажется, где-то в Гатчинском районе Ленинградской области. Она закончила пединститут имени М.Н. Покровского в Ленинграде, защитила там диссертацию и уехала работать в Карелию.

Я очень неохотно взялся за эту работу. Дело в том, что почти вся национальная финская секция местного отделения Союза писателей в это время была арестована. Ни одного имени в печати упоминать было практически нельзя. Остался только один поэт. И поэт этот — что-то мне сейчас не вспомнить его фамилию — хороший поэт, такой карельский Есенин, я бы сказал. В переводах я его читал. Так о нем рассказывали следующее. Он сам пошел в КГБ и говорит: «Арестуйте меня». — «А за что мы должны Вас арестовать? Мы Вам ничего не предъявляем». — «Да вот, вы арестовали столько народу, и по городу ходят слухи, что это я всех их закладывал, писал на них заявления, об их антисоветских настроениях. А в действительности разве я вам писал что-нибудь?» — «Да нет, ничего Вы нам не писали. Идите вон, мы Вас не собираемся арестовывать». Потом этот поэт работал на лыжной фабрике, чтобы не иметь никакого отношения к литературе, потому что ему стыдно было: его товарищи арестованы, а он на свободе.

Но книгу по истории карельской литературы нам с Л.А. Вироланен пришлось писать. Отказаться было невозможно. Книга вышла, но радости и удовлетворения она мне не принесла¹⁶.

Помнится по Петрозаводску мне также Никита Александрович Мещерский¹⁷. В сталинские времена очень часто людей высылали из Москвы и Ленинграда. Это называлось административный высылкой. Например, академик Владимир Николаевич Перетц был выслан в Саратов. Это, конечно, было не так страшно, как на Колыму, в ртутные разработки, где человек быстро погибал. Высылали в провинцию, где человек продолжал работать, но был удален от крупного центра.

Аналогичная история была и с Никитой Александровичем Мещерским. О нем говорили, что можно было взять список его работ и понять, куда его высылали. Он в лагере, кажется, не сидел, но его непрерывно высылали из одного города в другой как князя — он был родом из князей Мещерских, из Рюриковичей. Как только очередная волна арестов и ссылок идет — он поехал опять куда-нибудь. Вот он оказывался где-нибудь в маленьком городке — чем заниматься? Он, молодец, не терялся, занимался диалектами. И в нашей филологической среде говорили, что можно по диалектам тех мест, какие он изучал, понять, куда его ссылали.

А в Петрозаводске Мещерский появился следующим образом. Как он рассказывал, вечером как-то он сидел и читал «Учительскую газету» и вдруг находит там объявление, что Петрозаводский пединститут объявляет конкурс и что желателен преподаватель, который уже имеет кандидатскую степень. Одно время у нас ведь степеней не было, потом в тридцатые годы их ввели, и в то время, когда вводили, целому ряду лиц присвоили сразу кандидатскую или докторскую степень. Например, Б.М. Эйхенбаум и Г.А. Гукковский сразу получили докторские степени. Ну, а в Петрозаводском пединституте в начале 1950-х годов был только один кандидат наук на весь институт. И когда Н.А. Мещерский приехал в Петрозаводск, то тамошнее начальство не очень смутило то, что

¹⁶ См.: *Вироланен Л.А., Чистов К.В.* Очерки литературы Карело-Финской ССР. Петрозаводск, 1954.

¹⁷ Никита Александрович Мещерский (1906–1987) — видный специалист по истории русского языка и древнеславянской переводной письменности. В 1932 г. был репрессирован. В 1944–1954 гг. преподавал в Бугурусланском учительском институте, в 1954–1963 гг. заведовал кафедрой русского языка Карельского педагогического института. С 1963 по 1982 гг. — профессор Ленинградского государственного университета. См. труды: *История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусских переводах.* М.; Л., 1958; *История русского литературного языка.* Л., 1981; *Избранные статьи.* СПб., 1995 и др.

его когда-то куда-то выслали. Его взяли на работу в Петрозаводске, и он преподавал там, и великолепно преподавал.

Однажды он позвонил мне: «Мне нужно с Вами поговорить. Мне предлагают быть деканом, хотя мне этого и не хочется. Заниматься административной работой, составлять расписание и т.д. — это не по мне. Как быть?». Я сказал: «Никита Александрович, обязательно соглашайтесь, потому что в Карелии декан факультета педагогического института попадает в республиканскую номенклатуру. Когда Вы будете в номенклатуре, Вам не будет вспоминать какие-то старые ссыльные дела». И он согласился.

Потом его пригласили в Ленинград заведовать кафедрой русского языка. Талантливый был человек.

Вообще со сталинским временем вспоминается много нелепых историй. Когда я в первой половине 1950-х годов написал первую монографию о Федосовой, я отдал ее в Петрозаводское издательство. Там прочитали, одобрили, но сказали: «Мы издать эту книжку не можем». — «Почему?» — «Потому что в книге нет ни одной цитаты из классиков марксизма-ленинизма». Я тогда пустился на такую хитрость. Был, как известно, знаменитый «Краткий курс истории ВКП (б)». Там есть четвертый параграф, о котором потом говорили, что как будто Сталин его собственноручно написал. Неизвестно, он писал или не он, но начинается параграф так: для того чтобы знать историю народов, надо изучать не историю королей, полководцев и т.д., а историю самих людей из народа. К Федосовой это очень подходит. Я и включил эту цитату в книгу. Книга «Народная поэтесса И.А. Федосова: Очерк жизни и творчества» вышла в свет в 1955 г. А в 1956 г. после доклада Н.С. Хрущева на XX съезде партии, разоблачившего Сталина, кое-кто из горе-ученых стал говорить, что изучение отдельных народных исполнителей — это тоже культ личности. Я занимался исследованием творчества Федосовой — значит, тоже причастен к культу личности.

В Петрозаводске мне постепенно удалось собрать хороший коллектив фольклористов. Одной из первых моих учениц в Карелии стала Унелма Семеновна Конкка¹⁸. Она петрозаводская финка, из

¹⁸ Унелма Семеновна Конкка (р. 1921) — фольклорист, поэт, прозаик; научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра АН СССР. В 1946 г. окончила Петрозаводский университет, а в 1956 г. — аспирантуру при Институте мировой литературы АН СССР (Москва). Затем в течение многих лет работала в Институте языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. См. труды: Карельские народные сказки / Сост. У.С. Конкка. Петрозаводск, 1963; Карельские народные сказки. Южная Карелия / Сост. У.С. Конкка. Петрозаводск, 1967; Карельская сатирическая сказка. Петрозаводск, 1965; Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск, 1992 и др.

ингерманландских финнов. Прекрасный человек. У нее были родственники в Финляндии, она неоднократно ездила туда и несколько лет назад совсем уехала в Финляндию. Занималась она карельским фольклором. С ней, я вспоминаю, уже после моего отъезда из Петрозаводска случился как-то анекдотический скандал. Она написала очень хорошую работу — о карельских причитаниях. Во вступительной части там была дана историография вопроса. А надо сказать, что карельскими причитаниями много и плодотворно занимались финские ученые, а наших работ в то время было очень мало. Соответственно, в историографической главе Конкка и анализирует практически только финские работы. И вот заместитель директора петрозаводского Института — из партийных работников — говорит: «Как же так можно?! Мы будем позориться этой книгой: в Финляндии столько написано, а у нас ничего». Конкка говорит: «Вы скажите, какие наши исследования я пропустила. Я готова ввести их в свою работу». Но добавить, естественно, ничего было невозможно.

Я узнал об этой истории, когда меня уже в Петрозаводске не было. Тогда я сразу же обратился к директору с письмом. Я написал, что если мы напечатаем книгу Конкки, то сразу у нас вопросы, связанные с карельскими причитаниями, будут разработаны сильнее и серьезнее, чем в Финляндии, а если не будем печатать книгу, то так и будем топтаться на месте, а финские ученые будут идти вперед и вперед.

Конкка тогда ушла из института. Потом она написала книгу воспоминаний, занималась переводами, писала стихи на финском языке, у нее вышло два или три сборника. В общем, она не пропала, конечно. Сын ее, Алеша, был потом у нас в Институте этнографии в аспирантуре.

Карельскими причитаниями занималась также Александра Степановна Степанова¹⁹. В какой-то степени она тоже моя ученица. Первая ее книга была о метафорических заменах в карельских причитаниях. Тема эта была спровоцирована мною. Русские и карельские фольклорные произведения во многом очень схожи, но поэтическое оформление в них разное. Так, в похоронных причитаниях обоих народов жена, оплакивая супруга, не произносит

¹⁹ Александра Степановна Степанова — фольклорист, научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. См. труды: Карельские причитания / Изд. подготовили А.С. Степанова, Т.А. Коски. Петрозаводск, 1976; Метафорический мир карельских причитаний. Л., 1985; Карельские плачи: Специфика жанра (избранные статьи). Петрозаводск, 2003; Устная поэзия тунгудских карел / Изд. подготовила А.С. Степанова. Петрозаводск, 2000 и др.

слово «муж» — это слово табуировано. Но в карельских плачах в таких случаях значительную роль играют так называемые метафорические замены. В карельских причитаниях термины родства превращаются в отглагольные метафорические замены. Вместо слова «мать» — «О, ты, меня в чреве носившая, на коленях качавшая» и т.д.

Степанова написала книгу о метафорических заменах в карельских плачах — очень неплохую; а вторая ее книга — избранные статьи. Степанова очень симпатичная, скромная, очень работающая женщина.

Диссертацию у меня писал также Юго Юльевич Сурхаско²⁰. Удивительный человек! Он был горбуном и не мог работать, сидя за столом. Ему был сделан матрас, на который он мог лечь животом; на кровать ставилась специальная скамеечка, на которой он мог писать. Так он и работал.

В Петрозаводске одно время в отделе фольклора работал и Дмитрий Михайлович Балашов²¹, впоследствии ставший крупным историческим романистом. Балашов — человек противоречивый и своеобразный, личность очень яркая. Талантливый писатель, талантливый фольклорист. Но его жизнь сопровождалась весьма своеобразными эпизодами, которые удивляли людей.

Его отец был артистом Ленинградского ТЮЗа — Театра юных зрителей — и носил фамилию Гипси-Хипсей. Именно так! Такие двойные фамилии иногда брали в прежние времена артисты. А мать Дмитрия Балашова была театральным художником и реставратором — очень хорошим реставратором. Она занималась реставрацией икон.

Когда Дмитрий закончил театроведческое отделение Ленинградского театрального института, его отправили по распределению в город Кириллов Вологодской области. Там он преподавал в каком-то среднем учебном заведении — в культпросветшколе, кажется. И через некоторое время произошло, как он сам потом мне рассказывал, следующее: «Живу я, питаюсь кое-как. Вижу — носки с дырами, белье нестираное, неухоженный весь я — надо

²⁰ См.: *Сурхаско Ю.Ю.* Карельская свадебная обрядность (конец XIX — начало XX в.). Л., 1977. В этой монографии К.В. Чистов, наряду с В.В. Пименовым, выступал научным редактором.

²¹ Дмитрий Михайлович Балашов (1927–2000) — писатель, автор исторических романов, фольклорист. Окончил Ленинградский театральный институт. В 1957–1960 гг. учился в аспирантуре Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР по специальности «фольклористика». В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Древняя русская эпическая баллада». С 1961 по 1968 гг. — научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР.

жениться». И он женился на уборщице в этой школе. Но вскоре понял, что она не подходит ему: необразованная, интересы совсем другие и так далее. Зачем было жениться так? Вскоре он развелся. Там дети были. У нее, кажется, был уже ребенок, и от него двое. Потом он вернулся в Ленинград.

Кстати, он поменял фамилию. В какой-то день его стукнуло по голове: как же так, он — русский человек, занимается русским фольклором и вдруг Гипси-Хипсей. И тогда, как он сам мне рассказывал, он открыл телефонную книгу, ткнул пальцем и там попал на имя Дмитрий Балашов. Менять фамилию по закону можно. Подал заявление и стал Дмитрий Балашов.

В Ленинграде Дмитрий Балашов стал аспирантом в Пушкинском Доме у Анны Михайловны Астаховой. Он написал очень хорошую работу о русских народных балладах. Однажды — это было где-то в начале 1960-х годов — Анна Михайловна мне позвонила и говорит: «Кирилл Васильевич, нет ли у Вас свободной ставки в Петрозаводске, чтобы как-то устроить Балашова?». И рассказала, что его гонят из Ленинграда, не берут в Пушкинский Дом, так как пошел слух, что он, мол, сектант. «Может быть, у Вас в Карелии обойдется?». Я говорю: «Постараюсь. Никто его у нас не знает, а слух о его якобы сектантстве сюда может и не дойти». Правда, Василий Григорьевич Базанов, тогдашний заместитель директора Пушкинского Дома, был против того, чтобы Балашов ехал в Карелию, но я все устроил. Поговорил с директором карельского института, и мы его взяли. Он приехал, стал работать, защитил кандидатскую диссертацию. Работа его по балладам, повторю еще раз, была очень хорошей²².

²² См. труды Д.М. Балашова по балладе: «Князь Дмитрий и его невеста Домна» (К вопросу о происхождении и жанровом своеобразии баллады) // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1959. Т. 4. С. 80–99; Из истории русской баллады («Молодец и королева», «Худая жена — жена верная») // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1961. Т. 6. С. 270–286; Специфика жанра русской народной баллады // Специфика жанров русского фольклора. Горький, 1961. С. 29–33; «Василий и Софья» (Баллада о гибели влюбленных) // Вопросы литературы и народного творчества. Петрозаводск, 1962. С. 92–106; Постановка вопроса о балладе в русской и западной фольклористике // Вопросы литературы и народного творчества. Петрозаводск, 1962. С. 62–79; Древняя русская эпическая баллада: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1962; Баллада о гибели оклеветанной жены (К проблеме изучения балладного наследия русского, украинского и белорусского народов) // Русский фольклор: Народная поэзия славян. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 132–143; Народные баллады / Вступ. статья, подгот. текста и прим. Д.М. Балашова. М.; Л., 1963 (Б-ка поэта. Большая серия); История развития жанра русской баллады. Петрозаводск, 1966 и др.

В Петрозаводск Балашов приехал уже с другой женой. Она была италианистка, ленинградка, из очень культурной, образованной семьи. Он ведь мог произвести впечатление как мужчина — яркий человек. И в этой семье у него тоже родился ребенок. Работает Балашов в Петрозаводске, занимается своей темой. С сотрудниками в отделе отношения вроде бы хорошие. Но все время он чем-то не доволен. Пришел раз на работу злой. Я спрашиваю: «Что с Вами?». — «Жена не давала всю ночь спать». — «А почему не давала спать?» Я еще немножко посмеялся: хорошо, что жена спать не дает. А он говорит: «Она все время свет зажигает. Надо ребенка перепеленать — она зажигает свет». Я говорю: «Так как же? У нас тоже так было, когда дети маленькие были. Как же в темноте перепеленать ребенка?». Он замолчал. Потом другой раз приходит на работу раздраженный. Говорю: «Опять недовольны чем-то?». — «Жена вчера еще придумала. Послала за картошкой. Увидела, что мужчины из-за посада картошку несут, и говорит: иди за картошкой». Он был человеком, сосредоточенным на самом себе и своих творческих замыслах. Всякие бытовые проблемы его раздражали. Вот так уже в самом начале 1960-х годов начало понемножку проявляться его чудачество. Потом он развелся и с этой своей женой, женился на другой — на медсестре.

Балашов уже в Петрозаводске резко ругал правительство. Никто в нашей компании — ни я, ни Белла, ни наши друзья — не были поклонниками советской власти, но мы все вели себя осторожно, помня о сталинских временах и арестах за разговоры и анекдоты. И когда Балашов затевал антисоветские разговоры, то мы глушили их, заминали, старались переходить на другие темы. Балашов часто говорил о Сталине, он считал, что сталинское правительство — это то же самое, что нацистское правительство. Сейчас у нас об этом пишут открыто, а тогда подобного рода мысли были, конечно, невероятными. Мне наш директор, Виктор Иванович Машезерский, как-то говорит: «Что это рассказывают про вашего Балашова, что за разговоры он ведет? Сделайте так, чтобы он помолчал». Пришлось мне с Балашовым серьезно поговорить. «Ну, — говорит, — ладно, ладно, я не буду, все равно люди не понимают».

Балашов был человеком горячим. Однажды он поехал с группой студентов Петрозаводского университета в экспедицию на Белое море. Тогда мы поделили территорию Карелии так: я несколько лет подряд ездил со студентами на Белое море, а Эрна Васильевна Померанцева, московская фольклористка, — в Заонежье и Пудожье. Балашов перед экспедицией немножко позанимался со студентами: составления необходимые сделал, как записывать, как общаться с исполнителями и прочее. В экспедиции он и его группа собрали интересный материал. Балашов работал увлеченно, гра-

мотно, умело. А по возвращении он приходит ко мне и говорит: «Вы меня будете ругать». — «А за что Вас ругать?» — «Я подрался с одной студенткой». — «За что же подрались?» — «Она паршивая сталинистка». Он был настроен для тех времен весьма по-диссидентски. Но драться-то зачем? Черт с ней, пусть будет сталинистка! Я все пытался наставить его: «Вы что — в экспедиции занимались изучением трудов Сталина, что ли? Какое это имеет отношение к экспедиции?». И главное, он потом не хотел той студентке ставить зачет. После экспедиций студенты должны написать работу по тому материалу, который они собрали. И Балашов не ставил зачет этой девушке. Жена моя тогда работала в университете, и она все время старалась потушить скандалы, которые там случались вокруг Балашова. Белла спрашивает Балашова: «А что, она сделала плохие фольклорные записи? Или она не представила свои материалы Вам?» — «Да нет, она лучше всех это сделала, но она ведь сталинистка». — «Так вы что, принимаете зачет по марксизму-ленинизму или по фольклору? По фольклору — так и ставьте то, что она заслужила по фольклору». В общем, еле-еле уговорили его поставить зачет этой «сталинистке».

В Петрозаводске Балашов начал работать над своими первыми историческими произведениями. Владимир Лаврентьевич Янин²³, который много лет руководил раскопками в Новгороде, между прочим, очень одобрил первый его роман «Господин Великий Новгород». Роман, действительно, написан хорошо, интересно. Кое-кто ворчал, но большинство признавали, что появился крупный писатель. Ворчали, потому что были недовольны густотой его стилизации. Балашов, конечно, не писал на старорусском языке, но там была старорусская лексика, которая окрашивала весь роман.

Первые свои произведения Балашов печатал в петрозаводском журнале «Север»²⁴. Постепенно он стал сосредоточиваться в основном на литературных занятиях, его начали вовсе печатать, издавать охотно брали его исторические романы. И надо сказать, что, несмотря на все свои чудачества, он очень серьезно относился к работе. Обращался к историческим документам. Всегда у него было полно исторических идей. Балашов по-настоящему сильный писатель. Я бы даже сказал, что Балашов был самым сильным историческим романистом последней трети XX столетия. Его ро-

²³ Валентин Лаврентьевич Янин (р. 1929) — выдающийся российский археолог и историк, академик РАН, бессменный руководитель Новгородской археологической экспедиции. Автор многочисленных трудов по славянской археологии, нумизматике и сфрагистике.

²⁴ Петрозаводский журнал «Север» до 1965 г. назывался «На рубеже».

маны — это не просто пересказы какого-то школьного учебника, как иногда бывает, когда пишут книжки для детей. У него всегда есть собственная мысль, собственное понимание истории.

Одна идея, которую он проводит через свои романы, например, совершенно правильная. У нас в учебниках советского времени всячески восхваляли политику московских князей: они де собрали вокруг себя русские земли. Подчеркивается всегда и географическое положение Москвы — она находилась дальше от Казани, от татарских набегов. А Суздаль и Владимир были открыты татарам. И татары на эти города несколько раз нападали и жгли их. Отчасти это верно. Но Балашов совершенно верно показал место Тверского княжества в русской истории. Это было второе по силе княжество. Тверь стояла на Волге, что экономически было очень важно. К тому же она была лучше Москвы отделена от татар лесами. Тверь была крупнейшим соперником Москвы и при иных обстоятельствах могла бы стать столицей Руси. Балашов не стеснялся в своих романах показывать не очень опрятную, даже подлую по отношению к Твери политику московских князей. Они порой входили в союз с татарами, приводили татар на русские земли. Татары с удовольствием помогли Ивану Калите разгромить Тверь. Последний тверской князь Михаил был убит, и татары благословили Москву стать столицей. Иначе была бы Тверь.

У Балашова, повторю еще раз, было свое понимание русской истории, которое не совпадало с официальной точкой зрения. Для него очень характерно — иметь свою позицию. Он не боялся не хвалить Москву и московских князей и даже выставлять их в негативном свете²⁵.

В Карелии Балашов прожил несколько лет. Здесь он опубликовал некоторые свои фольклористические работы по балладам, по свадьбе Терского берега Белого моря, по сказке этих же мест²⁶.

²⁵ Первым историческим романом Д.М. Балашова был «Господин Великий Новгород», опубликованный в 1967 г. в журнале «Молодая гвардия». Затем последовала «Марфа-посадница» (1972). К циклу «Государи Московские», являющемуся грандиозной хроникой-эпопеей русской истории с 1263 г. (кончина Александра Невского) по 1380-е гг., относятся романы «Младший сын» (1975), «Великий стол» (1975), «Бремя власти» (1981), «Симеон Гордый» (1983), «Ветер времени» (1987), «Отречение» (1989), «Похвала Сергию» (1992), «Святая Русь» (1991–1993).

²⁶ См. фольклористические работы Д.М. Балашова, связанные с петрозаводским периодом жизни: За народной песней (Заметки собирателя) // На рубеже. 1961. № 6. С. 98–103; Антология карельской поэзии / Сост. Д.М. Балашов, Э.Г. Карху, У.С. Конкка и др. Петрозаводск, 1963; Терский берег (Очерки народной культуры Русского Севера) // Молодая гвардия. 1969. № 8. С. 252–268; № 9. С. 230–265; Русские свадебные песни

Он много ездил по Карелии и шире — по Русскому Северу. Занимался также былинами²⁷. Очень активно работал в отделе фольклора, участвовал в обсуждении работ. Высказывался он всегда метко, не стеснялся ругать. Человек ведь он был резкий.

Но мы с ним ладили, хотя он задавал странные вопросы. Говорил: «Кирилл Васильевич, почему Вы не ходите в русском платье?». Сам он ходил в сапогах, брюки заправлены в сапоги, пиджак и косоворотка. Я ему говорю: «Мои штаны и ботинки национальности не имеют. Какие производят, какие можно купить, то и одеваю, в том и хожу». Я его спрашивал, зачем он летом заправляет брюки в сапоги — жарко ведь. А он в ответ: «Мне поддувает». Кстати, по поводу одежды я ему не раз говорил, что то, что он надевает, это не деревенское русское платье. Он выглядит как типичный рабочий. И напоминал ему, что у Некрасова есть такой эпизод — насмешка над славянофилами. Некоторые славянофилы в XIX в. стремились одеться в какое-то старое, архаическое платье, чтобы выглядеть русскими. И у Некрасова говорится, как один такой славянофил пошел по Москве в таком платье, и мальчишки, а потом и взрослые кричали: «Украин пошел, украин пошел!». В общем, многое у Балашова было наивно: платьем и переменной фамилии он хотел что-то изменить.

Между прочим, там же в Петрозаводске у него случилась еще одна драка. Он очень хорошо резал по дереву — поделки разные. В Петрозаводске была организована небольшая выставка его работ. Балашова даже хотели принять в местный Союз художников, но он вскоре переехал в Новгород, и его прием в Союз художников не состоялся.

Так вот о драке. В Петрозаводске был специальный магазин сувениров. Туда принимались на реализацию сувениры, как русские, так и карельские. Принималась туда и откровенная халтура — мас-

Терского берега Белого моря / Сост. Д.М. Балашов и Ю.Е. Красовская. Л., 1969; Сказки Терского берега Белого моря / Изд. подготовил Д.М. Балашов. Л., 1970; Сказки Терского берега / Зап., лит. обработка сказок Д.М. Балашова. Мурманск, 1972 и др.

²⁷ Работы Д.М. Балашова по былинам: Новая запись былины о «Дюке Степановиче» // Петрозаводский институт языка, литературы и истории АН СССР. Научная конференция, посвященная итогам работ Института за 1963 г. Май 1964 г.: Тезисы докладов. Секция языка и литературы. Петрозаводск, 1964. С. 20; Печора и ее сказители // Север. 1965. № 3. С. 73–80; Уникальная редакция былины о Дюке Степановиче [записана на Печоре] // Русский фольклор: Из истории русской народной поэзии. Л., 1971. Т. 12. С. 230–237; Из истории русского былинного эпоса («Потык» и «Микула Селянинович») // Русский фольклор: Социальный протест в народной поэзии. Л., 1975. Т. 15. С. 26–54.

са просто безвкусовых вещей. Балашов резко высказывался по этому поводу. В магазине была директорша, тоже женщина довольно резкая. Как-то раз у них разгорелся спор по поводу народных ремесел. Балашов с ней сцепился. И даже драка у них произошла. Он на нее полез с кулаками. Она тоже ему дала пару пощечин. И разбирались эта драка, между прочим, у нас на Ученом совете института. В общем, с ним было нескучно. Но талантливый человек.

А еще одна драка случилась так. Недалеко от Петрозаводска, по-моему, в сторону Ялгубы, Балашов не то снял, не то купил пустующую избу и привел ее в порядок. У него руки ведь были золотые — все мог делать: столярничал, плотничал. Балашов жил в этой избе непостоянно: приезжал-уезжал. И его там однажды обокрали. Кто-то по пьянке ему сказал, кто именно из соседей залезал в его дом. Так он прямо с топором пошел на этого человека. К счастью, его скрутили, милиция приезжала.

Дом этот он купил, чтобы жить не в городе, а на воздухе. И, кроме того, там никто ему не мешал. К этому времени его уже приняли в Союз писателей. Как члена Союза, его приглашали на всякие собрания, устраивали обсуждения его романов и т.д. И многие не понимали, что ему все это было не нужно. Ему нужна была тишина для творческой работы.

Мы с Беллой все время немножко подтрунивали над ним, хотя и дружили. Он часто приезжал к нам в Ленинград, когда мы перебрались сюда: чтобы книг побольше видеть и в архивах поработать. Потом он переехал из Петрозаводска в Новгород. Его там приняли с удовольствием, потому что к этому времени он был уже известный писатель, — не шутя известный, он действительно яркая фигура в нашей литературе. А затем он как-то перестал у нас бывать, оборвал связи. У него постепенно крепло какое-то шовинистическое направление. Правда, оно не имело какого-либо антисемитского уклона. Между прочим, моя жена с ним общалась охотно. В Петрозаводске она ему объясняла, что ребенка по ночам перепеленать надо, что драться с директором сувенирного магазина стыдно и прочее. А писательство его одобряла. У них хорошие были отношения, но она все время как бы старалась им руководить, и ей приходилось ликвидировать его скандалы.

Очень яркая была фигура — Дмитрий Михайлович Балашов. Я не до конца все знаю, как он погиб? Его ведь убили. Сразу же появился слух, что в этом как-то замешан один из его сыновей — Арсений. Я не знаю, от кого он, от какой жены. Какой-то мерзавец проник в дом Балашова и задушил его, а сыночек соучаствовал в убийстве и на машине Балашова вывозил награбленное. Сам он как будто бы его не убивал, но вывозил награбленное. В «Книж-

ном обозрении» было сообщение о том, что состоялся суд. Убийца получил 14 лет лагеря строгого режима, и Арсений тоже получил срок.

Петрозаводск вспоминается мне с удовольствием. Мы были молодыми, и у нас подобралась хорошая компания друзей. В городе было очень много хороших молодых врачей. В какой-то момент в Карелии стали создавать республиканскую больницу. И туда приехало много способных людей, в том числе — евреев по национальности, потому что в Ленинграде в это время довольно сильно был развит антисемитизм, способных людей на работу не брали. И целая группа врачей приехала в Петрозаводск: и евреи, и русские. И мы с ними подружились.

Однажды мы устроили шуточный конкурс на лучшего мужа. И все решили, что лучший муж — я, потому что я чаще всех уезжаю в командировки. Из мясорубки вынули одну деталь — нож, который по форме напоминает крест, привязали ее на ленточку и вручили мне этот орден как лучшему мужу.

Врачи, почти все они были моложе меня, увлекались походами на байдарках. И я им придумал как-то маршрут по северу Карелии, в том числе и на Топозере. Я уже тогда начал заниматься социально-утопическими легендами, и «Путешественник Марка Топозерского», о котором я писал в книге о социально-утопических легендах²⁸, был мне знаком. Я и попросил своих друзей-байдарочников поискать, нет ли на Топозере следов скита, где, возможно, был написан «Путешественник». Сам я до этого озера так и не сумел добраться. А они там побывали и нашли следы каких-то построек. Как-то мы вместе встречали Новый год. Тогда друзья подарили мне самодельную памятную медаль с выгравированной картой острова на Топозере, на котором находятся следы скита, который, возможно, построил Марк Топозерский. И в придачу в медаль был вмонтирован кованый гвоздь, найденный ими на этом острове. Они и сейчас у меня хранятся.

Карелия действительно стала моей второй родиной. Тут настоящему началась наша с Беллой семья, потому что война нас с женой надолго разлучила. В Петрозаводске родился наш второй сын. Семья моя здесь прожила 17 лет. Среди ленинградских филологов была поговорка: «Хоть дворником, но в Публичную библиотеку». Я же когда-то говорил, что никуда не буду проситься: ни в Ленинград, ни в Москву. Я сказал, что уеду из Петрозаводска только тогда, когда меня сами пригласят.

²⁸ См.: *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967.

В Петрозаводске я сформировался как ученый. Из 17 книг, которые я написал и издал, почти десяток связан напрямую с Карелией, с карельскими темами. В Петрозаводске, руководя отделом фольклора, я начал прививать фольклористике этнографию. Я всегда говорил, что эти две науки едины и одна не может существовать без другой.

В Карелии я написал первую свою книгу — монографию о Ирине Андреевне Федосовой. Сначала это была моя кандидатская диссертация, а потом в 1955 г. издали книгу. Она была принята хорошо. В Ленинградском отделении Союза писателей каждый год устраивали «Вечер лучшей книги». Выходили люди и говорили, какую книгу они считают лучшей книгой в этом году. И Д.С. Лихачев, который в середине 1950-х годов был уже очень известным ученым, тогда сказал: «Лучшая книга, которую я читал в этом году, это книга о Федосовой, которую написал Чистов из Петрозаводска». Это был один из самых радостных дней в моей жизни.

С петрозаводским периодом жизни связаны и другие мои работы, например, статья «Литературно-художественная культура социалистической Сегежи» — работа, которая сейчас подзабыта, а когда-то она произвела впечатление на специалистов²⁹. Тогда в очередной раз возникла дискуссия о том, что такое фольклор, каковы его границы. Я сказал, что не знаю, что и как, но знаю, чем надо заниматься. Тогда я решил поехать в Сегежу и посмотреть, чем там народ живет и в смысле фольклорном, и в смысле литературном: какие книги читают, какие альбомчики есть у девочек, какие песни они туда вписывают, что люди рассказывают друг другу. Вот всем этим фольклористы и должны заниматься.

Потом здесь же в Петрозаводске я написал работу об устных рассказах о героях Советского Союза Лисицыной и Мелентьевой³⁰. Работать с этим материалом было интересно. Я добрался до родственников и друзей девушек, погибших во время войны. Узнал фактическую сторону — как они погибли. Проследил механизмы, как складывалась легенда. После их гибели был очерк, который тоже лег в основу легенды. Было очень интересно посмотреть,

²⁹ См.: Чистов К.В. Литературно-художественная культура социалистической Сегежи // Изв. Карел.-Фин. фил. АН СССР. 1950. № 2. С. 58–80.

³⁰ См.: Чистов К.В.: 1) Устные рассказы о Героях Советского Союза М.В. Мелентьевой и А.М. Лисицыной) // Изв. Карело-Фин. фил. АН СССР. 1951. № 2. С. 41–66; 2) Устные рассказы о Героях Советского Союза М.В. Мелентьевой и А.М. Лисицыной // Карельская литература: Сборник критических статей. Петрозаводск, 1959. С. 62–95.

как воздействует на устную традицию очерк Фиша³¹, радиопередачи и т.д. Старые легенды мы знаем, но откуда они возникли, как формировались? Ведь нас при этом не было. А здесь мне хотелось по живым следам проследить механизмы сложения легенды. Эта статья была замечена не только в Карелии. О ней говорили много.

Моя монография 1967 г. «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.» также тесно связана с Карелией. Эта книга в свое время получила широкий мировой отклик. По мнению многих, она создала целое направление в изучении народной культуры.

А началось с того, что я заинтересовался русскими старообрядцами в Карелии, и выяснилось, что на севере Карелии после разгрома Соловецкого монастыря существовали староверческие скиты. Например, один из скитов располагался на острове Жилой. И один из скитников, Марк Топозерский, написал «Путешественник Марка Топозерского», в котором описывалось, как пройти в легендарную страну Беловодье, где не будет ни царя, ни полицейских, ни чиновников, где можно распахать землю, срубить избу и жить свободно — и никто не будет тебе мешать. Интересно, что в русской народной легенде о Беловодье, в отличие от книг западно-европейских ученых-утопистов, не говорится о государственном устройстве этой страны. Беловодье — это легендарная страна без государственного устройства, где люди живут и занимаются своим делом. Это вольная страна, где все можно, только надо самому работать — прокормишься, и все будет хорошо. В «Путешественнике» говорится, что в Беловодье бывают сильные морозы — аж камни трескаются³². Но это людей не пугает. Как не пугало русских крестьян, которые уходили из Центральной России на Север, т. к. здесь не было крепостного права. Уход активных, энергичных личностей на Север привел к тому, что в Карелии собралось множество талантливых людей, которые не боялись тех трудностей, которые были связаны с переселением.

На Севере каждый человек был полон чувства собственного достоинства. Например, однажды какой-то чиновник спросил у былинщика Трофима Григорьевича Рябинина, заплатил ли он подать. Рябинин ответил: «Когда у меня будут деньги, тогда и

³¹ См.: *Фиш Г.*: 1) Герои Советского Союза Анна Лисицына и Мария Мелентьева: Очерк. Молотов, 1943; 2) Карельские девушки: Очерк о партизанах Анне Лисицыной и Марии Мелентьевой. М., 1943; 3) Подруги: Очерк об А. Лисицыной и М. Мелентьевой. Беломорск, 1943.

³² См.: *Чистов К.В.* Легенда о Беловодье // Труды Карел. фил. АН СССР. 1962. Вып. 35. С. 116–181.

заплачу». Чиновник возмутился и набросился на него с кулаками. Рябинин схватил его за руку и сказал: «Ты это, ваше благородие, оставь. По этим делам я никому должен не оставался». И тронуть себя не дал. Или в литературе описывается случай, как однажды к Олонецкому губернатору пришел мужик, а ему сказали, что губернатор его принять не может. «Ну, не может, так и я тоже не хочу его видеть, больно он мне нужен», — ответил мужик. Это очень характерные для понимания северорусского характера эпизоды.

В петрозаводской научной среде попадались гастролеры: поработав два-три года в Карелии, они забывали об этом крае. В отличие от них, у меня связи с Петрозаводском не прерывались, даже когда я был приглашен в Институт этнографии АН СССР. У меня продолжали учиться аспиранты из Карелии, я редактировал работы петрозаводских коллег, рецензировал, приезжал сюда для участия во всяких делах и т.д. В 1998 г. в Карелии была устроена презентация одной из крупных моих работ — в серии «Литературные памятники» вышел двухтомник «Причитанья Северного края, собранные Е.В. Барсовым», где опубликовано 90 % текстов, записанных от Ирины Андреевны Федосовой. С тех пор как я перестал жить в Карелии, каждый приезд в Петрозаводск для меня становился событием, потому что я чувствовал, что жизнь моя продолжается и что я не теряю какой-то очень важный стержень. Когда я в Петрозаводске встречаю кого-нибудь из своих старых знакомцев на улице, мне говорят: «Как же так, ты три раза приезжал и ни разу не зашел ко мне». Поэтому мне необыкновенно приятно приезжать сюда, встречать друзей, старых сослуживцев, учеников, моих научных внуков и их учеников.

Карелия прочно связала меня с Кижамми. Кстати, правильно говорить Кйжи с ударением на первом слоге. Часто ставят ударение на втором слоге, так как в русском языке это слово воспринимается как множественное число. Это неверно. Мне в своей жизни не раз приходилось сталкиваться с кижскими проблемами. После войны архитектурный ансамбль был в очень запущенном состоянии. В 1949 г. отмечался юбилей «Калевалы» — сто лет со дня выхода первого полного издания эпоса карельского народа. Я, как заведующий сектором фольклора в Карельском филиале Академии наук, был ученым секретарем правительственной комиссии по проведению юбилея. Тогда в процессе подготовки к юбилею мне приходилось ездить в Москву с докладами к Отто Вильгельмовичу Куусинену, который был председателем комиссии. В один из приездов он меня спросил: «Ну, хорошо, мне те-

перь понятно, какие будут доклады, какой будет концерт, но чем мы еще займем наших гостей?». Я ответил, что можно показать Кондопожскую церковь и Кижы — и то, и другое близко от Петрозаводска. Это должно было на гостей произвести впечатление, потому что такого нигде нет в других местах. «А что такое Кижы?» — спросил Куусинен. Он, как ни странно, ничего не знал о Кижях. Я ответил: «Разрешите мне завтра к Вам придти. В Москве живет мой брат, у него есть книги, где есть фотографии Кижей». Когда я показал ему альбомы, он ответил, что это невероятная вещь и надо предпринимать меры, чтобы весь этот ансамбль сохранить и превратить в музей.

Когда начались работы по организации музея в Кижях, мне приходилось высказывать некоторые позиции по методам его создания. Так, когда свозили на остров разные строения, то не разграничивали — русские это избы или карельские. Они и впрямь в Заонежье похожи. В иную деревню приедешь и не поймешь, русская она и карельская, пока не услышишь карельскую речь. Но создавая музей, надо было, конечно, учитывать этническую принадлежность деревень, откуда свозились памятники деревянной архитектуры.

Первоначально свезенные на Кижы постройки были ничем не наполнены. Я тогда написал статью в газету, в которой предлагал архитектурный музей превратить в этнографический. Это было нужно по разным соображениям. Северные избы — великолепный памятник традиционной культуры. Здесь все очень продуманно устроено: однорядная связь, где и жилые, и хозяйственные помещения увязаны в одну группу срубов. Избу надо осматривать не только снаружи, как архитектурный памятник, но зайти в нее — увидеть, как люди жили. Даже с современной точки зрения этот деревянный мир был полон мастерства. Чего только русский крестьянин не умел делать! В избе обязательно должны находиться люди, должна быть какая-то жизнь, иначе изба просто сгниет. Мы должны не потерять традиционную культуру. Это не значит, что всем людям сейчас необходимо жить в старых избах. Может быть, с точки зрения развития мировой культуры это тупиковый путь, который не будет иметь продолжения: вряд ли в будущем будут еще возникать деревянные миры. Но ведь в нашей культуре это было, и забывать об этом нельзя. Этот деревянный мир давал замечательные достижения. Их надо знать, помнить, изучать, приучать любить. Деревянный мир — это такое же наше наследство, как Пушкин, Толстой, Достоевский.

Когда заговорили о том, что нужно реставрировать Кижы, туда приезжал известный реставратор А.В. Ополовников³³. Я ездил с ним на обмеры церквей. Это были первые научные обмеры кижских церквей. В XIX в. кижские церкви были обшиты вагонкой. Потом она была снята, чтобы восстановить первоначальный натуральный вид. Оказалось, что в бревнах завелся червь. Обработали химическими составами. А у бревен есть ядро и оболонь — то, что нарастает на ядро. В результате химической обработки оболонь размягчилась, и начался перекося церквей. Тогда в 1980-е годы среди реставраторов и вообще в культурной среде началась дискуссия о том, как сохранить Кижы. Нашлись умники, которые предложили распилить Кижы на три части, оставить так в качестве экспонатов, а на месте церквей создать новодел³⁴.

Я был членом Ученого совета Кижей. Когда возник проект распиловки Кижей, я поехал в Кижы и увидел, что там уже приготовлены бревна для планируемого новодела. Я пришел в ужас, потому что понятно, что никто в наше время не повторит кижские церкви. У Преображенской церкви 22 главы, там очень сложная система водослива: если вода будет задерживаться на крыше, то бревна очень быстро начнут гнить. Так называемые кокошники, которые как бы увеличивают впечатление от количества этих главков, на самом деле являются водоотводами. И современные мастера, с которыми советовались музейные работники, говорили, что они не знают, как сделать такие кокошники-водоотливы. Разучились.

Я тогда очень резко выступил против сооружения новодела. Многие, кто понимал опасность этого проекта, просили меня как члена-корреспондента Академии наук пойти к министру культуры Карелии и разъяснить ему суть проблемы, потому что он склонен был поддержать этот проект. Министр был человек в Карелии новый. Тогда властную верхушку тасовали, как карты, перебрасывая из одного места в другое. Пришел, представился ему. Он говорит: «О чем Вы будете со мной говорить?» — «По поводу Кижей». — «А что по поводу Кижей? С Кижями все решено». Я

³³ Александр Викторович Ополовников (1911–1994) — исследователь самобытной культуры и создатель методики реставрации памятников деревянного зодчества, ученый и реставратор, на протяжении около полувека он занимался проблемой сохранения и реставрации Кижей. Все основные памятники музея реставрированы по его проектам.

³⁴ См. печатные выступления К.В. Чистова по поводу проблем Кижей: Этнография и актуальные проблемы развития этнографических музеев // Советская этнография. 1981. № 1. С. 24–37 (совм. с Т.В. Станюкович); Осторожно, Кижы! // Советская культура. 1988. 7 окт. (совм. с Д. Лихачевым, А. Мыльниковым, Г. Вагнером, В. Орфинским и др.).

говору: «А кто же решил?» — «Мы решили — в министерстве». — «Но ведь специалисты против создания новодела!» — «Да кто Вы такой, Вы откуда взялись?!» — говорит он мне. — «Знаете, это я Вас могу спросить, откуда Вы взялись, я в Карелии много лет жил и работал и занимался Кижами. Вы говорите, что все решено. А Вы специалист, архитектор или реставратор? Нет. Как же Вы можете брать на себя такую ответственность. Надо послушать, что говорят люди, которые понимают в этом деле». — «Подумаешь, он понимает, а я ничего не понимаю». Вот в таком духе этот министр со мной разговаривал. Я сказал: «Ну, хорошо, этот разговор будет изложен в “Литературной газете”». Он поджал хвост. Только тут поинтересовался, кто я такой: «Вы бы документ какой предъявили». Я показываю ему удостоверение, что я член-корреспондент Академии наук. «А кто Вы по специальности?» — «Я этнограф, фольклорист». Он говорит: «Ведь Вы же тоже не архитектор».

Да, я не архитектор, не реставратор. Но для Кижей, думаю, все-таки что-то сделал. Это не просто мои амбиции. Вот сейчас в Москве соорудили собор Христа Спасителя — новодел. Я думаю, что этого не надо было делать. Можно было деньги употребить на ремонт храмов, которые уже стоят. А новодел — он и виден как новодел. А музей в Кижях, по-моему, в наши дни развивается в правильном направлении.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БУБРИХ¹

Д.В. Бубриха я видел неоднократно в коридорах предвоенного филологического факультета ЛГУ, в состав которого входило тогда и финно-угорское отделение. В 1938 г., побывав впервые в фольклорной экспедиции в Карелии, организованной кафедрой фольклора ЛГУ совместно с Карельским научно-исследовательским институтом культуры, я познакомился со студентом нашего факультета — финно-угроведом, уже сотрудничавшим с карельским институтом, — Николаем Ивановичем Богдановым, вепсом по национальности, и преподавателями финно-угорского отделения финном Матвеем Михайловичем Хямяляйненем и карелом Александром Антоновичем Беляковым (после войны мы около полутора десятков лет работали вместе в Петрозаводском Институте истории, языка и литературы). От них я и услышал впервые о Дмитрие Владимировиче Бубрихе — их учителе и тогда уже знаменитом ведущем советском финно-угроведе.

Познакомился я с Д.В. Бубрихом и ближе узнал его только в 1947 г., когда переехал из Ленинграда в Петрозаводск и стал сотрудником Института, директором которого он был. История моего перехода из аспирантуры при кафедре фольклора филологического факультета в Петрозаводский институт такова. Весной 1947 г. в Петрозаводск были приглашены на совещание, связанное с предстоящим в 1949 г. 100-летием полного издания «Калевалы», мои университетские учителя — М.К. Азадовский и

¹ Впервые опубликовано: Воспоминания о моем первом директоре // Д.В. Бубрих: К 100-летию со дня рождения: Сборник статей. СПб., 1992. С. 89–97. Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949) — выдающийся финно-угровед, чл.-корр. АН СССР (1946), профессор Ленинградского государственного университета. После освобождения Карелии от немецко-фашистских захватчиков был переведен из сыктывкарской эвакуации в Петрозаводск и назначен директором формирующегося Института истории, языка и литературы. Одновременно он выполнял обязанности заведующего кафедрой финно-угроведения Карело-Финского (Петрозаводского) университета, возглавлял финно-угорский сектор Института языка и мышления АН СССР (Ленинград) и кафедру финно-угорских языков Ленинградского университета.

В.Я. Пропп. Во время совещания возник вопрос о завершении комплектования в Петрозаводске сектора фольклора, который и взял бы на себя основные организационные заботы о юбилее. Он должен был стать не только всесоюзным, но и международным юбилеем. Требовался фольклорист, готовый переехать в Петрозаводск и который мог бы заведовать формирующимся сектором. М.К. Азадовский и В.Я. Пропп рекомендовали меня, зная, что я еще до войны успел побывать в трех фольклорных экспедициях в русские районы Карелии и в семинаре М.К. Азадовского занимался русским фольклором Карелии. Несомненно, что в решении рекомендовать меня весьма важную роль сыграло то, что я принадлежал к кругу учеников М.К. Азадовского, активно сотрудничавших с КарНИИ культуры. Мой приезд в Петрозаводск воспринимался как обеспечение непрерывности работы его фольклорной секции после арестов 1937–1938 гг. (Н.Н. Виноградов и др.). Силами студентов в последние годы перед войной была подготовлена целая серия книг — «Сказки Ф.П. Господарева» (Н.В. Новиков, 1941), «Русские плачи Карелии» (М.М. Михайлов, 1940), «Былины Пудожского края» (Г.Н. Парилова и А.Д. Соймонов, 1941), «Народное творчество Карело-Финской ССР» (В.В. Чистов, 1940). За ними должна была последовать следующая серия книг, которые готовили младшие участники семинара, в числе которых был и я. В предвоенные годы М.М. Михайлов, А.Д. Соймонов, Г.Н. Парилова поехали в Карелию на постоянную работу. Меня же обуревали сомнения. Не прошло еще двух лет, как я демобилизовался, вернулся в Ленинград, поступил в аспирантуру и с наслаждением окунулся в океан книг в ленинградской Публичке, библиотеке Академии наук, университетской библиотеке, от которых был оторван на долгие четыре года войны. И теперь снова уезжать из Ленинграда?! Но М.К. Азадовский и В.Я. Пропп стали меня решительно уговаривать. Карелия — фольклорная страна, я не только до войны занимался русским фольклором Карелии, но и в аспирантуре избрал тему, связанную с ним («Поэтическое наследие И.А. Федосовой»). И главное, Петрозаводский институт возглавляет один из самых выдающихся ленинградских филологов — Дмитрий Владимирович Бубрих, прекрасный человек, очень доброжелательный и интенсивно работающий. Работать с таким директором — большая удача.

Мне вспомнился разговор с М.К. Азадовским, который произошёл примерно годом раньше. Вернувшись из армии и наконец дождавшись возможности заниматься любимым делом, я испытывал жажду, жадность, с трудом сдерживаемую ревность (пусть мне простит читатель невольный архаизм) к делу, за которое я принялся. Все было интересно и хотелось непомерно много. И

вскоре я обнаружил, что не успеваю сделать то, что хочется и обязательно надо. Я пожаловался как-то Марку Константиновичу. Он посмотрел на меня ласково и, наклонив голову, как это он обычно делал, сказал: «Ну а кто же поет? Никто не поет!». Потом, немного помолчав, вдруг произнес: «Впрочем, нет. В Ленинграде есть два человека, которые поют, — Жирмунский и Бубрих. Только два человека, остальные не поют». Я не ручаюсь за точность воспроизведенных слов, но смысл их был именно такой. Мне тогда представлялось, что чем крупнее ученый, тем больше у него дел. Как же они поют?

Я заглянул в каталог Публичной библиотеки и убедился в том, что Д.В. Бубрихом опубликовано много. Он начал печататься еще в 1914 г., едва окончив университет. Я понял, что работать под началом такого директора мне будет действительно интересно, тем более в Карелии, которая мне уже в предвоенные годы казалась «своей», и я решил. До отъезда я должен был официально представиться Д.В. Бубриху. Для этого я был приглашен на его квартиру на Васильевском острове. Дмитрий Владимирович был очень приветлив. Но что я мог рассказать о себе? Воевал, демобилизовался, поступил в аспирантуру. В студенческие годы бывал в экспедициях, читал доклады в семинарах у М.К. Азадовского, Б.М. Эйхенбаума, Г.А. Гуковского, напечатал одну рецензию и записи былин от И.Т. Фофанова. Война заставила повзрослеть, но все еще впереди. Дмитрий Владимирович обо всем этом внимательно расспросил. При этом не чувствовалось никакой снисходительности, только дружеское желание оценить перспективы. Особенно заинтересовал его замысел моей диссертации. Имя И.А. Федосовой было ему хорошо известно, и он высказал идею, которую я смог оценить только через несколько лет, когда вслед за моими занятиями русскими причитаниями У.С. Конкка, а за ней и позже А.С. Степанова взялись за карельские причитания. Д.В. Бубрих сформулировал тогда удивившую меня проблему: «Я пробовал читать карельские причитания, но, честно говоря, ничего в них не понял. Они полны лингвистических и этнографических загадок и неясностей. Может быть, когда-нибудь до них доберетесь». Исследования У.С. Конкки и А.С. Степановой действительно показали, что поэтическая система карельских причитаний поразительно архаична, она в значительной степени построена на метафорических заменах, формировавшихся в условиях ритуального табуирования определенного круга понятий (слов). То, что в русских причитаниях обнаруживалось как рудименты древней системы, в карельских представало в удивительно хорошо сохранившемся виде.

Удивило меня и другое. Когда я пришел к Дмитрию Владимировичу, он сидел на стуле около обеденного стола, на котором был невообразимый беспорядок. Немытая посуда была сдвинута от края, где лежали какие-то развернутые книги, а писал Дмитрий Владимирович, положив на колени какую-то папку. Я не был в других комнатах его квартиры и не знаю, был ли там письменный стол, но и позже я неоднократно видел Дмитрия Владимировича работающим в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Петрозаводчане, которые были в годы войны в эвакуации в Сыктывкаре, рассказывали мне, что частенько видели Д.В. Бубриха в очереди в магазин или в столовую, углубленного в книгу, делающего выписки и пометки и совершенно отрешенного от всего, что творилось вокруг.

Когда я работал в Карельском институте, я неоднократно был свидетелем умения Дмитрия Владимировича сосредоточиться и поразительно быстро проделать работу, на которую большинству сотрудников института обычно требовалось гораздо больше времени. Он не только мог быстро прочитать чужую работу, но и отредактировать или даже переработать ее.

Мне сейчас трудно вспомнить точно, в каком именно году произошло то, о чем я собираюсь рассказать. Вероятно, это было в самом конце 1940-х годов, может быть, в 1949 г. Один из его учеников, родом карел, человек отнюдь не молодой, составил словарь своего родного диалекта. Материал, видимо, был богатый и во многих отношениях интересный. Однако способ оформления лексического материала, вошедшего в словарь, не удовлетворил Д.В. Бубриха. И он вдруг объявил, что на несколько дней исчезает из института, просит забыть, что он в Петрозаводске (в Петрозаводске он бывал наездами, продолжая работать и в Ленинградском университете, и в Институте языка и мышления). Он заперся на несколько дней в квартире составителя словаря и решительно «перелопатил» его работу. В результате, как рассказывали сотрудники сектора языкознания, возникла одна из лучших диалектологических работ первых послевоенных лет.

Я намеренно не называю фамилии составителя словаря, так как боюсь оказаться неточным и сознаю, что подобного рода воспоминания должны проверяться документально. Я же опираюсь только на собственную память и разговоры сотрудников тех лет между собой. Может быть, это и легенда, но она очень характерна — так все мы думали тогда о творческих возможностях Дмитрия Владимировича и об интенсивности его деятельности. Заглядываю в библиографию его работ, напечатанную в книге Г.М. Керта

«Д.В.Бубрих»², и убеждаюсь в том, что для подобных «легенд» (если это только были легенды!) были бесспорные основания. Так, под 1947 годом значится 20 публикаций, под 1948 — тоже 20, под 1949 — 11 и среди них книга «Грамматика литературного коми языка».

Директорские обязанности Д.В. Бубрих выполнял весьма своеобразно. Снова оговорюсь — я далеко не всегда был свидетелем «внутренних» разговоров в дирекции, в которую в то время входили в качестве заместителя директора Е.С. Гардин и ученого секретаря — Н.И. Богданов. Первый из них как бы замещал Д.В. Бубриха между его приездами в Петрозаводск, и в его функции входило общение с отделом науки Центрального комитета Коммунистической партии Карелии и в какой-то мере руководство филиалом Академии наук. Эти официально-служебные дела, как я помню, не очень интересовали Дмитрия Владимировича. Тем более что Е.С. Гардин не то чтобы оберегал директора от лишних забот, а, скорее, стремился изолировать его от некоторых из них, придавая своей собственной деятельности явно преувеличенное значение («я согласовал с ЦК...» или «мы в ЦК договорились...», «я получил ответственное указание...» и т.д.). Д.В. Бубрих в таких случаях тут же соглашался и стремился заняться собственно научными делами.

Мои официальные разговоры с Дмитрием Владимировичем происходили чаще в комнате сектора, а не в дирекции. Он любил подсесть к кому-нибудь и просил рассказать, чем он (или она) занимается. Выслушивал очень терпеливо и внимательно, старался включиться в размышления сотрудника, вместе с ним подумать о том, как преодолеть возникающие трудности, найти необходимые методические приемы. В такие приходы все мы, сотрудники сектора литературы и народного творчества, а не только я, заведовавший в это время сектором, старались не пропустить ни одного его слова, ни одной его интонации. Все мы были молоды и неопытны, только начинали свой путь в науке, были очень поразному осведомлены в основах наук, которыми занимались. Но это никак не влияло на манеру его бесед с нами. Дмитрий Владимирович без тени снисходительности вникал в наши дела и терпеливо старался помочь. Его знания были весьма широки, а исследовательский опыт велик. В этом мы были убеждены и бесконечно доверяли ему и его доброжелательности. Правда, иногда после его ухода некоторые сотрудники просили еще раз повторить и

² См.: *Керт Г.М.* Дмитрий Владимирович Бубрих. 1890–1949. Очерк жизни и деятельности. Л., 1975.

истолковать сказанное, несмотря на то, что говорил он достаточно просто и ясно. Но с этим нам, как правило, удавалось справиться.

Вспоминая обо всем этом, я не могу не признать, что другого такого директора я не встречал ни в тех учреждениях, где я служил, ни в тех, где мне приходилось бывать. Сами функции директора он понимал весьма своеобразно и, особенно по тем временам, необычно. Руководить, считал он, значит помочь, когда это возможно.

А времена были нелегкие во всех общественных науках, в том числе и в языкознании. Как и в других областях науки и искусства, здесь складывалась все более жесткая авторитарная система. В каждой сфере нужен был ведущий марксистский авторитет. В театре это был МХАТ, в физиологии — Павлов, в биологии — Лысенко и Мичурин, в литературе — Горький и Маяковский. В языкознании кандидатом в такие абсолютные авторитеты был Н.Я. Марр. Ни у кого теперь нет сомнения в том, что Марр был одним из крупнейших лингвистов XX в. Однако его сочинения мало годились на роль цитатника. Он был человеком бурного научного темперамента, со всей свойственной ему энергией часто пересматривал свои взгляды, отваживался на самые неожиданные обобщения. При всем этом, как ни удивительно это теперь, на протяжении нескольких лет официально утверждалось мнение, что марризм — это и есть истинно марксистское языкознание. При этом из фрагментов, выхваченных из самых различных по назначению работ Н.Я. Марра, конструировалась некая догматическая система, всякие отклонения от которой осуждались.

По рассказам самого Д.В. Бубриха, его отношения с Н.А. Марром складывались весьма своеобразно. Марр за несколько лет до смерти предложил Дмитрию Владимировичу организовать при Институте материальной культуры³, который он возглавлял, кабинет финно-угроведения. Бубрих сказал ему, что это вряд ли возможно, так как многое в так называемом «новом учении о

³ Имеется в виду Российская академия истории материальной культуры (РАИМК), которая была создана 18 апреля 1919 г. на базе Археологической комиссии, существовавшей, в свою очередь, с 1859 г. Первым директором РАИМК был Николай Яковлевич Марр (1864–1934). В 1926 г. Академия была переименована в государственную (ГАИМК). В 1937 г. ГАИМК вошла в систему учреждений АН СССР и получила новое название — Институт истории материальной культуры. С 1959 г. это учреждение называлось Институтом археологии АН СССР, а в эпоху «перестройки» в 1992 г., подобно другим научным учреждениям с богатой историей, вернулось к старому названию. Сейчас это Институт истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук.

языке» Марра не принимает и пока не может принять. Н.Я. Марр, который не был лишен агрессивности в дискуссиях с неприемлющими «новое учение», очень добродушно отвечал на это, что надо поработать вместе, привыкнуть друг к другу и товарищески поспорить. Видимо, он был все-таки далеко не столь агрессивен, как записные «марристы» — догматики 40-х годов, которые организовали травлю многих замечательных ученых за «отступления» от марризма. В Карелии особенно неистовствовал заведовавший сектором языка Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР В.И. Алатырев, человек малообразованный и в научном отношении бесплодный. «Марристская» кампания преследования Дмитрия Владимировича была для него средством остаться «на плаву». Каждое заседание Ученого совета и даже каждое профсоюзное собрание превращалось в митинг, на котором вновь и вновь провозглашались лозунги борьбы с немарристским языкознанием. Одним из постоянных доводов, который должен был убедить присутствовавших в том, что Д.В. Бубрих не-маррист или недостаточно маррист, был тот, что он занимается темами, которыми не занимался Н.Я. Марр.

Д.В. Бубрих не дожидаясь появления статей И.В. Сталина по вопросам языкознания, в которых разоблачался марризм как вульгаризация марксизма. Корифеем научного языкознания стал считаться сам Сталин. Трудно предположить, что это облегчило бы жизнь Д.В. Бубриха. Но можно не сомневаться в том, что атаки догматиков-«марристов» укоротили его жизнь. Он скончался еще полный сил, не дожив до 60 лет⁴.

Припоминается еще одна, может быть, и не столь уж значительная история, которая в последний год жизни Бубриха тоже основательно потрепала его нервы. В каком-то издании Коми филиала АН появилась как будто вышедшая из недр старого губернского краеведения статья Н.И. Шишкина, в которой возрождались «емская» теория происхождения коми.

Д.В. Бубрих резко отрицательно отнесся к этой статье и не мог на нее не ответить. Статья «Не достаточно ли емских теорий»? была написана, но Дмитрий Владимирович уже не увидел ее в печати⁵. Статья Н.И. Шишкина раздражала его не только своей научной несостоятельностью, но и тем, что автор прикрывал невежество демагогическими политическими обвинениями тех, кто окажется с ним не согласен.

⁴ Дмитрий Владимирович Бубрих скончался 30 ноября 1949 г. Статья И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» появилась в 1950 г.

⁵ *Бубрих Д.В.* Не достаточно ли емских теорий? // Изв. Карел. фил. АН СССР. Петрозаводск, 1950. № 1. С. 80–92.

Уже после смерти Д.В. Бубриха состоялось обсуждение этой его статьи в составе рукописи очередного тома «Известий Карельского филиала». В.И. Алатырев и кто-то из историков, оперируя аргументами Н.И. Шишкина, предприняли попытку не допустить статью Дмитрия Владимировича к печати. Прозвучали все те же политические обвинения. Но замысел этот был сорван выступлениями И.П. Шаскольского (в те годы он был сотрудником Карельского филиала АН СССР), А.М. Линевского и моим. Успех в борьбе с политиканством, не прекратившимся даже после кончины ученого, был закреплен статьёй И.П. Шаскольского, напечатанной в том же номере «Известий Карельского филиала АН СССР» в качестве комментария к произошедшему спору («О емской теории Шегрена и ее последователях») и к статье Д.В. Бубриха «Не достаточно ли емских теорий?»⁶.

Из многих бесед с Д.В. Бубрихом (в институте, в гостинице, где он останавливался, в ленинградском поезде и т.д.) особенно памятливы мне три. Первая из них связана была с тем, что до занятий финно-угроведением, которые начались участием в мордовской экспедиции, организованной А.А. Шахматовым, Дмитрий Владимирович занимался славистикой (см. список его работ в книге Г.М. Керта, о которой мы уже упоминали), в частности кашубами (ляшской народностью, близкой к полякам, на территории Западной Пруссии; между двумя мировыми войнами они оказались в составе Польши, в так называемом «польском коридоре», которым обеспечивался ее выход к морю). Я не преминул заметить, что в последние месяцы службы в армии уже после конца Великой Отечественной войны часть, в которой я служил, была расквартирована в Пройсиш Нойштадте (ныне Вейгерово) и в Цопоте (ныне Сопот), в «польском коридоре», и под влиянием своих студенческих занятий славистикой и польским языком (в частности, под влиянием книги И.А. Бодуэна де Куртэне «Кашубский язык») я разыскивал кашубов, чтобы послушать живую кашубскую речь. Я рассказал об этом и о том, что фашистское правительство заставляло кашубов отказаться от своей национальности и приказало объявить себя просто немцами (то же самое происходило и с лужицкими сербами в юго-восточной Германии). Кашубы из солидарности с польским народом, несмотря на очень реальную угрозу попасть после этого в лагерь или подвергнуться другого рода репрессиям, демонстративно объявляли себя поляками. Я спрашивал местных жителей, как мне найти кашубов, но мне отвеча-

⁶ *Шаскольский И.П.* О емской теории Шегрена и ее последователях // Изв. Карел. фил. АН СССР. Петрозаводск, 1950. № 1. С. 93–102.

ли, что здесь все поляки, хоть и некоторые из них кашубы, то есть этническое самосознание под влиянием кровавых политических событий стало превращаться в локальное и групповое (кашубы — поляки, но одновременно и кашубы).

Вторая памятная мне беседа или, точнее, несколько бесед на одну и ту же тему касались цикла работ Д.В. Бубриха по проблемам этногенеза карел на основе лингвистических (диалектологических и сравнительно-языковедческих) данных. Это была небольшая книжечка «Происхождение карельского народа: Повесть о союзнике и друге русского народа на Севере» (Петрозаводск, 1947), удивительно емкая и выразительно написанная, доклад на ту же тему на одной из финно-угроведческих конференций, статья «Историческое прошлое карельского народа в свете лингвистических данных»⁷. Я не могу воспроизвести эти беседы дословно. Память сохранила лишь общие очертания их. Мой интерес к этой тематике объяснялся в те годы не только общим интересом к истории карел, но и интенсивным обсуждением проблем этногенеза (в годы войны и в первые послевоенные годы) этнографами, историками, лингвистами. В частности, проблема этногенеза славян и восточных славян была отягощена многими политическими спекуляциями, которые смущали меня, прикоснувшегося к этим темам еще в предвоенные студенческие годы, когда подобного рода споры были значительно содержательнее в научном отношении.

И, наконец, в 1947–1949 гг. мы много раз возвращались к проблемам карельского эпоса и «Калевалы» Э. Леннрота. В феврале 1949 г. отмечалось, и причем довольно широко, 100-летие первого полного издания «Калевалы». По должности мне пришлось выполнять функции ученого секретаря Правительственной комиссии, которую возглавлял О.В. Куусинен. В отсутствие Д.В. Бубриха происходили заседания комиссии — я его информировал о них. Мне приходилось ездить в Москву к О.В. Куусинену с докладами о ходе подготовки к юбилею. Особенно сложны были вопросы, связанные с научной сессией, которая должна была состояться в дни юбилея и за которую отвечал наш институт, так как целому комплексу научных проблем придавался политический характер. Руны, которые легли в основу «Калевалы», были записаны преимущественно от карел. Поэтому все возможные разговоры о западно-финском (и даже вообще — финском) происхождении рун решительно пресекались. В официальном назва-

⁷ Бубрих Д.В. Историческое прошлое карельского народа в свете лингвистических данных // Изв. Карело-Фин. науч.-исслед. базы АН СССР. 1948. № 3. С. 42–50.

нии юбилея удалось удержать формулу «Карело-финский эпос» не потому, что официальные руководители республики понимали значение «Калевалы» в истории финской культуры, а только потому, что сама республика в это время называлась Карело-Финской. Впрочем, надо оговориться: О.В. Куусинен как человек, получивший в свое время хорошее финно-угроведческое филологическое образование, понимал все эти проблемы гораздо глубже и серьезнее — это прозвучало потом в его официальном докладе на торжественном заседании. Вопрос об этнической принадлежности «Калевалы» он связывал с особенностями развития феодализма в Финляндии и Карелии. Но были вопросы, которые волновали и О.В. Куусинена. Ему не нравилась вступительная статья Д.В. Бубриха к русскому изданию «Калевалы» 1933 г. (издательство «ACADEMIA»), в которой излагались популярные в то время в финляндской науке теории происхождения рун, к которым О.В. Куусинен относился весьма критически. Волновал его и будущий доклад В.М. Жирмунского — его уже начали поругивать в печати (так называемый «большой Совет» ЛГУ и кампания расправы с «космополитами» была еще впереди, но уже начали ощущаться как бы некоторые «подземные толчки» — предвестники будущего землетрясения).

С В.М. Жирмунским О.В. Куусинен при моем посредничестве вступил в прямую переписку. Захотел он встретиться и с Д.В. Бубрихом. Я известил об этом Дмитрия Владимировича, и встреча состоялась в один из его приездов в Москву. Они договорились, что Бубрих не станет каяться и отказываться в целом от статьи 1933 г., но выберет один вопрос, по которому у него за прошедшее время действительно изменилось мнение. Речь шла об известном пассаже в сочинении М. Агриколы (XVI в.). В нем упоминались имена героев эпических песен. В 1933 г. Д.В. Бубрих считал этот факт одним из убедительных свидетельств западно-финского происхождения карельского эпоса. В 1949 г. он опубликовал в карельском журнале «На рубеже» (предшественник «Севера»), издававшемся на русском языке, популярную статью, которая называлась «Об одной моей грубой ошибке». Это был предварительный вариант доклада в сборнике материалов сессии под заглавием «К вопросу об этнической принадлежности рун “Калевалы”»⁸. На фоне травли марровцами это был достойный выход из ситуации, которая в те времена оценивалась как довольно сложная.

⁸ См.: Бубрих Д.В. Об одной моей грубой ошибке // На рубеже. 1949. № 1. С. 121–122; Бубрих Д.В. К вопросу об этнической принадлежности рун «Калевалы» // Труды юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного издания «Калевалы». Петрозаводск, 1950. С. 142–151.

Я не был, к сожалению, ни учеником, ни близким другом Дмитрия Владимировича Бубриха и на более пространные воспоминания я, вероятно, не имею права. Но должен еще раз повторить: память о моем первом директоре как замечательном ученом, работавшем с изумляющей интенсивностью, прекрасном доброжелательном человеке для меня незабываема. Это был один из самых достойных людей, которых я встречал в своей, теперь уже довольно продолжительной жизни.

ПЕТР ИВАНОВИЧ РЯБИНИН-АНДРЕЕВ¹

Пение былин Петром Ивановичем Рябининым-Андреевым впервые я слышал в 1936 г., когда был еще школьником. В эти годы я с увлечением участвовал в работе Детского литературного университета, созданного С.Я. Маршаком. Наш замечательный руководитель, кроме литературных занятий, любил устраивать для нас встречи с разного рода интересными людьми. Среди них запомнились известный исследователь Арктики В.Ю. Визе, «герои-челюскинцы», как их тогда называли, писатель Л. Пантелеев, автор «Республики ШКИД», археолог Б.Б. Пиотровский, литературовед и писатель А.Л. Слонимский и др. В 1936 г. среди «интересных людей» оказались северно-русские сказители — крупнейший русский сказочник М.М. Коргуев, певец былин и сказочник Ф.А. Конашков и П.И. Рябинин-Андреев.

Мое отношение к фольклору в то время было еще наивным и мальчишески рационалистическим. Былины из школьных хрестоматий или изданий для детей мне решительно казались скучными. Сказки увлекали меня в дошкольные годы, но позже не интересовали, хотелось читать «о жизни». Поэтому пожилые бородатые мужчины, которые очень серьезно и достойно, но вместе с тем увлеченно и мастерски исполняли былины и сказки, поразили меня. Мне представлялось тогда, что всякие стихи — это нечто для юношества, это, как кто-то сказал, «род кори», которой болеют в раннем возрасте и которой я сам был весьма заражен.

Я не помню точно, но вполне вероятно, что фамилия Рябининых помнилась мне по школьной книге для чтения в сочетании с портретом бородатого осанистого мужика в армяке. Но здесь Рябининым оказался сравнительно молодой мужчина (ему тогда был 31 год), очень подвижный и по-своему щеголеватый.

¹ Впервые опубли.: Воспоминания о П.И. Рябине-Андрееве // Международная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининские чтения'95»: Сборник докладов. Петрозаводск, 1997. С. 51–57. Петр Иванович Рябинин-Андреев (1905–1953) — былинщик из Заонежья, представитель четвертого поколения династии сказителей Рябининых.

В 1937 г. я стал студентом филологического факультета Ленинградского университета и начал заниматься фольклором под руководством М.К. Азадовского. Первые мои курсовые работы были связаны с северно-русскими былинами (позже — с казачьи-ми). В студенческие годы я несколько раз слушал Петра Ивановича в его приезды в Ленинград (в университете и в Союзе писателей). В 1939 г. он пел на Всекарельском совещании по фольклору, в организации которого я принимал участие². К этому времени я уже побывал в экспедициях в Пудожский район Карелии и слышал не только Рябинина-Андреева, но и И.Т. Фофанова, А.М. Пашкову, Н.В. Кигачева, некоторых заонежских певцов. У меня появился материал для сравнения. И должен сказать, что рябининское пение и рябининская манера были несравнимы. Конкурировать с ним мог только И.Т. Фофанов.

Знакомства же с Петром Ивановичем в буквальном смысле этого слова не произошло. Он знал, что в совещании фольклористов принимают участие студенты — ученики М.К. Азадовского (А.Д. Сойманов, Г.Н. Парилова, М.М. Михайлов, В.В. Чистов, я и др.), однако интереса к нам не проявлял. Другое дело старшие фольклористы — М.К. Азадовский, А.М. Астахова, Ю.М. Соколов, Н.П. Андреев, директор института В.И. Машезерский, республиканское начальство. Он с упоением купался в лучах славы — был награжден орденом «Знак Почета», принят в члены Союза писателей, получил, несмотря на свой еще далеко не пенсионный возраст (в 1938–1940 гг. ему было 33–35 лет), персональную пенсию. О нем писали газеты всех рангов, его постоянно приглашали в Москву, Ленинград, Петрозаводск. В 1939 г. вышла книга «Былины П.И. Рябинина-Андреева». Именно так³, а не былины в записи от него. Это также укрепляло Петра Ивановича в убеждении, что все авторские права на наследство всех Рябининых принадлежат ему и никому больше. В действительности же он был хранителем и исполнителем былин, созданных не только задолго до него, но и задолго до его прадеда Трофима Григорьевича Рябинина, чьи заслуги, разумеется, никто не может приуменьшить. Он тоже был талантливым, как и его сын, внук и правнук, но

² Имеется в виду совещание сказителей, открывшееся в Петрозаводске в мае 1939 г. В работе принимали участие М.К. Азадовский, А.М. Астахова, Н.П. Андреев, Ю.М. Соколов и др. (см.: *Новицкий В.* Конференция мастеров народного искусства // Красная Карелия. 1939. 21 мая. № 113; Всекарельское совещание сказителей // Красная Карелия. 1939. 26 мая, № 117).

³ Былины П.И. Рябинина-Андреева / Подгот. текстов к печати, статья и прим. В.Г. Базанова; Под ред. А.М. Астаховой. Петрозаводск, 1939.

именно хранителем и исполнителем былин, созданных традицией. Петр Иванович прекрасно знал о записях П.Н. Рыбникова, А.Ф. Гильфердинга, Е.А. Ляцкого и А.С. Аренского, В.Н. Всеволодского-Гернгросса, экспедиции ГАХН⁴, А.М. Астаховой и др. от его предков, знал он и о весьма высокой оценке рябининской традиции русской наукой.

Слава и популярность Рябинина, официальное отношение к нему связаны были не только со знанием Петром Ивановичем старых былин, доставшихся ему по наследству, но и с сочинением так называемых «новин», т.е. эпических песен, как это тогда называлось, «о советских вождях и героях» — Сталине, Ворошилове, Чапаеве, Антикайнене и др. Они (не получившие в дальнейшем никакой жизни в народной среде) поспешно объявлялись «новым эпическим жанром, в полной мере способным отразить нашу замечательную эпоху»⁵. Необходимо отметить, что процитированные выше строки, внушенные официальным отношением к «новинам», у А.М. Астаховой сочетались со смелыми для того времени отрезвляющими замечаниями: «В его новых созданиях (имеются в виду «новины» П.И. Рябинина-Андреева. — К.Ч.) сильны еще элементы стилизаторства. В художественном отношении поэтому в них наравне с несомненными творческими достижениями есть немало и творческих неудач»⁶. Не буду демонстрировать эти неудачи, они достаточно известны специалистам.

Потом началась война, нахлынули совсем другие заботы, тревоги, проблемы. Известно, что во время войны Петр Иванович не только воевал, но и пел былины в воинских частях и госпиталях. Как это воспринималось его слушателями, мы не знаем. Он об этом не рассказывал.

В 1947 г. я приехал работать в Петрозаводск и стал заведовать отделом литературы и фольклора Института языка, литературы и истории формирувавшегося в то время Карельского филиала Академии наук СССР. В последующие годы мое общение с Петром Ивановичем (вплоть до его смерти в 1953 г.) приобрело совсем иной характер. Дело не только в том, что мы часто стали встречаться и подружиться, я узнал его значительно лучше. Петр Ива-

⁴ Имеются в виду экспедиции 1926–1928 гг. в Заонежье Фольклорной подсекции Государственной академии художественных наук (ГАХН), руководителями которых были Б.М. и Ю.М. Соколовы.

⁵ *Астахова А.М.* От редактора // Былины П.И. Рябинина-Андреева. Петрозаводск, 1939. С. 4. В этом же сборнике его составитель В.Г. Базанов посвятил восемь вполне восторженных страниц «новинам» Петра Ивановича.

⁶ Там же.

нович бывал у меня дома (мы жили близко друг от друга: я на ул. Пробной, он — на Волховской). Я иной раз заходил к нему. Он пел на моих лекциях по фольклору в пединституте, мы встречались в Союзе писателей и во многих других местах.

Петр Иванович в эти годы трагически переживал ситуацию, в которой оказался. В послевоенные годы карельским властям было не до былин и не до Рябининых. Разоренная войной республика напрягалась как могла, чтобы хоть как-то нормализовать экономику, обеспечить людей хоть каким-то жильем, поддержать возвратившихся из эвакуации. В такой обстановке пропагандой фольклора и демонстративным вниманием к сказителям не наживешь политического капитала, как это было до войны. Петр Иванович получал персональную пенсию, имел квартиру в Петрозаводске, был членом Союза писателей... Что еще надо? «Новины» никого уже не волновали и почти перестали появляться в печати (причем не только в Карелии). Сошлюсь при этом не только на мои воспоминания, а на свидетельство фундаментальной библиографии М.Я. Мельц «Русский фольклор». В предвоенные годы учтено несколько десятков публикаций, следовавших одна за другой, связанных с Рябиниными, причем особенно с Петром Ивановичем. После 1945 г. кроме нескольких дежурных упоминаний появилась только одна статья А.П. Разумовой и А. Беловановой «Продолжение традиций»⁷, написанная в предвоенном духе.

Петр Иванович (после непомерного взлета его славы в 1938–1940 гг.) остро переживал охлаждение к нему руководства республики, Союза писателей, прессы и шире и глубже — свою не востребо­ванность. Очень существенным было то, что он стал жить в Петрозаводске, оторвался от родной заонежской почвы. Завершился процесс его «раскрестьянивания». Земляки в опустевших заонежских деревнях все больше ориентировались не на традиционные формы живого народного слова, а на средства массовой информации, городские и профессиональные формы, ранее им недоступные. В результате Петр Иванович потерял, как говорят в таких случаях социологи, свою социальную нишу, перестал быть крестьянином, смотрителем маяка, потерял менталитет сельского жителя, не получив в городе ничего равноценного. Обретя преждевременный «заслуженный отдых» пенсионера в сорок с небольшим лет, он изнывал от безделья, хотя, по деревенским понятиям, умел многое — и плугом, и топором, и рыболовецкими снастями, и косу направить, и «обутку», если надо, починить. Что же

⁷ Разумова А.П., Белованова А. Продолжение традиций // На рубеже. 1946. № 2–3. С. 73–76.

он должен был делать в городе без городской профессии? Литератором он не стал и не мог стать. Рядовым плотником или черно-рабочим — это не приходило ему в голову, даже как бы унижало его. Петр Иванович стал сторожем Зарецкого кладбища. Работа стариковская и не отнимавшая у него много времени. Он начал поживать, к чему его, между прочим, толкала также его должность кладбищенского сторожа (то похороны, то поминки, то родительская суббота, то еще какой-нибудь день поминовения). Попытки что-то писать и печатать не удавались, более того, не встречали сочувствия, хотя у Петра Ивановича были интересные воспоминания, которыми он иногда делился в разговорах. Свидетельством тому — посмертно опубликованные воспоминания в четвертом номере «Кижского вестника» (1994). Попытки требовать вспомоществования в Союзе писателей или Совете Министров, ЦК Карелии, как правило, к успеху не приводили, как и попытки требовать повторного издания сборника былин, отдельных «новин» и пр. При этом он был обычно очень настойчив, как сказала бы сейчас молодежь, «круто качал права», которые за ним все еще признавались и уже не признавались. Отсюда — постоянное чувство обиды. Он был уверен в том, что располагает богатством, но оно оказалось никому не нужным, что было, разумеется, неверным. Богатство это заключалось не в родстве с Рябиниными, его предшественниками, а в первоклассном умении петь старые былины, «держат текст», варьируя его, в хорошем голосе, дикции, точных интонациях. Он владел всем, что нужно было для того, чтобы быть первоклассным исполнителем былин. Он это знал и очень ценил. Когда кто-то это тоже понимал и оказывал ему хоть какое-то внимание — его видимое корыстолюбие исчезало, он оказывался добрым и щедрым человеком.

Как уже говорилось, я несколько раз приглашал его петь былины студентам пединститута, которым читал курс фольклора. Приглашал его для этих же целей и Е.М. Мелетинский, читавший фольклор в университете. Ни он, ни я никогда не слышали от Петра Ивановича ничего о гонораре за выступления. Он был благодарен за то, что его хотели слушать. Этим же я объяснял и его дружеское отношение ко мне. Я всегда был готов его слушать и был рад этому. Он знал, что я советовал приглашать его в школы. Однако я никогда не говорил с ним о «новинах» и их судьбе. Он тоже никогда о них не упоминал, как не любил рассказывать о своих походах в ЦК республики, Совет Министров, правление Союза писателей и т.п.

Таким он мне запомнился, и я с трудом вспоминаю о других его качествах, о которых упоминалось выше. Таким, как мне кажется, он должен вспоминаться всем, кому дорог русский фольк-

лор и шире — русская культура. Потому что остальное — это его частная человеческая судьба, которая была к нему достаточно безжалостной.

Несколько слов о том, как эта судьба складывалась.

Недавно в Париже вышел хороший учебник по русскому фольклору для французских студентов⁸. В нем есть глава «Династия Рябининых», в которой с уважением говорится о рябининской традиции, о четырех поколениях Рябининых. Петру Ивановичу посвящен один абзац, в нем читаем: «Это была карьера, типичная для сталинской эпохи»⁹. В определенной мере это верно, и я уже говорил об этом. Но объяснять все, что случилось с Петром Ивановичем, только ситуацией сталинского времени, — значит игнорировать то, что происходило с ним в 1920-е и в начале 1930-х годов.

Характерна в этом отношении заметка о Рябининых в «Большой советской энциклопедии» (1975, 3-е изд.). Здесь можно прочитать: «Пел былины со значительным отклонением от традиции, иногда создавал внефольклорные произведения — стилизованные “новины”. Значение былинного творчества Р. (неясно, речь идет о П.И. или даже обо всех Рябининых. — К.Ч.) для науки очень невелико»¹⁰.

Я не буду полемизировать с автором написанного. Скажу только, что эти «отклонения» совершенно естественны для обычного варьирования фольклорного текста. Некоторые исследователи утверждали обратное: тексты Рябининых очень устойчивы, что тоже далеко не точно. Здесь же автор утверждает, что он точно знает, в чем Петр Иванович не должен был «отклоняться», даже лучше, чем сами исполнители. Последняя же фраза приведенной цитаты просто чудовищна. Значение записей традиционных былин от Петра Ивановича трудно переоценить. Мне не хотелось бы ломиться в открытую дверь. Каковы бы ни были «новины», они не должны заслонять прекрасного сказительского мастерства Петра Ивановича, как и других Рябининых.

Что же происходило с ним до середины 1930-х годов?

Уже в 1921 г. он впервые встречается с собирателями — ему в это время 16 лет. В 1926 г. в Заонежье побывала экспедиция ГАХН (Москва), и, так как отец Петра Ивановича к этому времени уже скончался, внимание собирателей, интересовавшихся судьбой рябининской традиции, сосредоточилось на Петре Ивановиче.

⁸ Gruel-Apert L. La tradition orale russe. Paris, 1995.

⁹ Ibid. P. 82.

¹⁰ Аникин В.П. Рябинины Т.Г., И.Т., П.И., И.Г. // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1975. Т. 22. С. 460.

че. Заметим, что ему в это время был 21 год. Обычно исполнители былин в таком возрасте не решались петь собирателям в присутствии пожилых людей. Петь былины считалось делом стариков.

В 1932–1933 гг. от него снова записывают М.Б. Каминская и Н.Н. Тяпонкина. Все это способствовало началу профессионализации Петра Ивановича, за которую ему пришлось расплачиваться в послевоенные годы. О «новинах» еще речи не было, если не считать того, что в 1935 г. в беседе с корреспондентом газеты «Красная Карелия» Петр Иванович, воодушевленный знаменитым в то время фильмом о Чапаеве и, видимо, бурной фольклоризацией самого образа легендарного комдива (в то время мальчишки во всех дворах играли «в Чапая»), сказал, что Чапаев — богатырь и он хотел бы спеть о нем былину. Это воспринимается теперь как непроизвольное, не навязанное еще «сверху» движение к «новинам». И только на следующем этапе своей жизни он попал в волны официального прославления и почета. Но даже в те годы самими сказителями он воспринимался как слишком молодой и «торопящийся» человек. Об этом говорила, например, Н.С. Богданова. Я слышал то же самое от И.Т. Фофанова и Ф.А. Конашкова («молод парень!»). В годы наивысшей официальной славы ему было 33–35 лет. Ф.А. Конашкову в 1938 г. было 78 лет, И.Т. Фофанову — 67 лет. Разумеется, это не значит, что былины он пел хуже их. Петр Иванович знал об отношении к нему стариков и в свою очередь отвечал им неприязнью. Более того, «правильным» он считал только рябининский стиль исполнения и рябининские тексты. В этом тоже сказывался переживавшийся им комплекс неполноценности, который перекрывался амбициями. В 1938–1941 гг. этот комплекс казался преодоленным, но после войны он снова возник и приобрел некоторые новые мотивировки.

И, наконец, еще об одном эпизоде. В 1951 г. из очередной командировки в Ленинград я вернулся с только что вышедшим сборником А.М. Астаховой «Былины Севера» — одним из самых значительных сборников былин в истории русской фольклористики. Вскоре я встретил Петра Ивановича и зазвал его к себе, чтобы показать новинку — тем более что в сборнике были впервые опубликованы записи от него, произведенные еще в 1932–1933 гг.¹¹ Он, разумеется, живо заинтересовался книгой и попросил ее на несколько дней. Это было давно желанное событие, и он

¹¹ Имеется в виду второй том «Былин Севера» (первый вышел еще в 1938 г.), изданный в 1951 г. Том посвящен Прионежью, Пинеге и Поморью.

ВАРВАРА ПАВЛОВНА АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ¹

Я не принадлежу к числу тех, кто имеет наибольшее право на воспоминания о Варваре Павловне Адриановой-Перетц. Формально я не был ее учеником, никогда не служил с ней вместе. Но должен сказать, что Варвара Павловна сыграла в моей жизни чрезвычайно большую роль и при этом в очень тяжелые для меня годы.

Я пытался вспомнить, когда состоялось мое знакомство с Варварой Павловной, но не смог, потому что это произошло как-то постепенно. Я просто знал, что это Варвара Павловна Адрианова-Перетц, старался читать ее работы, кланялся ей при встрече. Она могла меня и не знать. Потом кто-то (может быть, это была Анастасия Петровна Евгеньева², или Наталья Павловна Колпакова, или Марк Константинович Азадовский), вероятно, все-таки в первые послевоенные годы представил меня ей, и с тех пор мы стали здороваться и при встречах разговаривать.

Почти сразу после войны я уехал работать в Петрозаводск и пробыл там довольно долго, поэтому встречи с Варварой Павловной были относительно редкими, но все-таки регулярными; и довольно регулярной была переписка. В первые послевоенные годы я писал кандидатскую работу об Ирине Андреевне Федосовой. Во второй половине 1949 г. я эту работу закончил, привез ее в Ленинград и просил Анну Михайловну Астахову прочитать. С Анной Михайловной мы были знакомы с довоенных лет. Она очень опекала «фольклорную» молодежь (и ту, что начинала подрастать вокруг М.К. Азадовского, и другую — всякого, кто только

¹ Впервые опубликовано: *Чистов К.В.* Встречи и переписка с В.П. Адриановой-Перетц // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1992. Т. 45. С. 15–18. Варвара Павловна Адрианова-Перетц (1888–1972) — выдающийся филолог, специалист в области древнерусской литературы; чл.-корр. АН СССР (1943 г.). В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН работала с 1934 г.; с 1947 по 1954 гг. возглавляла Отдел древнерусской литературы.

² Анастасия Петровна Евгеньева (1899–1985) — видный лингвист, работала в институтах системы Академии наук.

интересовался фольклором). Когда же я в следующий раз приехал в Ленинград, Анна Михайловна сказала мне, что мою работу прочитала не только она (и она ей понравилась), но и Варвара Павловна Адрианова-Перетц. Я был чрезвычайно удивлен этим и очень польщен, разумеется. Я не знал еще тогда, что Варвара Павловна готовила книгу «Поэтика древнерусской литературы» и специально занималась причитаниями в древнерусской письменности. В те же годы она написала статью «Фольклор и древнерусская литература», а впоследствии эта статья оказалась нужна для академического трехтомника «Русское народное поэтическое творчество»³. Теперь я понимаю, что именно этим объяснялся ее тогдашний интерес к моей работе о Федосовой.

Путь к защите был сопряжен с трудностями: учился я в Ленинградском университете и связан был с довоенных лет с Пушкинским Домом, поэтому естественно, казалось бы, что это были два учреждения, где мог состояться мой кандидатский диспут. Однако декан филологического факультета ЛГУ Г.П. Бердников⁴ отказал мне, сказав, что уже два или три года на филфаке ЛГУ нет никаких защит (ВАК провалил какое-то количество работ, и они диссертаций к защите не принимают). Это был конец 1949 г. Когда же я пришел к директору Пушкинского Дома Николаю Федоровичу Бельчикову⁵, тот сказал мне, что Сектор народно-поэтического творчества так занят подготовкой трехтомника, что сотрудникам некогда читать текст моей диссертации. Мне оставалось только упомянуть о том, что Варвара Павловна Адрианова-Перетц и Анна Михайловна Астахова уже знакомы с моей работой.

³ Имеется в виду коллективная монография Пушкинского Дома «Русское народное поэтическое творчество» (М.; Л., 1953–1956. Т. 1; Т. 2, кн. 1–2), задуманная в довоенный период М.К. Азадовским. После его увольнения в 1949 г. из Института русской литературы подготовленные тома были признаны неудовлетворительными; в редколлегию была введена В.П. Адрианова-Перетц. К.В. Чистову в данном издании принадлежит глава «Причитания». См.: Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1955. Т. 2, кн. 1: Очерки по истории русского народного поэтического творчества середины XVIII — первой половины XIX века. С. 449–466.

⁴ Георгий Петрович Бердников (1915–1996) — филолог, специалист по истории русской литературы, русскому театру и драматургии; чл.-корр. АН СССР (1974 г.). В Ленинградском государственном университете преподавал с 1947 по 1963 гг.; в 1948–1950 гг. — декан филологического факультета. В 1977–1987 гг. — директор Института мировой литературы АН СССР (Москва).

⁵ Николай Федорович Бельчиков (1890–1979) — филолог, с 1949 по 1955 гг. директор Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

Тогда Н.Ф. Бельчиков предложил мне придти через неделю в то же время и записал это на своем календаре. Как я потом узнал, за 20 минут до назначенного мне времени Николай Федорович ушел из института через черный ход. Я уже почти решил, что придется, наверное, ждать лучших времен. Однако Варвара Павловна и Анна Михайловна взялись устроить мою защиту в Педагогическом институте им. М.Н. Покровского, деканом факультета русского языка и литературы в котором был тогда Теодор Абрамович Шуб⁶. В те годы там работали и Дмитрий Евгеньевич Максимов⁷, и другие ленинградские литературоведы, знавшие меня. Наконец подошел день защиты (это был январь 1951 г.). Оппонировали мне Варвара Павловна и Анна Михайловна. Я был им чрезвычайно признателен, но все-таки не могу не вспомнить, что Варвара Павловна заставила меня пережить во время этой защиты минуты, близкие к отчаянью. Она написала очень одобрительный и вместе с тем, я бы сказал, острый и полный дискуссионности отзыв. Он был мне чрезвычайно интересен, и я приготовился, как мог, отвечать. Но Варвара Павловна, прочитав часть отзыва, оторвалась от текста и увлеклась спором. Надо было знать состав тогдашнего ученого совета Пединститута им. М.Н. Покровского, где одновременно заседали представители кафедр математики, физики, физкультуры, военного дела, общественных организаций и т.д. Мне стало казаться, что в аудитории многие не понимают, обличает ли Варвара Павловна меня в невежестве, в каких-то очень крупных промахах, или идет ученый спор. Однако и сама Варвара Павловна тоже, как она потом рассказывала, спохватилась и в конце речи разразилась дополнительными комплиментами, которые вполне «уравновесили» впечатление тех, кто не понимал сути спора. А надо сказать, что защищаться тогда было «неуютно». Частенько кто-то выступал и заявлял, что в диссертации, мол, нет таких-то и таких-то цитат из Маркса, Энгельса, Ленина или Сталина, иногда находилась необычная и поэтому неверная будто бы (влияние буржуазной науки) формулировка, и все могло тут же провалиться, или ВАК могла не утвердить защиту.

Незадолго перед этим я и получил письмо — одно из первых писем от Варвары Павловны. Она предлагала мне написать главы о причитаниях для второго тома «Русского народного поэтического творчества». Это письмо кончалось так: «Мы очень хотим, чтобы Вы написали об этом вкусно». Я несколько оторопел, потому

⁶ Теодор Абрамович Шуб (1907–1957) — филолог, славист, лингвист.

⁷ Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987) — филолог, специалист по русской литературе Серебряного века и по творчеству М.Ю. Лермонтова.

что в моем лексиконе, оценивающем какие-то исследовательские работы, не было такого слова. Потом я узнал, кстати говоря, что Варвара Павловна могла сказать: «Ну что это за глава? Это подогретая котлета». Может быть, сейчас хозяйкам и не очень понятна суть этого выражения, потому что все подогревают котлеты, извлекая их из холодильников, но когда-то считалось, что вкусны только котлеты со сковородки, с первой сковородки. «Подогретая котлета» означала вялую и безвкусную компиляцию. Я размышлял долго: как мне написать? Действительно, благодарный материал в моих руках, но как написать об этом «вкусно»? Я старался сделать именно так, а затем по поводу этой главы были очень интересные встречи с Варварой Павловной.

В это время появился в Пушкинском Доме некий человек (я сейчас не буду называть фамилию)⁸, присланный на заведование сектором русского народного поэтического творчества после окончания Академии общественных наук. Об этом сюжете надо рассказать потому, что он весьма характерен для писем, которые я тогда получал от Варвары Павловны. В них всегда были какие-то далеко не простые, поучительные и интересные для меня сентенции, советы, какой-то интересный спор (хотя я чувствовал себя еще очень молодым и недостойным этого спора), и вместе с тем все они были пронизаны неизменной иронией. Сегодня, когда я смотрю на портрет Варвары Павловны, приготовленный к юбилейному заседанию, мне кажется, что он был сделан в какой-то печальный для нее день. Обычно у Варвары Павловны были не только удивительно умные глаза, но и с особой озорной искоркой. Что говорить, печальных дней в ее жизни было немало; вероятно, об этом вспомнят те, кто имеет большее на это право. При мне Варвара Павловна никогда не говорила об этом. По своей натуре она была веселым человеком. Таковы и письма Варвары Павловны. Я лишь потом понял это ее «вкусно»: надо «вкусно» заниматься наукой, надо «вкусно» написать — надо уметь мастерски это сделать.

А сюжет был такой: Варвара Павловна в одном из первых писем ко мне пишет (цитирую по памяти): «К нам прислали нового

⁸ Имеется в виду фольклорист Иван Прокофьевич Дмитраков. С ноября 1946 по апрель 1950 г. он учился в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), где защитил кандидатскую диссертацию «Проблема народного творчества в наследии М. Горького». В 1950 г. по указанию ЦК ВКП(б) стал заведующим Сектором устного народного творчества Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. С 1954 по 1955 гг. — старший научный сотрудник сектора. Впоследствии покинул институт.

заведующего фольклорным сектором. Хорошо, что это мужчина. Впрочем, на такой курятник одного петуха мало». Дальше в письмах появляется образ некоего Иванушки и почти всегда так: «Наш-то Иванушка сказал то-то» или «Наш-то Иванушка сделал то-то». Этот «Иванушка» напоминал сказочный персонаж — но не горьковского иронического удачника, а скорее иронического неудачника, который очень часто попадал впросак. Вообще в те достаточно трагические времена всегда бывало и что-то смешное. Например, очень смешны были невежество и глупости, которые произносились во время знаменитого Большого совета в ЛГУ (в 1948 г.), где громили так называемых «космополитов». Нелепым и смешным казалось, что директором ИРЛИ был кандидат наук, а его заместителями — член-корреспондент АН СССР В.П. Адрианов-Перетц и академик М.П. Алексеев. Это было смешно... но, конечно, не только смешно.

И вот этот «Иванушка»... В одном из писем Варвара Павловна написала: «Вы знаете, мы пришли к выводу, что такие люди полезны. Когда написана книга и ее сдаешь в издательство, никогда не знаешь, что скажет человек, который не имеет отношения к науке, но обязан высказывать свое мнение. А вот наш Иванушка прочитает, и нам легче, потому что мы знаем, что может произойти с этим текстом, когда он попадет в руки глупца». Позже этот «Иванушка» был воспитателем в ПТУ.

Находясь в Петрозаводске, я тоже переживал трудные времена... В газете «Культура и жизнь» в одной из статей об А.Н. Веселовском была брошена фраза «попугаи Веселовского»; в местной же печати в подражание столичной появились угрозы: «добить попугаев Веселовского» и «добить их последователей во всех городах, включая Петрозаводск». Тогда была такая традиция: при очередной кампании, как говорил М.Е. Салтыков-Щедрин, искать в каждой луже самое страшное чудовище. Пытались искать «космополитов» и в Петрозаводске, и дела развивались совсем не шутя. Был арестован мой ближайший друг Е.М. Мелетинский, который заведовал кафедрой в Петрозаводском университете.

Были еще аресты, и я ожидал каждую минуту, что то же самое может произойти и со мной. Очень горько, что в это время я уничтожил переписку со многими интересными людьми, опасаясь, что могу принести большие неприятности письмами, которые у меня найдут. Такова была логика тех времен.

Я уже готовился уйти из Карельского филиала Академии наук в краеведческий отдел местной Публичной библиотеки библиографом. Даже договорился об этом. Ученый секретарь Карельского филиала покойный В.И. Машезерский, который мне сочувствовал, буквально вынудил начальство устроить специальное собра-

ние. Оно должно было вынести решение, космополит я или нет. На собрание был приглашен, по его же совету, Владимир Яковлевич Пропп. Он, конечно, постарался доказать, что я вовсе не космополит. Я рассказываю все это, чтобы стало понятно, на каком фоне развивалась тогда наука. И вдруг мне приходит письмо от Варвары Павловны, где она предлагает так выполнить работу, чтобы она была написана «вкусно». Завязалась переписка. Она тоже удивительна для тех времен, потому что они были совсем не эпистолярными. Многие тогда разучились писать письма. Мои друзья повторяли однажды возникшую формулу: «В пору, когда еще существовало книгопечатание, было то-то». А теперь, мол, не вполне так. Это тоже было как бы смешно, но одновременно и трагично. Однако надо было сохранить нравственное здоровье и непосредственность, несмотря ни на что.

В те годы Варвару Павловну весьма интересовали причитания, а я продолжал заниматься ими. Что, казалось бы, мог я сказать ей нового? Однако иногда это удавалось. Например, Варвара Павловна как-то упомянула то место Жития Стефана Пермского, где пермская церковь плачет, как вдова, и плачет, как невеста, а я заметил, что это, пожалуй, первое упоминание русских свадебных причитаний. Варвара Павловна взяла свою книгу, стала листать ее при мне, и мы вместе старались вспомнить, не было ли где-то еще подобного упоминания невесты.

Вне зависимости от темы очередной беседы Варвара Павловна никогда не принимала меня официально, сидя за своим письменным столом, не сажала меня на стул рядом. У нее в комнате был небольшой диванчик, на который мы и садились. Очень часто беседа начиналась вопросом: «А что же нового в этой Вашей фольклористике?» — говорила Варвара Павловна, хотя она, конечно, следила за тем, что происходило в фольклористике, нового я ей почти ничего не мог рассказать. Но она спрашивала и слушала меня. Иногда слушала, чтобы позже (когда оказывалось, что мы неодинаково относимся к чему-либо) поспорить о том, что было только что напечатано или только что обсуждалось.

Иногда это было просто: «А печатаются ли сейчас какие-нибудь интересные стихи?». Иногда даже о ком-то из знакомых, женился он или развелся. Это тоже было интересно. Варваре Павловне ничто человеческое было не чуждо. Так, в одно из первых моих посещений ее дома она стала расспрашивать о том, в какой семье я рос, что у меня за семья сейчас, есть ли у меня дети, как я провел войну и т.д. Ей хотелось меня понять.

Я необыкновенно ценил эти встречи особенно потому, что в это время почти потерял своего руководителя и неизменного покровителя М.К. Азадовского, который был мне так близок. Он

очень болел, а после неслыханных обвинений на Ученом совете 1949 г. был настроен трагически, считал, что его вычеркнули из науки. Время показало, что это совершенно не так: ни один чиновник, в конце концов, не может никого вычеркнуть из науки. Кстати, один из этих чиновников — один из «героев» 1949 г. — уверял недавно в Москве не вполне знающую ленинградские обстоятельства аудиторию, что он состоял в нежной дружбе с «космополитами» (которых громил), в том числе с Г.А. Гуковским и с В.М. Жирмунским. Это было явной ложью: Нина Александровна Жирмунская рассказывала мне, как Виктор Максимович реагировал на попытку этого чиновника «от науки» поздравить академика в один из его юбилеев: Жирмунский послал ему открытку, на которой было изображено здание Ленинградского университета, чтобы тот вспомнил, что там происходило, и одновременно вернул его поздравительную телеграмму. Времена были достаточно тяжкие, и какими-то удивительно светлыми эпизодами, солнечными полянками в дремучем лесу тех времен были мои встречи с Варварой Павловной. Я тогда очень нуждался в поддержке. Варвара Павловна, узнав об арестах, которые происходили в Петрозаводске, дала мне бесценный совет: «Дорогой мой, зажгите свечу в пещере. И работайте». И я пытался так и делать. Это меня тогда не то что бы уберегло от всех неприятностей, но просто психологически усилило, даже ожесточило, поэтому я считал Варвару Павловну моей духовной крестной матерью.

Кстати, она не только оппонировала мне, но и первой произвела в оппоненты. По ее рекомендации я оппонировал на защите кандидатской диссертации Льва Александровича Дмитриева. Это тоже было своего рода поддержкой: я все еще жил в Петрозаводске, но старался, как мог, не быть провинциалом. Одним словом, я бесконечно благодарен Варваре Павловне и судьбе за то, что она свела меня с нею.

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ¹

С Львом Александровичем я познакомился в 1948 г. Незадолго до этого я уехал в Петрозаводск, где мне предстояло заведовать только что организованным сектором Института языка, литературы и истории Карело-Финской базы АН СССР, из которого впоследствии выросли сектора литературы, фольклора и этнографии. Это было прямое продолжение работ, начатых еще в студенческие годы. В составе фольклорных экспедиционных групп учеников М.К. Азадовского мне посчастливилось три лета проработать по приглашению Карельского научно-исследовательского института культуры в русских районах Карелии.

Наша первая встреча с Л.А. Дмитриевым состоялась, по-видимому, в конце июня 1948 г. после окончания студенческой весенней сессии. Рано утром раздался стук в дверь нашей петрозаводской квартиры на Пробной улице за Зарецким кладбищем, и в дом вошли двое молодых мужчин с письмом моего старого друга Владимира Ивановича Малышева². Это были, как они представились, Лев Дмитриев и Евгений Маймин³, студенты филологического факультета Ленинградского университета. По рекомендации Ма-

¹ Впервые опубл.: Одни и те же боги нас посещали, милый друг // Лев Александрович Дмитриев: Библиография. Творческий путь. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 1995. С. 62–70. Лев Александрович Дмитриев (1921–1993) — видный филолог, специалист по древнерусской литературе, чл.-корр. АН СССР (1984 г.), с 1953 по 1993 гг. — научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

² Владимир Иванович Малышев (1910–1976) — видный филолог, специалист по древнерусской литературе, создатель Древлехранилища в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Закончил Ленинградский государственный университет (1939). С мая 1940 по август 1941 гг. был преподавателем Петрозаводского университета.

³ Маймин Евгений Александрович (р. 1921) — филолог, специалист по русской литературе XIX в. См. труды: О русском романтизме. М., 1975; Русская философская поэзия. Поэты-любомудры, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев. М., 1976; Лев Толстой: Путь писателя. М., 1978; Пушкин: Жизнь и творчество. М., 1981 и др.

лышева они должны были продолжить археографические поиски в Карелии, начатые им в предвоенные годы. Меня он просил помочь наметить маршрут, дать первые бытовые и профессиональные советы.

Я откликнулся охотно. В.И. Малышева я ценил очень высоко, мне импонировали его энтузиазм, умение работать в северно-русских деревнях, знание рукописной традиции.

Оба они были вроде и младше меня, еще учились в университете, который я окончил в 1946 г. Но они тоже успели повоевать, и по послевоенным представлениям мы принадлежали к одному поколению, в отличие от тех студентов, которые пришли в университет из школы. Каким-то образом нас сближала и привычная простота быта.

Мы приехали в Петрозаводск осенью 1947 г., получили квартиру только в начале зимы в двухэтажном деревянном доме, построенном немецкими военнопленными из сырых бревен. Из Ленинграда мы привезли несколько ящиков книг. Единственным спальным местом, не считая детской кровати, был матрац, водруженный на два таких ящика. Кровать была подарена нам Л.В. и М.К. Азадовскими для нашего годовалого сына. И, наконец, две наши комнаты украшал простейший фанерный шкаф, полученный еще в Ленинграде по ордеру и с большим трудом привезенный в Петрозаводск.

Наши гости без объяснений поняли, что спать им предстоит на полу на чем бог послал. Столь же прост был и завтрак, который мы могли им предложить. Все вокруг было по карточкам, включая и обеды в столовых. Поселиться в гостинице и питаться в ресторане — такое не могло придти в голову ни нам, ни нашим гостям. За чаем мы разговорились, и через полчаса стало казаться, что мы всегда были знакомы. Лева и Женя, как мы их сразу стали называть, расположили к себе серьезностью, деликатностью, скромной интеллигентностью. Нам очень просто было понять друг друга. Военные годы не казались нам просто потерянными; мы должны были участвовать в грандиозной схватке — в этом не было сомнения. Но теперь самым важным стало другое. Возвращение в университет после демобилизации было шагом совершенно сознательным. Здесь не могло идти речи об инерции — из школы в вуз по совету или инициативе родителей. Мы были в равной степени обуреваемы плебейской жадностью знаний и деятельности. Нам надо было не только учиться, мы рвались поскорее добиться права делать что-то трудное и важное, причем вполне самостоятельно. Взрослыми мы стали в первые же месяцы войны. При этом мы все не блистали здоровьем (а Евгений Александрович Маймин был серьезно ранен, он имел право считать себя

инвалидом), но преодолевали свои недуги, не засчитывая это себе в заслугу. Мы были счастливы тем, что пережили войну, вернулись к нашим родным и друзьям и, наконец, сможем заниматься своим делом. Все остальное должно было устроиться само собой.

Для меня самым главным было то, что наши новые знакомые — люди сознательного выбора. Лев Александрович решил заниматься древней русской литературой и этому выбору остался верен навсегда. Евгений Александрович начал заниматься русской литературой XIX века, но поиск старинных рукописей был для него не мальчишеской романтической затеей, а занятием, к которому он, поработав в семинаре И.П. Еремина⁴, относился как к одной из важнейших отраслей литературоведческих занятий. Это было мне тоже близко и понятно. Избрав фольклор в качестве основной специальности, я, как и многие мои однокашники, под влиянием лекций академика А.С. Орлова и его просеминария занятия древней русской литературой считал необходимыми для понимания XIX и XX века.

Археографическая экспедиция, в которую собирались направиться Л.А. Дмитриев и Е.А. Маймин, была в бытовом отношении отважным предприятием. Они располагали только тем, что получили в качестве стипендии на лето, а она была отнюдь не велика. Продовольственные запасы их были тоже минимальными. Поэтому первое, что мне пришло в голову, — попытаться добиться, чтобы Карело-Финская База Академии наук СССР, как она тогда называлась, признала их своим экспедиционным отрядом и взяла на себя оплату необходимых дорожных расходов и так называемого «полевого довольствия» и выделила хотя бы минимальную сумму для приобретения рукописей. Это представлялось вполне осуществимым, так как академическая База только формировалась и финансирование иногородних специалистов, выполнявших ту или иную работу в Карелии, считалось обычным и необходимым. Вместе с тем финансирование археографической экспедиции было делом далеко не обычным. Можно было натолкнуться на стандартный и привычный для тамошнего начальства вопрос: «А надо ли все это для хозяйственно-экономического развития современной Карелии?». Несмотря на некоторое (впрочем, довольно вялое) сопротивление заместителя директора, помочь все-таки Л.А. Дмитриеву и Е.А. Маймину удалось. Директором Петрозаводского Института истории, языка и литературы был в эти годы замечательный филолог, крупнейший финно-угровед и че-

⁴ Игорь Петрович Еремин (1904–1963) — видный филолог, специалист по древнерусской литературе; профессор Ленинградского государственного университета, заведующий кафедрой русской литературы.

ловец большой культуры Д.В. Бубрих. К счастью, он оказался в Петрозаводске.

Мне удалось поговорить с ним в присутствии двух ученых секретарей: всей Базы АН — В.И. Машезерского и Института истории, языка и литературы — Н.И. Богданова. Первый перед войной был директором Карельского научно-исследовательского института культуры и поддерживал поездки В.И. Малышева в северо-русские районы, в том числе и в Карелию. Н.И. Богданов — ученик Д.В. Бубриха и однокашник В.И. Малышева. Рекомендация Малышева была для него безусловно авторитетной.

Л.А. Дмитриев и Е.А. Маймин получили не только денежную поддержку (она, естественно, была и выражением моральной поддержки), но и важный для них документ, подтверждавший официальный статус их археографического отряда, содержавший просьбу к районным властям оказывать им возможную поддержку.

Выполнить остальные просьбы В.И. Малышева мне было еще легче. Мы посидели в Институте над картой Карелии, наметили маршрут и перенесли необходимые квадраты на кальку. Обсуждали и перспективу поездки в карельские (а не русские) районы Карелии, где тоже были старообрядческие семьи и могли сохраниться рукописи выгорецкой школы. Наконец говорили о некоторых особенностях работы в старообрядческих деревнях (естественно — курение, пользование посудой, некоторые особенности этикета перемещения загожих по избе и т.д.). Но, вероятно, обо всем этом им мог рассказывать и Малышев. Тем не менее они очень терпеливо выслушали меня. Я же по молодости, побывав до войны в трех экспедициях, предполагал себя довольно опытным полевым работником. Кстати, до войны я не только был знаком с Малышевым по факультету, но и, как все ученики М.К. Азадовского, поддерживал с ним экспедиционные контакты.

Итак, все было сделано за день, и наши гости, переночевав, отправились в путь. Когда они возвращались из поездки, меня в Петрозаводске не было — я бродил по Заонежью, собирая воспоминания о И.А. Федосовой. Экспедиционный отчет⁵ и найденные рукописи они сдавали, видимо, Н.И. Богданову.

Такова была наша первая встреча. Все наши дальнейшие отношения, которые длились без малого четыре десятилетия, неизменно подтверждали первое впечатление.

⁵ См.: *Дмитриев Л.А.* Археографические экспедиции в Заонежский район Карело-Финской АССР // Доклады и сообщения Филологического института Ленинградского государственного университета. Л., 1951. Вып. 3. С. 287–290.

Сейчас мне трудно датировать точно, но, по-видимому, в начале 1950-х годов у В.И. Малышева возникла идея добиться передачи коллекции рукописей, постепенно скопившихся в Петрозаводске, в рукописное хранилище Пушкинского Дома. Это было правильно: в Карельской Базе АН не было условий для хранения рукописей, изучением их никто не занимался. Вместе с тем могли возникнуть и затруднения: коллекция собиралась на деньги Базы, и она (при широком взгляде на вещи) представляла для Карелии значительную ценность. Мы снова прибегли к помощи В.И. Машезерского и Н.И. Богданова и, разумеется, не стали просвещать тогдашнего председателя Президиума Базы В.В. Стефанихина, человека малообразованного, типичного чиновника, с точки зрения которого древние рукописи были просто старым хламом. Этот «хлам» составил так называемое «Карельское собрание», влившееся в Древлехранилище Пушкинского Дома, которое теперь носит имя В.И. Малышева. Решение было принято, и без промедления приехал В.И. Малышев. Рукописи были упакованы и увезены в Ленинград.

В последующие годы мы изредка встречались с Л.А. Дмитриевым в мои приезды в Ленинград для занятий в библиотеках. Встречи были краткими, чаще всего в Пушкинском Доме, куда я приходил на заседания отдела фольклора, собиравшие фольклористов города. Всегда было некогда, но встречи эти (то более продолжительные, то мимолетные) были неизменно дружественными. Мы коротко рассказывали друг другу, чем занимаемся, что нового в Ленинграде и в Петрозаводске. Кроме того, я постоянно заходил в отдел древнерусской литературы и в кабинет В.И. Малышева — в те годы ученого секретаря института. Он мне тоже рассказывал о событиях тех бурных для литературоведения лет (известные постановления ЦК, так называемая «борьба с космополитизмом» и др.) и как они отражаются на буднях Пушкинского Дома, особенно «древников» и фольклористов.

В 1951 г. Варвара Павловна Адрианова-Перетц, с которой меня познакомила А.М. Астахова, оппонировала на моей защите кандидатской диссертации в педагогическом институте им. М.Н. Покровского. На защите был и Лев Александрович, и потом мы с ним вспоминали, как Варвара Павловна, увлекшись спором со мной (она была блестящей спорщицей), чуть было не провалила мою защиту: Совет был смешанным, в нем участвовали представители всех кафедр и факультетов, и вряд ли всем было понятно, спорит она со мной или обличает мою безграмотность. Об этом догадалась и Варвара Павловна и закончила свое выступление залпом комплиментов, может быть и не во всем заслуженных. После защиты я стал бывать у Варвары Павловны.

С начала 1950-х годов я начал вместе с курсом русского фольклора и русской литературы XVIII века читать курс древнерусской литературы в Петрозаводском пединституте. Одновременно, вслед за В.П. Адриановой-Перетц, я стал заниматься отражениями фольклора в средневековой письменности (включая причитания) и «Слове о полку Игореве». По моей инициативе карельский поэт Я. Ругоев перевел «Слово» на финский язык (он был опубликован с предисловием Д.С. Лихачева), а я написал для журнала «На рубеже» статью к 150-летию первого издания «Слова»⁶. Все это давало новые и новые темы общения с Л.А. Дмитриевым в мои частые приезды в Ленинград.

Незадолго до этого я получил письмо от В.П. Адриановой-Перетц с предложением написать главу о причитаниях для трехтомника «Русское народное поэтическое творчество»⁷, над которым начали в это время работать фольклористы ИРЛИ в содружестве с «древниками». Руководили всей работой В.П. Адрианова-Перетц и Д.С. Лихачев.

Далее последовала просьба отрецензировать огромную рукопись (без малого 100 авторских листов) первой и второй книг второго тома, которую привозила мне в Петрозаводск А.Н. Лозанова. Эти совместные действия сблизили меня с отделом древнерусской литературы и особенно с его руководителями В.П. Адриановой-Перетц и Д.С. Лихачевым. В 1953 г. мне предложили оппонировать Л.А. Дмитриеву на его защите кандидатской диссертации. Я с удовольствием согласился. Первым оппонентом была В.П. Адрианова-Перетц.

Встретившись в день защиты с Львом Александровичем, мы обнаружили, что оба взволнованы. Лев Александрович опасался своего первого оппонента: она была, как я испытал это уже на себе, блестящим полемистом и вместе с тем очень острым и требовательным ученым. Для меня же это был первый опыт выступления в качестве оппонента.

Защита прошла весьма удачно, если не считать одного забавного и вместе с тем характерного для того времени эпизода. После оппонентских выступлений вдруг взял слово тогдашний уче-

⁶ См.: Чистов К.В. Великий памятник древней русской культуры (К 150-летию первого печатного издания «Слова о полку Игореве») // На рубеже. 1950. № 12. С. 115–125.

⁷ Имеется в виду глава «Причитания» для коллективной монографии: Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1955. Т. 2, кн. 1: Очерки по истории русского народного поэтического творчества середины XVIII — первой половины XIX века. С. 449–466.

ный секретарь ИРЛИ некий Луканов⁸. Он был прислан в Институт ЦК после окончания Высшей партийной школы для «укрепления кадров». Предполагалось, что после окончания Высшей партийной школы он будет назначен в какой-то из обкомов на весьма ответственную работу, но на выпускном вечере он перепил и учинил какой-то дикий скандал (о нем рассказывали различно). После этого начальство решило им «укрепить» ИРЛИ. Деятельность его на ниве литературоведения была, слава богу, весьма непродолжительна. Помнится, что институтская молва развлекалась в то время пародийной молитвой: «И избави нас от Луканова!».

На защите Л.А. Дмитриева он решил продемонстрировать свою бдительность и принципиальность. Сразу после оппонентских выступлений он взял слово и начал буквально так (потом это вошло в литературоведческий фольклор): «Я диссертации не читал, но замечания имею», вызвав заметное движение в зале. Дальнейшее было не менее удивительным. Его внимание привлекла первая фраза автореферата, звучавшая примерно так: в истории России битва на Куликовом поле стоит в одном ряду с победой под Полтавой, Москвой, Сталинградом. Прочитав первую фразу, он остановился, обозрел притихший зал и громко спросил: «Как можно допускать такие сравнения? Вы, товарищ Дмитриев, игнорируете принципиальные различия. Битва под Сталинградом, как и битва под Москвой, закончились разгромом врага благодаря руководящей роли партии и морально-политическому единству советского народа! А где они были в эпоху борьбы с татарами?!». Может, я и не вполне точно передаю грозное «вопрошение», но смысл был именно такой.

Одна из родственниц Льва Александровича, пришедшая на защиту, обращаясь к сидевшему рядом Б.В. Томашевскому⁹, в ужасе шепотом спросила: «Кто это?». Борис Викторович с досадой только рукой махнул: «А-а! Чего-то там секретарь!». Голосование было благополучным, но сам эпизод во второй его части вошел в филологический фольклор.

⁸ Георгий Михайлович Луканов (р. 1913) — кандидат филологических наук. Закончил педагогический институт в г. Горький (1936), затем — Академию общественных наук при ЦК ВКП(б) (1949). В Пушкинском Доме с 15 октября 1952 г. работал ученым секретарем, с 29 января 1954 г. — заместителем директора, с 5 марта 1955 г. — старшим научным сотрудником Сектора советской литературы. Уволился из ИРЛИ 31 сентября 1956 г.

⁹ Борис Викторович Томашевский (1890–1957) — видный пушкинист, с 1946 по 1957 гг. — заведующий Рукописным отделом Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

Застолье после защиты было многолюдным, но очень дружеским, теплым и семейным. Запомнился, кроме всего прочего, один из друзей Льва Александровича, незадолго до этого вернувшийся из лагеря (где он был, если мне не изменяет память, за убийство бандита в порыве самообороны), который читал несколько дилетантские, но пронзительные трагические стихи.

Дальнейшее наше общение с Л.А. Дмитриевым развивалось тоже квантообразно. В 1961 г. я стал работать в Институте этнографии АН и непрерывно курсировал между Москвой, Ленинградом и Петрозаводском, где еще до 1964 г. оставалась моя семья. С 1964 г. я, наконец, «осел» в Ленинграде, хотя по-прежнему заведовал отделом, в состав которого входил и московский сектор, и мне приходилось частенько бывать в Москве. Но все-таки основным местом моей работы стала ленинградская часть Института этнографии, и я проводил в Ленинграде значительно большую часть времени. Теперь мы встречались значительно чаще — в Пушкинском Доме, в Публичной библиотеке, всего несколько раз — в доме Льва Александровича, а часто просто на набережной. Несмотря на то, что и в эти годы мы всегда куда-то торопились и всегда говорили о том, что надо еще повидаться, мне припоминается, что мы всегда хотели и пытались обменяться последними новостями, рассказать друг другу, над чем и как работаем. Мне особенно запомнилась одна из наших бесед. Лев Александрович после издания «Жития Михаила Клопского»¹⁰ продолжил исследование новгородских и шире — северно-русских житийных повестей, однако не оставлял занятий «Словом о полку Игореве». Мы встретились на этот раз на втором этаже ИРЛИ и зашли в Малый зал, чтобы спокойно поговорить. Л.А. Дмитриев рассказывал мне о формирующемся в его сознании плане монографии о северно-русских житиях¹¹, а я — о работе над книгой «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.». Получилось так, что эти две работы стали нашими главными книгами. Помню, что разошлись мы с затаенной радостью: работа наша идет полным ходом.

Но отвлекусь несколько от этого сюжета, чтобы коснуться еще одной темы, постоянно возникавшей в наших разговорах в 1960-е годы. В 1961 г., как я уже говорил, я был приглашен заведовать

¹⁰ Имеется в виду монография Л.А. Дмитриева «Повести о житии Михаила Клопского» (М.; Л., 1958).

¹¹ Выдилось в монографию Л.А. Дмитриева «Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний» (Л., 1973).

отделом этнографии восточных славян Института этнографии АН СССР. В ожидании квартиры, которая была обещана мне, я жил в Москве, снимая комнату. Я стал постоянно бывать на заседаниях сектора феодализма Института истории СССР. Заведовал сектором в эти годы Л.В. Черепнин. Это был сильный и продуктивный коллектив. Я прочитал у «феодалов», как их называли, два доклада и познакомился со многими сотрудниками. В их числе был талантливый и обаятельный, столь рано скончавшийся А.А. Зимин¹². Он с необыкновенной увлеченностью работал над книгой о «Слове о полку Игореве». Оказалось, что мы живем в одном доме, так называемом «золотом кооперативе» Академии наук на ул. Вавилова, и мы часто, сначала случайно, а потом намеренно, сговорившись, возвращались вместе домой после рабочего дня, особенно, разумеется, после заседаний сектора феодализма.

А.А. Зимин был не просто увлечен — он был обуреваем, всецело захвачен своей идеей, согласно которой «Слово» было сочинено в XVIII в. Он способен был говорить об этом часами, отвергая все факты, которые этому противоречили. А.А. Зимину сочувствовали многие среди людей, далеких от нашей древней литературы. Его приглашали в интеллигентные дома, в академические институты, и он обрел славу гонимого борца с официозной трактовкой «Слова». Этому действительно способствовало организованное преследование его руководством Отделения истории. Его концепция клеймилась как антипатриотическая, устраивались демонстративные обсуждения рукописи с явной целью препятствовать ее изданию и «осудить» автора по традиции того времени.

В действительности же оснований для столь политизированной оценки исследования А.А. Зимина не было. На одном из обсуждений я был в числе тех, кто поддерживал требование, выдвинутое Д.С. Лихачевым и Л.А. Дмитриевым, не лишать Зимина права опубликовать хотя бы статью с кратким изложением концепции, чтобы можно было спорить с ним «на равных», без политических ярлыков. Помню, я говорил еще о том, что «Слово о полку Игореве» — столь высокая эстетическая ценность, что совсем не страшно потерять ее в XII в. Тогда мы приобретем великое литературное произведение в XVIII в., хотя такая датировка мне не кажется ни в коей мере убедительной. Кроме того, мои

¹² Александр Александрович Зимин (1920–1980) — историк, специалист по русской истории средних веков, научный сотрудник Института истории (затем истории СССР) АН СССР. Автор концепции, разрабатываемой им с 1963 г., о создании «Слова о полку Игореве» в 1780-е годы архимандритом Иоилем. См.: *Зимин А.А. Слово о полку Игореве*. СПб., 2006.

занятия XVIII в. в семинаре Г.А. Гуковского не дают мне возможности представить себе «Слово» в контексте литературы второй половины XVIII в. Наиболее убедительным и вместе с тем чисто научным опровержением концепции Зимина была, безусловно, книга В.П. Адриановой-Перетц «"Слово о полку Игореве" и памятники русской литературы XI–XIII веков» (Л., 1968).

Затянувшаяся на несколько лет дискуссия, инициированная работой Зимина, предоставляла нам с Л.А. Дмитриевым при встречах постоянный повод для обмена новостями. А.А. Зимин несколько раз давал мне почитать постепенно готовившуюся рукопись, и я при встречах рассказывал о зиминских новостях, о его новых аргументах.

Лев Александрович, так же как и я, с большой симпатией относился к Зимину, высоко ценил его другие работы. Однако мы не могли не видеть, что основная его мысль превратилась в подлинно навязчивую идею и что все возражения и вопросы он перестал воспринимать. Это было удивительно для талантливого историка хорошей школы, много сделавшего для изучения русской истории, преимущественно XVI–XVII вв., и привыкшего к стро-гому отношению к фактам.

В 1973 г. мне снова довелось быть оппонентом Л.А. Дмитриева, на этот раз на защите докторской диссертации «Легендарно-биографические повествования древнего Новгорода». В том же году она вышла отдельной книгой¹³.

Исследование Л.А. Дмитриева было мне интересно не только по некоторой дружеской инерции, не только потому, что его написал Лев Александрович, хотя и это было важно, — я читал все, что он опубликовал. Докторская диссертация была уже не многообещающей пробой, как когда-то кандидатская, а заметным явлением в нашей литературоведческой медиэвистике.

Мне было интересно не только фундаментальное изучение северо-русских житийных повестей, извлеченных из многих рукописных хранилищ, осуществленное впервые в таких масштабах (что само собой разумеется), но и постоянное включение в сферу исследования устных преданий Русского Севера (о Варлааме Хутынском, Адриане Пошехонском, Артемии Веркольском, Варлааме Керетском, Иоанне и Логгине Яренских и др.), которое отвечало моему давнему интересу к северо-русской народной культуре, сложному переплетению в ней устных и письменных традиций. В

¹³ *Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний.* Л., 1973.

моих поездках по Северу некоторые из этих устных преданий мне приходилось записывать (например, о Варлааме Керетском), довелось побывать в местах, в которых действовали эти подвижники (например, в Чупской губе, в нескольких километрах от Керети), оставившие живой след в народной памяти вне зависимости от того, были они канонизированы или нет. Мои впечатления о популярности Варлаама Керетского совершенно не совпадали с утверждением Ключевского о «малой популярности» этого подвижника и его жития. Обнаружение Львом Александровичем еще шести списков жития Варлаама в составе разных собраний вполне совпало с моими экспедиционными впечатлениями. Житие это не приобрело общероссийской популярности, но оно прочно вошло в локальную поморскую традицию, как письменную, так и устную.

Мое оппонентское чтение рукописи Л.А. Дмитриева побудило нас встретиться и обсудить проблемы, связанные с северно-русской житийной традицией. Наш «приватный» диспут не обнаружил значительных расхождений в оценке основного материала, если не считать довольно традиционной для того времени концепции о так называемых «элементах реализма» в житийной повести, которую я не мог принять. Наш разговор был, как обычно, не спором в прямом значении этого слова, а плавным движением навстречу друг другу. Причем тон и стиль такой, признаюсь, в большей мере задавались Львом Александровичем — я больше склонен к порывистому спору.

Мне было очень дорого то, что Лев Александрович, несмотря на очень плодотворные занятия «Словом о полку Игореве», сохранил свой интерес к Русскому Северу. Это было прекрасным продолжением пути, по которому он начал двигаться еще в 1948 г. — с той памятной студенческой археографической экспедиции.

Очень важным было установление казалось бы обыкновенного, но методически существенного факта: канонизация местных подвижников (если это случилось) обычно происходила через 50–100, даже 150 лет после их смерти. Это было временем накопления фактов (или стихийного коллективного вымысла), истолкования, коллективного признания, варьирования в устной традиции. Иначе — временем формирования устной легенды, прокладывавшей путь легенде письменной, временем устной сакрализации легенды не только по ее сути, но и по форме существования и функции. Это позволило со значительным приближением к достоверности понять процесс проникновения устных элементов в письменную традицию, верно оценить один из важных источников дальнейшего пополнения или развертывания отдельных редакций.

Пожалуй, самым активным и интенсивным было наше общение в летние месяцы 1979, 1980 и 1981 гг. Случилось так, что мы (моя

жена и я) в 1979 и 1980 гг. ездили отдыхать в санаторий в Усть-Нарву, а в 1981 г. отдыхали там с внуками «дикарями». Здесь на пляже мы обнаружили целую колонию ленинградских усть-нарвских завсегдатаев, к которым сразу же примкнули и стали проводить много времени вместе. Среди них были трое историков и Л.А. Дмитриев. Кстати, трое из них в ближайшие годы стали членами Академии наук, а четвертый — весьма достойный и самый старший из них — к сожалению, не удостоился избрания. Встречи и живые дружеские беседы на берегу Финского залива то утром, то днем, то на фоне прекрасных фантастических морских закатов незабываемы. Широта интересов, энциклопедическая информированность, интеллектуальная острота этих то общих, то частных бесед заслуживали бы специального описания. Вспомнить о них и легко, и трудно. Запоминались прежде всего их тональность, трезвость и меткость оценки ситуации в науке и в стране, многоголосие мнений и способность быстро и охотно понимать друг друга. Сожалею, что это были только три месяца за эти три года. Позже обстоятельства складывались так, что в Усть-Нарву мы больше не попали.

После 1981 г. наши встречи приобрели прежний характер. Исключением были два не очень веселых эпизода: мы дважды оказывались одновременно в академической больнице (в кардиологическом отделении, которым заведовала замечательный врач — Виктория Михайловна Лотман — сестра Ю.М. Лотмана). Первый раз я попал в больницу несколькими днями позже Льва Александровича. Его госпитализировали по подозрению на инфаркт. Подозрение, слава богу, не оправдалось, но я застал Льва Александровича в постели. Ему велено было лежать. Когда я первый раз пришел к нему в палату, он читал корректуру одного из первых томов замечательной 12-томной серии «Памятники литературы Древней Руси» — популярной и вместе с тем строго научной текстологически, в переводах и комментариях. Он мне с явным удовольствием рассказывал о замысле серии, грандиозном предприятии, которым руководили Д.С. Лихачев и он.

Я каждый день приходил навестить Льва Александровича после «мертвого часа», и мы час-полтора вели нашу спокойную беседу. Лев Александрович, как всегда, был дружелюбен, деликатен и спокоен.

В 1984 г. я был чрезвычайно обрадован известием об избрании Льва Александровича членом-корреспондентом АН СССР по филологическому отделению. Невольно вспомнились наши первые встречи тридцать пять с лишним лет тому назад перед первой археологической экспедицией — двое студентов с заплечными рюкзаками, отправляющиеся в путь. Путь был пройден немалый, с большим успехом и достоинством.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА СТАРОВОЙТОВА¹

В дни, последовавшие за трагической гибелью Галины Васильевны Старовойтовой, как в массовой печати, так и в посвященном ей телефильме повторялось одно и то же утверждение — политическая деятельность ее началась с Карабаха и выдвижения ее в кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР от Армении. Между тем все это совершалось не совсем так. Галина Васильевна не случайно сразу же примкнула к Межрегиональной группе — наиболее прогрессивному крылу депутатов того времени.

Окончив психологический факультет Ленинградского университета, Г.В. Старовойтова сразу же оказалась вовлеченной в то, что возрождавшееся у нас социологическое движение, развитие которого было прервано в конце 1920-х годов. Новое сообщество социологов было связано со стремлением, минуя официальные документы, постановления, распоряжения и газетную декламацию, выйти на прямой контакт с различными группами населения, получить достоверные факты, выяснить подлинное социальное самочувствие этих групп в надежде, что если это удастся сделать, то появятся шансы объяснить как экономическую, так и социальную и бытовую ситуации в целом. Ситуация же в целом ощущалась как кризисная.

Социологическое движение того времени было по своей природе «шестидесятническим» со многими его разветвлениями — от открытого диссидентства (например, выступления против подавления восстания в Венгрии, оккупации Чехословакии и пр.) до активного (хотя и в ограниченных социальных слоях) циркулирования Самиздата и просто стремления честных ученых старшего по-

¹ Впервые опубликовано: Послесловие. Начало пути // Старовойтова Г.В. Национальное самоопределение: Подходы и изучение случаев. СПб., 1999. С. 204–207.

Галина Васильевна Старовойтова (1946–1996) — социолог, этнограф и политический деятель. Основные труды: Этническая группа в современном советском городе: Социологические очерки / Отв. ред. К.В. Чистов. Л., 1987; Десять лет без права передышки [Статьи]. СПб., 1999.

коления удержать и, елико возможно, развивать подлинную антидогматическую науку, основанную на достоверных источниках.

Это движение, разумеется, сразу же встретило двойственное к себе отношение официальных кругов. С одной стороны, среди руководящей элиты обнаружили деятели, которые были бы не прочь продемонстрировать свое «реалистическое» (=квазиреалистическое) отношение к некоторым уж очень явным кризисным явлениям. С другой стороны, первые результаты социологических исследований вызывали резко отрицательное отношение к ним (изучение женского быта в городах Поволжья, состояние дел в комсомоле и т.п.). Так, Василеостровский райком запретил взять в штат Ленинградской части Института этнографии руководителя «комсомольской» темы, выполнявшей по поручению ЦК ВЛКСМ. Он был обвинен во всех грехах, потому что результаты его исследования показали разложение и вырождение комсомола как массовой организации.

Вторым кандидатом, которого по совету опытных социологов я решил предложить в аспирантуру нашего Института, была Галина Васильевна Старовойтова. При поступлении в аспирантуру ей было предложено весьма разумное условие: кандидатский минимум она должна будет сдавать по этнографической программе для того, чтобы быстрее и естественнее войти в жизнь этнографического коллектива и в проблемы, которыми он занимается.

Экзамен был сдан блестяще. За время подготовки к экзамену Галина Васильевна заметно расширила свои представления о национальном составе СССР и национальных проблемах, о тлевших конфликтах, которые в последующие годы приобрели столь угрожающие размеры, особенно на Кавказе и в Средней Азии. Разработка диссертационной темы довершила этот процесс этнографической специализации. Оставаясь психологом и социологом, Г.В. Старовойтова вошла в гущу нараставших национальных проблем, в том числе и в так называемой национальной конфликтологии, которая приобрела в сталинское и послесталинское время столь запутанный характер и требовала реальных знаний и умелого анализа.

Диссертационная тема («Психологическая адаптация нерусских групп в современном русском городе»²), в книжном издании получившая название «Этническая группа в современном советском

² Тема кандидатской диссертации Г.В. Старовойтовой в конце концов была сформулирована иначе. См.: Проблемы этносоциологии иноэтнической группы в современном городе: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1980.

городе» (Л., 1987. 174 с.), была поддержана Ученым советом Института, однако отдел науки горкома отказался дать разрешение на массовый опрос, как того требовала тема, аргументируя это кроме всего прочего тем, что Старовойтова не была членом КПСС. Кроме того, руководству отдела представлялось, что оно само все знает, что нужно знать в сфере межнациональных отношений, и опрос мог якобы только привлечь внимание к несуществующей теме.

Пришлось прибегнуть к некоторой организационной «хитрости». Коллеги по недавно образованному социологическому отделу московской части Института этнографии АН СССР получили разрешение ЦК на пробный опрос в ряде городов Советского Союза, в том числе и в Ленинграде. Мы договорились о том, что наша малая социологическая ячейка войдет в состав большой бригады под руководством Ю.В. Арутюняна и Л.Н. Дробижевой. Выполняя их поручение, мы получили доступ к картотекам паспортных столов для выполнения своей задачи — изучение татарской, армянской и эстонской группы (к этому времени уже появился сравнительный материал, собранный в Татарии, Армении и Эстонии местными социологами). Кроме того, эти три группы были достаточно разнородными в культурно-бытовом и конфессиональном отношении. Был разработан специализированный тип опросных листов, обучена группа студентов кафедры этнографии университета, изучены соответствующие материалы, которые подготовили опрос, и обеспечено машинное время для компьютерной обработки собранного материала.

Осуществляя эмпирическое исследование, Г.В. Старовойтова не меньшее значение придавала общим вопросам теории социологии, особенно этносоциологии. Поэтому более общее название ее книги по сравнению с первоначальной темой для диссертации оказалось оправданным. Прежде всего — это выяснение особенностей этнокультурных процессов, характерных для этнодисперсных (т.е. расселенных рассеянно, некомпактно) групп по сравнению с группами, расселенными на компактной территории и имеющими особенно интенсивные внутригрупповые связи. Это особенности сравнительно небольших групп, расселенных в большом многонациональном городе. При этом была предпринята попытка выделить элементы этнической идентификации (как в материальном быту, так и в психологической, включая обрядовую, сфере). И, наконец, были намечены основные черты этнических установок и этнокультурной ориентации татар, армян и эстонцев в условиях развитого двуязычия. Книге был предпослан обзор важнейшей советской и зарубежной литературы по этим проблемам.

Параллельно с книгой была опубликована целая серия статей, преимущественно теоретического характера.

Книга Г.В. Старовойтовой была самодостаточна. Однако она задумывалась и выполнена как одно из важных звеньев серии работ восточно-славянского сектора Института этнографии АН СССР. Предполагалось, что в ней будут разработаны узловыe вопросы складывавшейся в своих основных очертаниях этнографии города (урбанэтнографии), до 1960-х годов в Советском Союзе не существовавшей. Цикл этих работ открывался двухтомником М.Г. Рабиновича по этнографии русского города феодального периода³, книгой Н.В. Юхневой «Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга второй половины XIX — начала XX в.»⁴, работой О.Р. Будиной и М.Н. Шмелевой о современных малых городах Средней России⁵ и др.

В последующие годы Г.В. Старовойтова не порывала своих связей с восточно-славянским отделом Института этнографии РАН. Переехав по семейным обстоятельствам в Москву, она в составе группы сотрудников разрабатывала проблемы долгожительства в Абхазии, Армении и Азербайджане.

Когда начал обостряться карабахский конфликт, А.Д. Сахаров, который хотел спокойно и объективно разобраться в нем, обратился в Институт этнографии с просьбой, чтобы его сопровождал один из этнографов, ориентирующийся в закавказских проблемах. Дирекция командировала в эту поездку Г.В. Старовойтову, т.к. к этому времени она была действительно знакома с закавказскими проблемами. Известно, что некоторое время она была советником Б.Н. Ельцина по национальным вопросам. К этому времени она приобрела уже значительный опыт обслуживания и решения крупномасштабных политических проблем. Путь ее к ним начался с конкретно-этносоциологических исследований, связанных в первую очередь с Ленинградом-Петербургом.

³ Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города: горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978; Очерки материальной культуры русского феодального города / Отв. ред. В.В. Покшишевский, К.В. Чистов. М., 1988.

⁴ Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга, вторая половина XIX — начала XX в.: Статистический анализ / Под ред. К.В. Чистова. Л., 1984.

⁵ См.: Будина О.Р., Шмелева М.Н. Город и народные традиции русских: По материалам Центрального района РСФСР. М., 1989.

О НАУКЕ

Мои учителя служили науке в гораздо более тяжелых условиях, чем нынешнее и даже мое поколение. Сталинские репрессии, прессинг со стороны цензуры, идеологическое давление — вот что выпало на их долю. Но мои учителя выстояли и передали эстафету мне и моим товарищам.

Меня учили в позитивистском духе. Знание фактов и уважение к ним обязательно в каждой научной работе. Но в науке кроме знаний должна быть еще честность. Заключается она в том, чтобы предположения, гипотезы не превращать в факты. Это губительно для науки. Ведь потом из этих псевдофактов вырастают новые «факты», которых вовсе никогда не было. Иногда читаешь книгу: красивая теория, красивая концепция, но здесь немножечко преувеличено, там чуть-чуть прибавлено. Я всегда говорил своим ученикам-аспирантам: «Если получается слишком красиво, значит в работе что-то не все в порядке».

Еще в науке важна этика, в том числе — готовность прийти на помощь своему товарищу, быть щедрым по отношению к научному содружеству. Нельзя подминать все под себя. Надо уметь понимать, какими научными интересами живут твои коллеги, а не замыкаться только на себе. Нельзя быть эгоцентриком. Вот эгоцентризм я ненавижу! Когда человек чувствует себя пупом земли и считает, что все происходящее с другими не столь важно и имеет мало значения, — это уже не ученый.

Про себя я могу сказать — я счастливый человек. Мне всегда фольклористика казалась очень увлекательной наукой. Если б мне были отпущены новые 80 лет, я бы и эти 80 лет отдал той же науке.

II. КОЛЛЕГИ ГОВОРЯТ О КИРИЛЛЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ЧИСТОВЕ

СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА ЛОЙТЕР

(Карельский государственный педагогический университет,
Петрозаводск)

[1999 г. Интервью корреспондента Петрозаводского радио
Николая Исаева]

Я не была студенткой Кирилла Васильевича, не была его аспиранткой, но я испытала его влияние и бесконечно ему благодарна за многое. Сейчас я абстрагируюсь от этого и хочу сказать все-таки о том, что сделал для Карелии Кирилл Васильевич Чистов — один из виднейших ученых-гуманитариев России и один из крупнейших организаторов и создателей этнографической и фольклористической науки.

Один литератор как-то сказал, что Ахматова уже одним своим тоном или поворотом головы превращает нас в homo sapiens'ов. Участие в науке Карелии таких ученых, как Кирилл Васильевич, уже делает ее значительной, серьезной, заметной во всем мире. Связь Чистова с Карелией началась еще в конце 1930-х годов, когда он студентом приехал в Пудожье и открыл Ивана Терентьевича Фофанова. Он записал от него 14 прекрасных героических былин. Фофанов помог Чистову понять Ирину Федосову, которая стала главным героем всей его научной жизни. Итогом этой работы явилось двухтомное издание в серии «Литературные памятники» (не каждый ученый и литератор удостоивается печататься в таком издании) — «Причитанья Северного края, собранные Барсовым». Это второе издание Барсова. Барсов, так уж получилось, — единственный из целой плеяды выдающихся собирателей, чье собрание никогда не переиздавалось. Чистов вместе со своей уже покойной теперь женой, Беллой Ефимовной Чистовой, подготовил это переиздание.

Когда взяла эту книгу в руки, я испытала восторг и восхищение. Восхищение многотрудьем: ведь это титаническая работа. Восхищение тщательностью, даже ювелирностью. Сейчас очень

часто переиздают труды забытых писателей: делают факсимильное воспроизведение, пишут вступительную статью. А здесь я поняла, что значит весь собирательский опыт Чистова. Он соединил в себе теоретика и «полевика», что случается очень редко. Все теоретические обобщения прошли не только через разум, но и через его сердце. Он заново просмотрел весь архив Барсова, изучил все тексты. И первый том — это восстановление, реставрация недостающих строк, уточнения, это текстологическая экспертиза. Такого текстологического комментария, я берусь утверждать, нет ни в одном классическом сборнике русского фольклора. Тексты прокомментированы не только лингвистически, не только словарно, не только объяснено значение слов. Это мифологический комментарий, этнографический, исторический, юридический, социологический. Какая колоссальная, неподъемная работа! Иногда комментарий перерастает в отдельную статью. В каждом комментарии — ссылки на ученых, которые хоть что-то сделали в этом отношении. Кирилл Васильевич проявил внимание к работе коллег независимо от их ранга. Это работа настоящего ученого. Этот огромный вклад в науку.

Авторитет Чистова в фольклористике абсолютно заслуженный. У него заслуженная слава, которую я хочу выразить словами из былины Ивана Терентьевича Фофанова: «А тут, как Сухману Рахментьеву, ай нунь слава пошла, а славушка ему — по белу свету...». Такая «славушка» и пошла «по белу свету» об ученом Кирилле Васильевиче Чистове.

ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА

(Карельский государственный педагогический университет,
Петрозаводск)

[1999 г. Интервью корреспондента Петрозаводского радио
Николая Исаева]

Для многих в Карелии, в городе Петрозаводске, имя Кирилла Васильевича Чистова — это высочайшее имя. Когда его произносят, в сознании встают прекрасные монографии: о сказительнице Ирине Федосовой, «Русские народные социально-утопические легенды XVIII–XIX веков», «Русские сказители Карелии». Для многих Кирилл Васильевич предстает как прекрасный организатор науки в Карелии. Кирилл Васильевич — и прекрасный работник, который собирал крупицы золотого народного слова.

В мою жизнь Кирилл Васильевич Чистов вошел в студенческие годы. Но познакомилась я сначала не с ним, а с его незабвенной женой — прекрасным преподавателем, эрудированнейшим человеком Беллой Ефимовной Чистовой, которая преподавала в университете. Нас, первокурсников, сдружил и собрал интерес к студенческому театру, который возглавлял тогда Юрий Александрович Сунгуров. Белла Ефимовна входила в творческий совет театра, и именно тогда мы почувствовали эрудированность этой женщины, какое-то особое благоговейное ее отношение к искусству, умение соединить слово и дело. И, самое главное, внешний облик этой женщины полностью соответствовал ее богатому внутреннему содержанию. Тогда в студенческом театре была поставлена пьеса «Такая любовь». Именно этой пьесой некогда начиналось художественное вещание карельского телевидения.

Это было самое начало 1960-х годов. Тогда-то я и пришла впервые в дом Чистовых. Кирилл Васильевич как ученый казался мне в то время стоящим на каком-то особом пьедестале. Тем более что он был фольклорист, а я всегда испытывала большое пристрастие к литературе. Белла Ефимовна Чистова поставила великодушный эксперимент, который полностью оправдал себя. Она впервые по-

пробовала, чтобы студенты написали дипломное сочинение по русско-зарубежным связям. Именно поэтому я штудировала немецкий язык, переводила трактаты Иоганнеса Бехера. Защитила диплом я благополучно. Мне всегда очень хотелось учиться. Но на кафедре Карельского университета места в аспирантуру не нашлось. Я уже работала в районе, когда в какой-то момент возникла возможность стать соискателем в секторе фольклора Карельского филиала Академии наук, а затем добились места в заочную аспирантуру.

И Кирилл Васильевич Чистов, который жил уже в Ленинграде, согласился быть моим научным руководителем. Вот с этого момента и началось мое истинное понимание, что такое наука, какие люди ее делают, какое значение имеют в науке истина и высокая научная планка. Темой моих изысканий стал фольклор в творчестве замечательного русского поэта Алексея Константиновича Толстого. Кирилл Васильевич Чистов прежде всего замечательный фольклорист, и я была поражена, как хорошо он знаком с литературой XVIII–XIX вв., как великолепно знает русских поэтов, многое помнит наизусть, как тонко чувствует особенности поэтического слова. Кирилл Васильевич Чистов был удивительным руководителем. Он умел направлять и одновременно давать свободу. Умел задавать неожиданные вопросы. Как-то он меня спросил: «Знаете, Тамарочка, что было девизом графа Перовского?» (Алексей Константинович Толстой — из знаменитого рода Перовских). Я ответила, что не знаю. «Посмотрите в словаре Даля: не слыть, а быть». Эти слова, начертанные на гербе Перовских, в полной мере можно отнести и к Кириллу Васильевичу Чистову.

Бывая в доме Чистовых, я видела очень интересный его уклад. И Белла Ефимовна, и Кирилл Васильевич были в полном смысле «интеллигенты-труженики». Это люди не просто преданные науке. В подвижнической жизни они видели радость. Постепенно Кирилл Васильевич Чистов вводил меня в преподавание. Как-то, приехав к нему на очередную консультацию, я вместе с ним пошла на лекцию, которую он читал студентам Ленинградского государственного университета. Причем в какой-то момент лекции (и это было очень кстати) он объявил: «Вы знаете, среди нас находится специалист по творчеству Алексея Константиновича Толстого». Я была смущена, но и в какой-то степени польщена. Специалист я была, естественно, только начинающий.

В доме Чистовых долгое время не было телевизора. Без этого «ящика», простите мое просторечие, многие ныне не представляют себе жизни. А Чистовы умели всегда видеть, слышать и ощущать живое искусство. Выставки, театральные премьеры, дискуссии, знакомства с режиссерами — это было обязательным элемен-

том их жизни, их дома, быта этой удивительной семьи. Они не только творили науку, не только учили учеников, но и воспитывали и вырастили двух прекрасных сыновей. Один из них стал известным физиком, а другой пошел по стопам отца, известный теперь уже антрополог и этнограф — Юрий Кириллович Чистов.

Ученый, в моем сознании — это не только автор трудов, которые существуют отдельно от личности. Это человек, идеи которого потом трансформируются в твоём сознании. Чистов всегда поражал меня своим отношением к блистательной когорте его учителей, которое он пронес через всю жизнь. Одним из любимейших его учителей был Марк Константинович Азадовский, крупнейший фольклорист. И Кирилл Васильевич мне говорил: «Знаете, Тamarочка, какой был его любимый девиз? Не по силам цели выбирай, а по целям силы напрягай». Этот девиз учителя стал, на мой взгляд, и девизом Кирилла Васильевича Чистова.

ВАДИМ СОЛОМОНОВИЧ БАЕВСКИЙ

(Смоленский государственный педагогический университет)
[Антропологический форум. СПб., 2005. № 2. С. 390–397]

Я литературовед, не могу оценивать научную деятельность этнографа и фольклориста К.В. Чистова. Живя с ним в разных городах, встречаясь от случая к случаю, я не претендую на то, чтобы дать здесь его более или менее цельный литературный портрет. Что я в состоянии, так это, не доверяя памяти, предложить читателю россыпь частных фактов, сохранившихся в моем дневнике, в письмах самого Кирилла Васильевича ко мне и в письмах еще двух-трех людей. И еще зарисовку, по необходимости беглую, той замечательной среды, к которой принадлежит Кирилл Васильевич, которую я тридцать лет наблюдал со стороны и которая под давлением времени уходит в прошлое. А дальше — *quod non est in actis, non est in mundo*¹.

Нас познакомил Давид Самойлов летом 1977 г. Он уже год как перебрался из Москвы в Пярну, Кирилл Васильевич с Беллой Ефимовной и мы с женою там отдыхали во время отпуска. С Чистовыми Самойлов был знаком с «до войны», мы с ним познакомились и подружились в конце 1960-х годов.

Кирилл Васильевич и Белла Ефимовна сразу (не то что с первой встречи, а с первых минут первой встречи) стали держаться с нами вполне непринужденно, как будто бы мы давно знаем друг друга. Тут же они нам сообщили, что у них есть двое женатых сыновей, и предложили познакомить их с нашими дочерью и зятем. Я был несколько удивлен такой открытостью и объяснил ее себе тем, что они уже раньше что-то благоприятное знали о нас от общих знакомых; возможно, и Самойлов в своей шутливой манере дал нам какую-то рекомендацию, предрасположившую их к нам. Через 12 лет, в поздравительном письме в связи с моим

¹ Чего нет в документах, того нет на свете.

60-летием, Кирилл Васильевич написал: *«Я обнимаю Вас — без всяких сантиментов — я рад дружбе с Вами и люблю Вас. Дружба в моем возрасте приобретаются не так-то просто и легко, как было в юности»* (25.10.89).

Мысль познакомить наших детей удивила меня. Я представлял себе, что отец может привести пятилетнего сына на детскую площадку и сказать ему, указывая на малыша почище, копающегося в песочнице: «Играй с ним». Но пытаться сблизить молодых людей? Молодежь во все времена отличалась особенной независимостью поведения. Однако, к моему удивлению, желание Кирилла Васильевича и Беллы Ефимовны осуществилось самым полным образом. Готовясь писать этот очерк, я спросил дочь, как все было, и вот что она мне ответила.

«Мите было лет семь, Анечке пять, значит, было это с лишним 20 лет тому назад. Белла Ефимовна и Кирилл Васильевич, узнав у Вас адрес, пришли к нам на дачу в Усть-Нарве, ведя Анечку за лапки, и явочным порядком с нами познакомились, объяснив, кто они такие и откуда про нас знают. Они жили на даче, которую снимали в Усть-Нарве, месяце и с нами общались, а потом уехали, оставив дачу и Анечку Ленке и с Юркой, которые тоже с нами сразу решили подружиться. Потом туда же приехали Фима с Ирой и тоже сразу... Ну вот, а там и пошло, вплоть до того, что Кирилл Васильевич давал мне рекомендацию в Союз писателей, а с Беллой Ефимовной мы все подумывали делать немецких экспрессионистов для Литпамятников, да вот не пришлось» (электронное письмо от 02.10.2004). Однажды Кирилл Васильевич мне написал: *«Мы очень рады, что наши дети подружились»* (18.07.84).

Мы с Самойловым иногда переписывались стихами. Чаще всего сонетами. Зимой, узнав, что я побывал в Ленинграде, он в одном из присланных мне сонетов спросил:

Как поживают милые Чистовы?
Все так же ль мил задумчивый Кирилл?
Надеюсь, все в порядке и здоровы
И все полны энергии и сил.
Что говорили? Кто о чем острил?
У нас-то, в Пярну, редки острословы.
И сам я одичал, как гамадрил,
Все только ем вареники да пловы.

Летом мы с Б.Я. Бухштабом, моим старшим другом, замечательным ученым, и его женой Галиной Григорьевной отдыхали в Латвии, а Кирилл Васильевич и Белла Ефимовна опять в Пярну. Самойлов мне написал: *«Здесь тихо. Погода отвратительная. Знакомых не очень много. Приехали милые Чистовы с внуком. Кирилл — благороднейший человек. Привез армянского коньяку, удержавшись его выпить в Ленинграде»* (14.08.78).

Чуть позже, когда, как написал мне Бухштаб, *«опять начался этот досадный длинный перерыв между каникулами»*, от Самойлова уже ко мне домой в Смоленск пришло письмо, начинавшееся несколько меланхолично:

Разъехались Бухштабы,
Уехали Чистовы.
Приятно, что хотя бы
Все живы и здоровы!
(11.09.78)

Бывая в Ленинграде-Петербурге, я всегда старался повидать Кирилла Васильевича и Беллу Ефимовну. Следы некоторых встреч сохранились в моем дневнике. *«У К.В. Чистова я два с половиной часа “держал площадку”, рассказывал о Пастернаке. Кирилл Васильевич получил государственную премию. Половина передается в фонд мира, половину пропивает Совет по присуждению премий in cogrore. Звонили Самойлову»* (01.12.81). Что два с половиной часа «держал площадку», записал потому, что быть в центре внимания мне не свойственно. Только теплое, доброжелательное отношение хозяев дома и нескольких гостей заставило меня преодолеть обычное стремление оставаться в тени.

«Вчера вечер у Чистовых. Белла Ефимовна рассказывала о том, как интервьюировала для своей работы над Маяковским Лилу Брик. Катанян стоял возле и следил, чтобы Л.Б. не поговорилась. Имени переводчицы, работавшей в Германии над стихами Маяковского, Л.Б. никак вспомнить не могла, но меню берлинских ресторанов помнила твердо. В переписке Л.Б. с Маяковским, сказала Белла Ефимовна, поражает постоянное требование денег. Л.Б. страстно хотела машину, кончила курсы и на стояла, чтобы Маяковский привез из Парижа «рено». Все три квартиры были построены на деньги Маяковского. В Петровском Белла Ефимовна и Кирилл Васильевич заговорили со Шкловским о Л.Б. и ее муже. Шкловский сказал:

– Катанян? Это самый близкий из посмертных друзей Маяковского» (25.11.86).

А вот колоритный рассказ о выдающемся исследователе Некрасова и наших послевоенных государственных порядках, услышанный мною в другой раз. «К.В. Чистов: Гина не брали в аспирантуру (фронтовик, капитан запаса, член партии, окончил с отличием). С трудом пробился к секретарю обкома Кузнецову. После проволочек добился обращения обкома в управление университетов министерства. Получил разрешение поступать в аспирантуру, но только на кафедру зарубежной литературы, не русской. Причем не к руководителю-еврею (Жирмунского Кузнецов отверг). «Вот, к А.А. Смирнову». М.М. Гин рассказал об этом Евгеньеву-Максимову. Тот долго хохотал: «Абрашка Зак!» (22.08.87). Выдающийся германист, исследователь средневековой и ренессансной литературы, знаток Шекспира, около полувека состоявший профессором Петербургского (Ленинградского) университета, Александр Александрович Смирнов был внебрачным сыном еврея-банкира.

После смерти Самойлова я написал небольшую книгу воспоминаний «В нем каждый вершок был поэт». Когда она еще не была опубликована, я, отправляясь в очередной раз в Петербург, захватил распечатку с собой. В дневнике отмечено: «*Был у Чистовых, читал записки о Самойлове. Имел значительный успех, даже у маленького Кирюши*» (22.09.91). Кирюша — внук Кирилла Васильевича, сейчас отнюдь не маленький. Еще одна совсем лаконичная заметка: «*Позавчера у Чистовых. Разговор о Самойлове и его семье*» (21.04.93).

Помню, во время прогулки на молу в Пярну, обдуваемый свежим ветром с залива, под звонко-голубым небом, освещенный негреющим солнцем, наслаждаясь радующим глаз видом серебристо-голубовато-черных волн и золотисто-сероватого песка на пляже, не особенно выбирая дорогу среди валунов, из которых сложен мол, Кирилл Васильевич увлеченно рассказывал мне о... о чем бы вы думали? В такую минуту? О Жирмунском. О том, как Пропп пришел к нему с рукописью «Морфологии сказки», и он в качестве председателя отдела искусств ГИИИ подписал эту книгу к печати. Как эффективно Жирмунский участвовал, неожиданно для диалектологов-русистов, в составлении диалектологического

атласа русского языка. А в виде некоторого обобщения Кирилл Васильевич сказал:

– Знаете, чем Виктор Максимович отличался от нас с вами? Когда мы в своих занятиях переходим от одной темы к другой, предыдущая работа у нас помнится смутно, забывается. А у Виктора Максимовича все, чем он на протяжении жизни занимался, все постоянно было в памяти наготове.

Когда мы долго не встречались, Кирилл Васильевич информировал меня о событиях научной жизни Ленинграда-Петербурга в письмах. Вот пример. *«Из здешних новостей — 6 февраля защищает докторскую А. Лавров «А. Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность»». А позавчера рекомендована к защите докторская А. Байбурина «Проблемы семиотики традиционной культуры» (18.01.95).*

Случилось так, что я был в Ленинграде, читал лекции в Герценовском, когда в университете на кафедре русской литературы состоялось заседание, посвященное памяти М.К. Азадовского. Кирилл Васильевич и другие мои ленинградские друзья пригласили меня прийти, и это событие навсегда запечатлелось в моем сознании (и дневнике). Встреча была назначена не в помещении кафедры, а в большой аудитории. Собрались, расселись, ждем начала, а слушатели все прибывают. Пришлось переходить в зал. И зал наполнился до отказа, но проходить уже было некуда. Организатором этого события был Кирилл Васильевич. Когда все кончилось и я выражал ему свое восхищение, он сказал: «Я пригласил участвовать Ю.М. Лотмана и Г.А. Бялого. И, когда они согласились, понял, что все будет хорошо».

Действительно, эти два оратора говорили блестяще. Как, впрочем, другие некоторые. Но я в соответствии с темой настоящего очерка привожу только начало записи в моем дневнике. *«В университете совершенно своеобразная атмосфера, которую я отчасти ощутил в феврале на Чтениях памяти Жирмунского. К сожалению, тогда я ничего не записал. Ленинградский ученый мир связывает столь многое: учение в университете на филологическом факультете у неповторимо блестящей плеяды учителей; война; блокада; неправые гонения 30-х и, особенно, конца 40-х годов; родственные связи. Седые головы, обмен книгами, изысканная вежливость, учтивость; точно знают, кто что знает, кто чего стоит — а знают много, дорогого стоят».*

Чистов рассказывал, что из спецсеминара Азадовского вышло пять книг — сборников фольклора, подготовленных студентами, два сборника научных работ, еще три книги не вышли из-за

начавшейся войны. Сборник Новикова был включен в список обязательной литературы, которую он как студент должен был к выпускному экзамену усвоить. «Ты номер 27 по списку выучил? — с показной заботливостью шутя спрашивали у него соученики. — Смотри, а то не сдашь». Номер 27 был его собственный сборник» (17.12.78).

Несколько позже я сделал в дневнике еще одну запись, дополняющую предыдущий абзац о неповторимой университетской атмосфере. Она представляет собой некоторое обобщение впечатлений о моих старших друзьях или более далеких знакомых. Они у меня перечислены: Б.Я. Бухштаб, Л.Я. Гинзбург, Б.Ф. Егоров, А.В. Македонов, Б.Н. Путилов, С.А. Рейсер, К.В. Чистов, Е.Г. Эткинд. С В.М. Жирмунским я знаком не был, с Д.С. Лихачевым был знаком слишком мало. Запись моя озаглавлена «Научная элита», она довольно велика, так что приведу только самое существенное.

«Главное в них — надежность. Во всем. В науке — близкое к исчерпывающему знание своего предмета. Не просто уровень мировых стандартов — они-то и устанавливают этот уровень, определяют его. Западно-германский лесковед приезжал встретиться с Борисом Яковлевичем. Он был в больнице. Я предложил встречу с кем-либо другим, но он отказался — посидел в архивах и уехал. Бухштаб ему нужен или никто. Если нужна справка — откуда эта цитата? — из Москвы звонят Рейсеру или Бухштабу.

Надежность житейская. Они во многом могут помочь и всегда готовы помочь. Нет, не готовность помочь, а стремление помочь. Преданность друзьям.

Надежность этическая.

Изысканная вежливость, корректность. “Дама”, не “женщина”.

Точность мышления и речи не только в науке.

Личное мужество перед лицом боли, болезни, смерти.

Живой интерес к общественной жизни, к международной политике.

Нет глубокого интереса к музыке, театру, живописи. Но С.А. Рейсер — знаток архитектуры Ленинграда.

Арелигиозность полная» (17.06.83; 19:30).

Кирилл Васильевич привлек меня к участию в двух больших петербургских научных встречах. Одна из них — Чтения памяти В.М. Жирмунского — упомянута выше. Другая связана с именем Б.М. Эйхенбаума. В 1986 г., когда исполнилось 100 лет со дня его

рождения, в Ленинградском университете, в Пушкинском Доме, в Ленинградском отделении Союза писателей (в тех учреждениях, где его травили как космополита) прошла многодневная и многолюдная научная конференция, посвященная памяти ученого. Я прочитал на ней доклад «Б.М. Эйхенбаум — исследователь стиха». Суть его состояла в том, что некоторые утверждения Эйхенбаума, опиравшиеся на наблюдения и анализ, я проверил с помощью статистики. Наши доклады опубликованы не были, а сам я свой доклад не напечатал: мой большой друг С.А. Рейсер сделал мне существенное замечание, опиравшееся на устные суждения Эйхенбаума (Рейсер был секретарем его семинара); следовало текст доклада пересмотреть, меня отвлекли другие дела. Недавно я получил предложение опубликовать статью об Эйхенбауме у нас в Смоленске. (Эйхенбаум родился на Смоленщине. Не в Смоленске, как написано в замечательной во многих отношениях книге Дж. Кертиса «Борис Эйхенбаум: Его семья, страна и русская литература» [СПб.: Академический проект, 2004], а в уездном городе Красном, где его отец успешно служил врачом земской больницы.) Я отыскал в своем домашнем архиве текст доклада, пролежавший 17 лет, доработал его, и в течение ближайшего месяца он должен выйти в свет.

Другую мою чем-то похожую работу опубликовал Кирилл Васильевич. Подход В.Я. Проппа к изучению волшебной сказки содержит большую научную идею с убедительной методикой мифологического и обрядового материала. Но мне давно казалось, что в своем изучении инварианта фабулы волшебной сказки В.Я. Пропп остановился несколько рано. Он даже не поставил вопрос о частотности каждой из 24 функций от А до С*; между тем по этой характеристике они сильно различаются. Мои подсчеты показали, что доминантами фабулы являются 8 функций. Положительные доминанты принадлежат завязке, отрицательные — развязке и связаны, прямо или косвенно, с ложным героем. Частотность функций от начала фабулы к концу имеет ясно выраженную тенденцию к убыванию. Поскольку начало в сознании обычно связывается с причиной, а конец — со следствием, фабулу волшебной сказки можно рассматривать как древний механизм для исследования причинно-следственных связей. Кирилл Васильевич и Б.Н. Путилов без возражений приняли и опубликовали мою работу (Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л.: Наука, 1984). Впоследствии я включил ее в качестве отдельной главы в мою монографию «Лингвистические, математические, семиотические и ком-

пьютерные модели в истории и теории литературы» (М.: Языки славянской культуры, 2001).

В другой раз, зная, что я занимался пословицами, Кирилл Васильевич заказал мне рецензию на книгу M. Kuusi «Proverbia septentrionalia» («Северные пословицы») (Helsinki, 1985). Она была опубликована в «Советской этнографии» (1987, № 6), работать над нею мне было интересно.

Занимаясь Пастернаком, я был поражен яркостью и интенсивностью проявления обрядовых и мифологических тем, образов, символов, мотивов в его лирике. Это сейчас на такие темы пишут много, а тогда в этой проблематике, как и в стиховедении, соседей в науке у меня было мало. Подготовив статью, я отправил ее в «Известия АН. Серия литературы и языка». Главным редактором журнала был академик Г.В. Степанов. Для него, как и для меня самого, описанные мною факты и их интерпретация оказались неожиданными. Он пригласил меня приехать к нему в Москву, у нас состоялась полезная для меня беседа. Самый важный вопрос, который мне был задан и который мы обсуждали, — насколько сознательно вносил Пастернак в свои стихи мифологические представления? После нашей встречи статья была опубликована (1980, № 2) с осторожным подзаголовком «Опыт прочтения».

Встретившись с настроенным вниманием Степанова и некоторых других коллег, с которыми удалось поговорить об этой моей работе, я был обеспокоен тем, насколько убедительны мои результаты, насколько обоснованны мои выводы. Я попросил Кирилла Васильевича устроить мой доклад в Институте этнографии. Теперь, перебирая его письма ко мне, я с раскаянием вижу, что изрядно поморочил ему голову. Ему пришлось предпринимать некоторые маневры, *«чтобы у нас кто-нибудь не фыркнул, что мы занимаемся не своим делом»* (29.01.79). А я, не сознавая, что усугубляю трудности, еще попросил Кирилла Васильевича согласовать дату моего доклада с В.Е. Холшевниковым таким образом, чтобы я в этот приезд прочитал доклад и у него в стиховедческом семинаре в Пушкинском Доме: прошло уже пять лет после того, как я защитил докторскую диссертацию по теории стиха, и у меня накопился новый материал.

Вспоминаю с благодарностью, что Кирилл Васильевич все организовал наилучшим образом. Я заранее познакомил его с текстом статьи, отданной в «Известия АН», и он прислал мне свои соображения. Отчасти выяснилось то, чего я опасался: он указал на *«промашки с точки зрения фольклориста»*, на утверждения, выг-

лядевшие *«не очень убедительно»*. А дальше написал: *«Главный же для меня вопрос: как следует идти к цели — сперва выделяя у Пастернака “мифологические и ритуальные элементы”, а потом выясняя их историко-литературный контекст и план, устанавливая, пришли ли они к Пастернаку “прямо” или через толщу литературной и всякой иной традиции — или наоборот? Это спорно»* (29.01.79). Этот вопрос если и не совпадает по смыслу с вопросом, поставленным передо мною Степановым, то тесно с ним связан.

Кирилл Васильевич договорился с Б.Н. Путиловым, и 20 марта 1979 г. состоялся мой доклад, как звучало официально, *«на объединенном заседании восточно-славянского сектора и группы общих проблем Ленинградской части Института этнографии АН СССР»*. У меня в дневнике записано: *«Доклад в Институте этнографии не вызвал бурного обсуждения, но все восемь высказываний были в поддержку моей работы по существу, с некоторыми поправками»* (27.03.79). Приведенное выше в отрывках письмо Кирилла Васильевича и обсуждение доклада в Институте этнографии оказались мне необыкновенно полезны. Они увеличили мою осторожность в работе с мифологической, обрядовой и фольклорной проблематикой. С тех пор уже у меня вызывают недоверие поспешные, недостаточно обоснованные, а то и вовсе не обоснованные утверждения в этой области.

А 22 марта состоялся важный для меня мой доклад в Пушкинском Доме в группе стиховедения.

Дорогой Кирилл Васильевич! Вслед за поэтом *«желал бы я тебе представить залог, достойнее тебя»*. Но, подчиняясь многим обстоятельствам, приходится ограничиться сказанным. Будьте счастливы!

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ИВАНОВА

(Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
Санкт-Петербург)

[Антропологический форум. СПб., 2005. № 2. С. 397–398]

Начала было имя — Кирилл Васильевич Чистов. Его я впервые услышала на первом курсе Ленинградского государственного университета на лекциях Ирины Михайловны Колесницкой. Затем прочла книги — «Народная поэтесса И.А. Федосова» и «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.». Первая поразила богатством собранных в провинциальных газетах работ. Подумалось: смогу ли я так скрупулезно и тщательно работать? Вторая, прочитанная на одном дыхании, захватила невероятными, как мне тогда казалось, романтическими, так и просящимися в приключенческую киноленту судьбами самозванцев. И еще помню школярское недоумение: и это тоже фольклор? А где же жанр? Вся фольклористическая глубина этой книги будет осознана мною много позднее, когда я начну готовиться к кандидатскому экзамену.

В мае 1975 г. произошло мое знакомство с Кириллом Васильевичем. Я заканчивала свое дипломное сочинение по проблеме контаминации в волшебных сказках, и мой университетский учитель И.М. Колесницкая сказала мне, что оппонентом будет Кирилл Васильевич. С волнением я переступила порог Института этнографии, войдя в него впервые не со стороны Музея, а через служебный вход. Передала рукопись. И со страхом стала ждать вердикта. Защита дипломного сочинения прошла благополучно. И неожиданно Кирилл Васильевич предложил мне из диплома сделать статью, которая и вышла чуть позднее, в 1981 г., в сборнике «Русский Север». С этого времени я считаю Кирилла Васильевича своим «крестным отцом» в науке.

Потом было много встреч — в Институте этнографии, в Пушкинском Доме, на «Рябининских чтениях» в Петрозаводске, в его петербургской квартире, заставленной бесконечными полками книг. И разговоры — долгие беседы о фольклоре и жизни. Были

статьи, написанные по поручению К.В. Чистова, и не без страха, сколько бы лет мне самой уже не было, принесенные к нему на предварительное редактирование. Судьба складывается так, что Кирилл Васильевич оказывается рядом со мной во время самых важных событий в моей научной жизни. В 1981 г. я защищала кандидатскую диссертацию в Пушкинском Доме, Кирилл Васильевич — член диссертационного Совета, одобдившего работу. В 1994 г. — докторская диссертация, Кирилл Васильевич — главный оппонент. И хотя я давно уже перешагнула ту возрастную границу, которая определяет понятие «молодой ученый», когда я оказываюсь рядом с Кириллом Васильевичем, опять ощущаю себя ученицей, а значит — защищенной, значит тяжкий груз ответственности за науку, которой мы занимаемся, разделяет с тобой старший и мудрый коллега — Кирилл Васильевич Чистов. Счастья и здоровья Вам, Кирилл Васильевич!

БРОНИСЛАВА КЕРБЕЛИТЕ

(Университет Витаутаса Великого, Вильнюс, Литва)
[Антропологический форум. СПб., 2005. № 2. С. 398–399]

Мое общение с Кириллом Васильевичем Чистовым достаточно продолжительно для того, чтобы узнать и осмыслить существенные черты человека. Оно началось в начале лета 1957 г., когда по поручению Эрны Васильевны Померанцевой А. Быховская и я, студентки филологического факультета МГУ, прибыли в Петрозаводск, чтобы в архиве Петрозаводского института языка, литературы и истории собрать необходимые сведения для экспедиции в Пудожский район Карелии по следам более ранних собирателей былин. На вокзальном перроне нас встретил К.В. Чистов, устроил в общежитие, привел в архив. Нас удивило, что «совсем взрослый» фольклорист отнесся к нам как к своим коллегам — ни о чем не расспрашивал, не выразил и тени сомнения в уровне нашей подготовки и способности во всем разобраться самостоятельно. Позже мы поняли, что на нас падает отблеск авторитета нашей учительницы Э.В. Померанцевой, и стали смотреть на семью Чистовых ее глазами.

Впоследствии мне не раз доводилось участвовать в работе тех же конференций и международных конгрессов, на которых выступал и Кирилл Васильевич. Всякий раз я с радостью наблюдала интерес слушателей к его докладам — он всегда был окружен желающими о чем-то спросить, что-то рассказать. Кирилл Васильевич обычно интересовался какими-то подробностями, не вошедшими в мой доклад. Как-то попросил пересказать почти всю диссертацию. Это вполне закономерно: в ту пору я занималась литовскими преданиями, и Кирилл Васильевич хотел услышать о явлениях, аналогичных тем, о которых он писал в своей книге «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.». Когда я сталкивалась с фольклористами, которые заявляли о том, что они забыли, что писали в своих ранее изданных книгах, я всегда вспоминала негаснущий интерес Кирилла Василье-

вича к тому, что он изучал в прошлом, и думала, что прав он — никогда нельзя думать: «Я уже все сказал».

После смерти Э.В. Померанцевой Белла Ефимовна и Кирилл Васильевич Чистовы заменяли ее мне и Юрию Новикову — так же пристально интересовались нашей работой. Нас объединяло уважение к памяти Эрны Васильевны, стремление заполнить ту пустоту, которая образовалась после ее кончины. Кирилл Васильевич согласился оппонировать наши диссертации — о развитии структуры и семантики сказок и о пудожской былинной традиции. Кирилл Васильевич всегда отличался толерантностью к новым методикам и точкам зрения и в своих рецензиях еще раз это продемонстрировал. Жалко лишь, на обеих защитах из-за болезни оппонента его глубокие рецензии были прочитаны другими людьми.

За долгими разговорами о фольклоре и фольклористике как-то незаметно стерлась разница возрастов — мы стали людьми одного поколения. Теперь нас объединяет общая память — об ушедшей удивительно человеческой Белле Ефимовне, о многих общих знакомых фольклористах, об учителях Кирилла Васильевича, которые каждый раз оживают в его рассказах и также становятся близкими, людьми того же поколения. Кирилл Васильевич редко говорит о пережитом во время войны, никогда — о неприятных столкновениях с другими коллегами, никогда — о предосудительных поступках других.

Такие люди, как Кирилл Васильевич, должны жить долго — чтобы объединять разные поколения исследователей фольклора, чтобы учить понимать иной взгляд, уважать иное мнение, не засорять память несущественными деталями людских слабостей или неверных поступков.

РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ КИНЖАЛОВ

(Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург)

[Антропологический форум. СПб., 2005. № 2. С. 400–401]



Кирилле Васильевиче Чистове впервые я услышал глубокой осенью 1942 г. в Саратове, где тогда находился эвакуированный ЛГУ. На филологическом факультете там училась Белла Ефимовна Чистова. Все мы в ту пору были молоды и звали ее просто Белла. От нее я и узнал, что Кирилл Васильевич ушел добровольцем на фронт и от него нет вестей. Потом мне о нем писал и рассказывал Марк Теплинский, мой сокурсник и друг. Тогда они оба уже работали в Петрозаводске.

У них сложились очень теплые, дружеские отношения, которые, как я знаю, продолжают всю жизнь. Но лично я познакомился с Кириллом Васильевичем, только когда он перешел на работу в Ленинградскую часть Института этнографии АН.

Из моего многолетнего общения с Кириллом Васильевичем мне хотелось бы выделить наши частые, порой очень длительные беседы на самые различные темы в Пушкине. Кирилл Васильевич родился в Царском Селе, хорошо знает и любит его. Он многое вспоминал о том периоде своей жизни: о своей учительнице немецкого языка, судьбой которой он интересовался и спустя много десятилетий, и обо всем известных царскосельцах — Александре Беляеве, Юрии Тынянове, Алексее Толстом и других. Он рассказывал и о том, как его мать уходила по шпалам в Ленинград в то время, как в Пушкин с другой стороны города уже входили немцы.

Меня всегда поражала стойкость, ответственность и недостижимая для меня самодисциплина Кирилла Васильевича. Эти качества, как и верность убеждениям, семье и наконец самое главное в настоящем ученом — преданность избранной теме, мне кажется, более всего характеризуют Кирилла Васильевича. Хотелось бы выделить также его неизменную подтянутость, волю и выдержку при самых трудных жизненных обстоятельствах. Что касается научных трудов Кирилла Васильевича, то я более всего ценю

его капитальное исследование русских социальных утопий и работу над текстами уникальной сказительницы Федосовой. Научная и научно-организационная деятельность Кирилла Васильевича многогранна, широко известна и достойно оценена. Но может быть, мало кто знает его прекрасные стихотворные переводы немецких поэтов и в особенности такого сложного поэта, как Рильке. Мне посчастливилось слышать их от него самого.

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ НЕКЛЮДОВ

(Институт высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета, Москва)

[Антропологический форум. СПб., 2005. № 2. С. 401–402]

Начало моего знакомства с Кириллом Васильевичем относится к первой половине 1960-х годов. Я был тогда студентом филологического факультета МГУ и по совету Елеазара Моисеевича Мелегинского пошел послушать спецкурс Кирилла Васильевича. Сейчас, по прошествии более чем 40 лет, мне отчетливо помнится лишь одно занятие — или, в силу «компрессирующих» свойств памяти, весь курс, обобщившийся в образе одного занятия. (Мне и спецкурс П.Г. Богатырева — примерно того же времени — вспоминается как единственный вечер в одном из закоулков третьего этажа в старом университетском здании: Петр Григорьевич читает, близко поднося к лицу исписанные огромными буквами листы, а у стенки сидит худощавый темноволосый молодой человек — Николае Рошиану, аспирант из Румынии; остальных слушателей уже и не припомню.)

Так вот, в той лекции, которая удержалась в моей памяти, Кирилл Васильевич очень хорошо говорил о межжанровых переходах отдельных текстов и их частей — переходах, сопровождающихся сильными функциональными сдвигами. Рассказывал он, в частности, о фрагменте былины, используемом в обряде (по-моему, свадебном), что тогда для меня, как раз начавшего заниматься былиной, но исключительно как имманентной сюжетной структурой, оказалось не только неожиданным, но и определившим направление размышлений на много лет вперед. Задуматься же (причем вполне предметно) этот случай заставил меня о том, что всякий фольклорный текст не сводится к заключенному в нем содержанию и его поэтической структуре. Обязательно должна учитываться его функция. Сейчас это представляется очевидным, однако не всегда дело обстояло таким образом. К тому же для каждого человека должен существовать первый шаг к постижению любой очевидности, в том числе и становящейся впослед-

ствии «азбучной». Для меня подобный шаг был сделан во время давней лекции Кирилла Васильевича Чистова в маленькой аудитории на Моховой.

Начавшиеся тогда отношения с Кириллом Васильевичем — и деловые, и научные, и дружеские (о последних пишу с некоторой неуверенностью, учитывая значительную разницу в возрасте и — долгое время — в статусе) — более не прерывались. Я давал свои материалы в возглавляемый им журнал «Советская этнография», в редактируемые им сборники, и сам, в свою очередь, имел удовольствие видеть его в числе авторов составляемых мною коллективных трудов и редактируемого мною журнала «Живая старина». Кирилл Васильевич благосклонно относился к моим сочинениям, а я всегда оставался его благодарным читателем.

Но главное (для меня, конечно) произошло много позже, уже в 1990-е годы, когда, перейдя из академического Института мировой литературы в Российский государственный гуманитарный университет, я получил возможность осуществить свою давнюю мечту — подготовить для студентов курс по общей фольклористике (а это совсем иная задача, чем чтение лекций о русском фольклоре как о важной части отечественной словесности). Именно при разработке данной теоретической дисциплины, в нашей высшей школе ранее не существовавшей, мне особенно понадобились работы Кирилла Васильевича. У него я нашел свежий и в высшей степени современный взгляд на специфику устной традиции как на особую форму культурной коммуникации, на соотношение фольклора и книжности, на место фольклористики в кругу других гуманитарных дисциплин и многое другое.

Я надеюсь еще многое почерпнуть из его трудов — и как исследователь, и как педагог. Я знаю, что его работы остаются весьма актуальными и для молодых фольклористов, а ведь это едва ли не высшая «проверка на прочность», особенно в наше время, столь сокрушительное для многих гуманитарных авторитетов.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НОВИКОВ

(Вильнюсский педагогический университет, Литва)
[Антропологический форум. СПб., 2005. № 2. С. 402–404]

Как и многие другие участники северных экспедиций МГУ, я познакомился с Кириллом Васильевичем Чистовым в Петрозаводске после очередной поездки по Карелии. Был он нездоров, отлеживался дома после болезни, но уговорил нашего руководителя Эрну Васильевну Померанцеву привести нас к нему в гости. Хозяин учинил нам настоящий «допрос с пристрастием»: где были, с кем встречались, что нового записали? С таких же вопросов начинались десятки других встреч с ним, неизменно приводивших к обстоятельному обсуждению той или иной научной проблемы. Никогда это не было проявлением праздного любопытства или показного участия; во всем чувствовался неподдельный интерес профессионала, который не упускает ни малейшей возможности пополнить свой «банк данных». К тому же Кирилл Васильевич не только расспрашивал и выслушивал собеседника, но и приводил сходные примеры и наблюдения из своего богатейшего опыта собирателя и исследователя, чутко улавливал внутреннюю связь между разрозненными, казалось бы, далекими друг от друга фактами. Тем самым подталкивал молодого коллегу к выводам и обобщениям более высокого порядка.

В этом я не раз убеждался на собственном опыте. Когда я работал над указателем «Былина и книга», К.В. Чистов подсказал, что в предвоенные годы лучшие сказители с Пудожского берега ходили за десятки верст в одну из деревень, чтобы посмотреть на иллюстрированную «книгу про богатырей». В их глазах это было неоспоримым свидетельством реальности описываемых в «старинах» событий. Когда я занялся проблемой соотношения коллективного и индивидуального начал в русском эпосе, Кирилл Васильевич познакомил меня с черновыми набросками своей будущей книги очерков «Русские сказители Карелии» и устно дополнил их интересными фактами. Увлеченно, с таким обилием подробностей, будто все происходило только вчера, поведал о нечаянно

подслушанной «репетиции» Ивана Терентьевича Фофанова перед записью. Впоследствии этот эпизод вошел в книгу, но уникальные полевые материалы молодого тогда собирателя, к сожалению, не сохранились. А самое главное — Чистов на несколько недель предоставил в мое распоряжение один из немногих чудом уцелевших экземпляров первого издания монографии В.И. Чичерова «Школы сказителей Заонежья» (1949). Безосновательно обвинив автора в недооценке роли коллектива в фольклорной традиции, весь отпечатанный тираж пустили тогда под нож; книга дошла до читателей только в 1982 г. Для меня было чрезвычайно важно уже на начальном этапе работы познакомиться с идеями Чичерова в полном объеме. Кстати, после выхода в свет этой монографии Кирилл Васильевич придирчиво сверил ее с экземпляром уничтоженного издания и был крайне раздосадован тем, что редактор позволил себе сделать в тексте некоторые купюры.

Я благодарен судьбе, которая свела меня я этим замечательным ученым и человеком, — многолетнее общение с ним помогло мне полнее реализовать свои возможности. И не только мне, а десяткам других исследователей, представителям разных отраслей этнологии и фольклористики. Среди них — Регина Борисовна Калашникова и Светлана Васильевна Воробьева, сотрудницы знаменитого музея «Кижы». После изнурительного многомесячного «экскурсоводческого марафона» на острове Кижы у них порой опускались руки, не было ни сил, ни желания заниматься научными разысканиями. Но Кирилл Васильевич и устно, и письменно ободрял их, убеждал в том, что материал, которым они располагают, необходимо как можно быстрее обобщить и осмыслить, ввести в активный научный оборот и что лучше их этого никто не сделает. Когда их диссертации были успешно защищены, он радовался этому не меньше авторов. Такую же роль катализатора и генератора идей Чистов сыграл и в судьбе Александра Чувьурова из Сыктывкара, накопившего ценнейший полевой материал и поначалу не знавшего, как им распорядиться. В отношении молодых исследователей Кирилл Васильевич ведет себя подобно своему любимому учителю Марку Константиновичу Азадовскому и другим прославленным профессорам довоенного и послевоенного Ленинградского университета, благодарными воспоминаниями о которых наполнены его рассказы о прошлом.

Довелось мне убедиться и в таланте Чистова-редактора. Многие годы возглавляя журнал «Советская этнография», будучи инициатором серийного издания «Русский Север», редактором многих монографий, он настойчиво добивался повышения их теоретического уровня, бережно и эффективно правил рукописи. Когда

я чуть ли не в полтора раза превысил оговоренный объем статьи, Кирилл Васильевич сократил ее с такой ювелирной точностью и осторожностью, что в содержательном плане она ничего не потеряла. Чистов-редактор обладает редким умением находить точные, быть может, единственно возможные слова и формулировки, помогая авторам вырабатывать четкий лапидарный стиль.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА РАЗУМОВА

(Кольский филиал Петрозаводского государственного
университета, Апатиты)

[Антропологический форум. СПб., 2005. № 2. С. 404–405]

Кирилла Васильевича Чистова я считаю одним из своих учителей, казалось бы, не имея на то формальных оснований. Это не может быть иначе хотя бы потому, что его книги и статьи — в ряду тех, с которых начинается для любого студента-филолога (а часто и школьника) знакомство с научной фольклористикой. В Карелии, например, изучение устной культуры и в вузах, и в школах имеет прочные основания во многом благодаря работам К.В. Чистова, посвященным русским причитаниям Карелии, воплощенце Ирине Федосовой, сказителям края. На мой взгляд, предпринятое К.В. и Б.Е. Чистовыми переиздание «Причитаний Северного края» Е.В. Барсова — одно из лучших фольклористических изданий последних лет. Оно может считаться образцовым по уровню текстологической подготовки и чрезвычайно ценно основательными и многоплановыми комментариями.

На протяжении многих лет я постоянно обращаюсь к трудам К.В. Чистова, в которых обсуждаются вопросы изучения устной прозы. Это одна из тех сложнейших в теоретическом отношении областей фольклористики, с которыми, в конечном счете, оказалось связано переосмысление предметной области нашей науки и ее инструментария. Думается, статьи К.В. Чистова о типологии фольклорной прозы и об отдельных ее видах могут служить отправным моментом для новейших исследований. Теоретические положения монографии «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.» помогают в интерпретации современных текстов.

Кирилл Васильевич — очень современный человек и ученый. Современен, прежде всего, его подход к фольклору как части повседневных и ритуальных социальных практик. Современна исследовательская позиция, которая предполагает открытость фоль-

клористики различным областям гуманитарного знания: этнологии, социологии, истории, лингвистике. Современна научная толерантность, благодаря которой ты, к какому бы направлению ни принадлежал, всегда можешь рассчитывать на понимание. Одна из любимых мною книг — сборник «Преодоление рабства. Фольклор и язык “остарбайтеров”», составленный К.В. Чистовым в соавторстве с Б.Е. Чистовой. Уникальности материала здесь соответствует специфический взгляд фольклориста на эпистолярные тексты.

Одна из самых привлекательных черт Кирилла Васильевича — заботливое и уважительное отношение к начинающим исследователям. Его всегда приятно видеть и слушать на конференциях, которые собирают научную молодежь. Насколько я знаю, многие молодые ученые считают Кирилла Васильевича вполне «своим», несмотря на возрастную и статусную дистанцию, потому что ему очевидно интересны и новые полевые материалы, и новые подходы к ним, и мнение младших коллег о той или иной публикации. С ним всегда можно обсудить любую «нетрадиционную» идею и узнать при этом (как это нередко бывало), что она вполне согласуется с «классическими» или забытыми научными идеями.

Еще относительно недавно, когда изучение современного фольклора с применением междисциплинарных методик казалось чем-то не вполне легитимным, а многие авторитетные исследователи заняли по отношению к этому направлению и даже к самому материалу резко критическую позицию, поддержка пришла именно от К.В. Чистова — ученого «классической» академической школы. Тогда это показалось удивительным. В одной из бесед, которые окончательно помогли мне утвердиться в избранном направлении, Кирилл Васильевич напомнил о своей ранней статье, посвященной устным рассказам о погибших во время войны в Карелии девушках-партизанках. Ему сказали, что это «не фольклор», но он был уверен тогда и уверен сейчас: «Я не знаю, как это называть, но я знаю, что это надо изучать». Кирилл Васильевич любит повторять эту фразу вслед за одним из своих учителей, а я теперь повторяю ее своим студентам каждый раз, когда они сталкиваются с чем-то, что не вменяется в рамки известного.

Кирилл Васильевич способен, преодолевая болезнь, прийти на защиту, чтобы выступить и психологически тебя поддержать. Он никогда не забывает передать привет ученикам, коллегам, знакомым. Несмотря на годы, он красив, неизменно корректен и внимателен. Кирилл Васильевич поразительно много и плодотворно работает. И я благодарна ему за то, что продолжается «час ученичества».

Т.Г. Иванова

О КИРИЛЛЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ЧИСТОВЕ

В своей рецензии на книгу «Неизвестный В.Я. Пропп», опубликованной в 2003 г. в журнале «Живая старина», К.В. Чистов особо выделяет жизненное кредо автора «Морфологии сказки» — «человек обязан быть счастливым». И следуя за мыслью своего старшего коллеги, с которым ему посчастливилось общаться, К.В. Чистов пытается понять природу того, что люди называют счастьем. «Состояние счастья и возможность приносить другим максимальное добро дается не сразу», — пишет он в рецензии¹. В этой формулировке личное счастье человека увязывается с его желанием творить добро и подчеркивается, что мудрое понимание того, к чему стремится любой человек, приходит к каждому из нас далеко не сразу, а только после напряженной душевной работы. И, к сожалению, очень многие из явившихся в этот мир так никогда и не научаются различать простое жизненное благополучие и подлинное счастье.

К.В. Чистову судьба щедро дарила счастье встреч с интересными людьми, и ученый с юности умел ценить эти встречи и быть благодарным каждому, кто возникал на его жизненном пути. К.В. Чистов родился 20 ноября 1919 г. в пригороде Петрограда — в Царском Селе, где все дышало Словом, великим Словом Пушкина и Ахматовой. Родители, подлинные российские интеллигенты, с самого детства привили ему любовь и уважение к книге. Затем был Дом детской литературы С.Я. Маршака — знаменитый «детский литературный университет» — и первые творческие опыты в области поэтического сочинительства.

Филологический факультет Ленинградского государственного университета (1937–1941; 1946) свел будущего ученого с еще од-

¹ Чистов К.В. Неизвестный В.Я. Пропп [Рец. на кн.: Неизвестный В.Я. Пропп. Древо жизни. Дневник старости / Подгот. текста, комм. А.Н. Мартыновой, Н.А. Прозоровой. СПб., 2002] // Живая старина. 2003. № 2. С. 56.

ной крупной личностью — с выдающимся фольклористом Марком Константиновичем Азадовским, который и отправил его в первые фольклорные экспедиции в Пудожский район Карелии, на Дон и в Ворошиловградскую область (1938–1940)². Уже в зрелые годы, став одним из ведущих фольклористов страны, на протяжении нескольких десятилетий К.В. Чистов неоднократно возвращается к осмыслению научного наследия своего Учителя. В 1959 г. он написал рецензию на первый том знаменитой «Истории русской фольклористики» — посмертный труд М.К. Азадовского, издание которого сломало стену замалчивания его имени, воздвигнутую сталинским режимом в ходе печально известной антикомпаративистской кампании. Затем будут статьи к десятилетию со дня смерти М.К. Азадовского, к столетию со дня его рождения. Чутко реагируя на все новое, что появляется в фольклористике, К.В. Чистов одновременно остается верен методологическим посылам, которые были сформированы в нем его учителем. Поэтому и в 1989 г., когда фигура сказителя, в изучении которой столь много сделал М.К. Азадовский, уже не занимала в фольклористическом сознании столь масштабного места, как это было в 1930-е годы, К.В. Чистов пишет статью «М.К. Азадовский и проблема исполнителя в русской фольклористике XIX–XX вв.», напоминая новому поколению исследователей о значимости методологических подходов к традиционной культуре, которые были разработаны предшественниками.

Будучи студентом, слушал К.В. Чистов и лекции Дмитрия Константиновича Зеленина — выдающегося русского этнографа первой половины XX столетия. На обязательность знакомства с курсом Д.К. Зеленина ему, студенту-филологу, указал М.К. Азадовский. Много позднее, уже в 1960-е годы, ученый станет одним из тех фольклористов-филологов, кто настойчиво сближал фольклористику, долгое время замыкавшуюся исключительно на вербальном аспекте народной культуры, с этнографией. В 1979 г. под редакцией К.В. Чистова выходит сборник статей «Проблемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина)». Это издание сыграло важную роль в процессах сопряжения фольклористики и этнографии, раскрывавшей перед наукой об устной словесности акциональный, предметный, изобразительный коды традиционной народной культуры. Благодаря инициативе и настойчивости К.В. Чистова в 1991 г. отечественная наука получила в свое распоряжение

² См. библиографию трудов: Кирилл Васильевич Чистов: Библиографический указатель / Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. СПб., 2001.

русскоязычное издание знаменитого труда Д.К. Зеленина «Russische (Ostslavische) Volkskunde» («Восточнославянская этнография»), бывшего в свое время подведением итогов развития российской этнографии и не потерявшего своего научного значения и в наши дни.

В университетские годы К.В. Чистов встретился и с Владимиром Яковлевичем Проппом — другой легендой отечественной науки. И эта встреча, этот подарок Судьбы также по достоинству были оценены ученым. Фигура В.Я. Проппа, вероятно, самого известного на западе русского фольклориста, в научном сознании обросла многочисленными мифами. К.В. Чистов в своей статье 1981 г. постарался развеять некоторые из научных легенд, например о непризнании заслуг В.Я. Проппа в бывшем Советском Союзе. В 1984 г. он совместно с В.И. Ереминой издал один из последних законченных трудов В.Я. Проппа — его монографию «Русская сказка».

Уже в юности К.В. Чистов научился масштаб личности встречаемых им людей определять не учеными званиями и регалиями, а глубинной нравственной составляющей. В августе 1938 г. произошла еще одна счастливая встреча в жизни К.В. Чистова. В Карелии он записал, а затем в 1941 г. опубликовал в составе сборника Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова «Былины Пудожского края» более десятка первоклассных былинных текстов сказителя Ивана Терентьевича Фофанова. В неграмотном крестьянине девятнадцатилетний городской студент сумел разглядеть человека напряженной «умственной жизни», у которого всегда, о чем бы он ни говорил и что бы ни делал, все «было значительно и хорошо обдуманно, решено надежно и обстоятельно». Знакомство с былинщиком стало одной из решающих вех в биографии К.В. Чистова. Общение с И.Т. Фофановым в 1938 г. позволило интеллигентному юноше осознать, что фольклор — это не просто поэтическое слово, а прежде всего — мудрое слово, впитавшее в себя этические представления и национальную психологию русского народа.

Затем была война. Студенческий партизанский батальон, действовавший в Ленинградской области, плен, побег, партизанский отряд в Белоруссии, возвращение в регулярную армию — таков путь на войне, который отмерила судьба К.В. Чистову. Встречи с самыми разными людьми на дорогах войны закалили сердце ленинградского юноши-интеллигента и сделали его мудрее. В минуты передышки горькие и радостные впечатления выплескивались в поэтические строки. В своей автобиографии в середине 1980-х годов К.В. Чистов напишет: «Война <...> была при всей жестокости моим подлинным вторым университетом. <...> Подобной кон-

центрации добра и зла, героизма и ужасов, поражений и побед, такого числа людей, постоянно сменявшихся, не увидел бы я в мирное время и за несколько десятков лет»³.

Послевоенная биография К.В. Чистова — это биография человека, всецело посвятившего себя науке. Во время своего кратковременного пребывания в аспирантуре при кафедре фольклора филологического факультета Ленинградского университета (1947) он занялся творчеством замечательной олонецкой вопленицы Ирины Андреевны Федосовой. В 1951 г., уже работая в Петрозаводске в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра АН СССР (1947–1961), он защитил о ней кандидатскую диссертацию. Вскоре была опубликована фундаментальная монография «Народная поэтесса И.А. Федосова: Очерк жизни и творчества» (1955), где собран громадный фактологический материал, раскрывающий биографию неграмотной русской крестьянки на фоне общественно-исторических процессов, происходивших в России во второй половине XIX в.

Впоследствии фигура И.А. Федосовой не исчезнет из научных интересов К.В. Чистова. Он будет еще и еще возвращаться к ее творчеству в статьях 1960–1970-х годов. Вторая монография ученого об олонецкой вопленице — «Ирина Андреевна Федосова: Историко-культурный очерк» (1988) — ориентирована на проблематику, актуальную для фольклористики 1980-х годов: она нацелена на выявление генезиса жанра причитаний и определение их функций в системе народной традиции. Многолетнее увлечение К.В. Чистова творчеством И.А. Федосовой не могло не завершиться в 1997 г. фундаментальным переизданием знаменитого фольклорного собрания второй половины XIX столетия — «Причитанья Северного края» Е.В. Барсова, введшего в научный оборот тексты, записанные от И.А. Федосовой.

Вторая крупная тема возникает в исследованиях К.В. Чистова в начале 1960-х годов. Размышления ученого о социальной психологии крестьянства позволили ему впервые в нашей науке сформировать представление о жанре социально-утопической легенды, выявить основные группы (легенды об избавителях, о далеких странах, о золотом веке), определить закономерности в повторяемости фольклорных сюжетов утопического характера, связать их возникновение с социальными чаяниями и надеждами крестьянства. Монография «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.» (1967), ставшая докторской диссертацией К.В. Чистова, нашла безусловное признание в гумани-

³ Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945: Автобиографии. Биографии. Книги / Авт.-сост. В.С. Бахтин. Л., 1985. С. 410.

тарном научном мире и читается с захватывающим интересом новыми и новыми поколениями фольклористов и историков. Как и причитания И.А. Федосовой, социально-утопические идеи русского народа стали долговременной темой в научных изысканиях К.В. Чистова. В 2003 г. вышла в свет книга исследователя «Русская народная утопия», в которой текст «Русских народных социально-утопических легенд XVII–XIX вв.» дополнен третьей, очень важной, главой. Здесь народные социально-утопические идеи рассматриваются в тесной связи с историей элитарно-философского и политического утопизма. В конечном счете ученый попытается определить, что для русского крестьянина входило в понятие счастье. И оказывается, что это отнюдь не мечта о богатой стране «эльдorado», а желание свободного труда на земле и свободного отправления религиозных обрядов (то есть мечта об идеологическом раскрепощении). Фольклористические разыскания в последних разделах книги 2003 года смыкаются с публицистикой, с напряженными размышлениями умудренного жизнью человека о судьбе России в XX столетии.

К середине 1960-х годов сложился еще один аспект в научной деятельности К.В. Чистова — его особые отношения с немецкой фольклористикой. Преодоление взаимной ненависти русских и немцев, сформировавшейся в тяжелейшие «сороковые, роковые», было бы невозможно без тех ученых-гуманитариев, которые, сняв фронтовые шинели, в непростых условиях тоталитарного режима Советского государства, начали медленный путь сближения наук двух еще недавно враждебных народов. В фольклористике заметную роль в строительстве этого пути играет К.В. Чистов. В 1967 г. в бывшей Германской Демократической Республике вышла в свет коллективная монография, работу над которой возглавил К.В. Чистов — «Sowjetische Volkslied- und Volksmusikforschung». Эта книга знакомила немецких читателей с восточно-славянским песенным фольклором и исследованиями советских ученых в данной области. Начиная с 1975 г. К.В. Чистов активно сотрудничает в фундаментальной многотомной «Enzyklopadie des Marchens», где опубликованы его словарные статьи о А.М. Астаховой, В.С. Бахтине, Д.М. Балашове, П.А. Бессонове, П.Г. Богатыреве, В.И. Чичерове, Н.П. Дашкевиче, В.М. Гацаке и др.

Скрупулезная и глубокая проработка конкретных тем не могла не привести ученого в область теоретических проблем науки о традиционной народной культуре. К.В. Чистов был одним из тех исследователей, которые в начале 1960-х годов включились в дискуссию о специфике фольклористической текстологии. Благодаря его работам в фольклористике был поставлен вопрос о классификации несказочной прозы. Исследователь пропагандировал вне-

дрение в науку о традиционной культуре картографического метода, поднимал вопрос о коммуникативном аспекте фольклорного текста, писал о специфике фольклора в свете теории информации, разрабатывал проблемы вариативности и типологии в устной культуре. Многолетние исследования ученого в сфере теоретических проблем фольклористики и этнографии были обобщены в его фундаментальной монографии «Народные традиции и фольклор. Очерки теории» (1988).

В самом начале 1990-х годов мудрая Судьба в руки К.В. Чистова передает обширную коллекцию из писем восточных остарбайтеров, найденную в фольклорном центре «Немецкий архив народной песни» в Фрайбурге. Частушки, фрагменты из народных песен и жестоких романсов, перепевы популярных советских песен, мотивы из причитаний, альбомные стихи, надписи на фотокарточках, пересказы снов, «круговые письма», молитвы, поговорки, пословицы — весь этот уникальный материал, выписанный в свое время неизвестным немецким военным цензором, стал предметом фольклористического осмысления в фундаментальном издании Б.Е. и К.В. Чистовых «Преодоление рабства. Фольклор и язык остарбайтеров 1942–1944 гг.» (1998; немецкоязычный вариант — «Fliege, mein Briefchen von Westen nach Osten», 1998). Эта книга, построенная на материалах уже более чем шестидесятилетней давности, оказывается чрезвычайно современной и созвучной сегодняшней науке, увлеченной маргинальными формами. Она открывает новые пути в области изучения письменного фольклора, который приобретает все больший удельный вес в фольклористических исследованиях.

Талант исследователя в К.В. Чистове счастливо сочетается с организаторскими способностями. В 1947 г. он возглавил сектор фольклора в Карельском научном центре Академии наук, а в 1961 г. стал заведующим отделом этнографии восточных славян Института этнографии АН СССР. В те годы отдел делился на московскую и ленинградскую части, и требовалось немало усилий, чтобы скоординировать работу ученых, живших в разных городах. При К.В. Чистове, руководившем отделом до 1990 г., начался выпуск продолжающихся сборников «Русский Север» — издания, объединившего для изучения феномена этого историко-культурного региона фольклористов, этнографов и этномузыковедов и завоевавшего заслуженный авторитет. К.В. Чистов стал ответственным редактором фундаментального коллективного труда «Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры» (1987; серия «Этнография славян»).

Заслуги К.В. Чистова перед отечественной наукой по достоинству оценены. В 1981 г. ему в составе группы ученых была при-

суждена Государственная премия за коллективную монографию «Современные этнические процессы в СССР» (1977). В том же году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. К.В. Чистов пользуется глубочайшим уважением в международной научной среде. Начиная с 1958 г. он непреходящий участник всех Международных съездов славистов, а позднее — конгрессов Европейского общества этнографов и фольклористов. В 1974 г. К.В. Чистов был избран вице-президентом Международного общества исследователей повествовательного фольклора. Среди его регалий — почетный член Польского, Венгерского и Австрийского этнографических обществ (1974, 1989), Финского литературного общества (1976), Финно-угорского научного общества (1982), Фольклорного общества Финской Академии наук (1992). В 2000 г. Федеративная Республика Германия наградила К.В. Чистова «Орденом за заслуги».

Ученый счастлив в своих учениках. Многие из них в настоящее время занимают видное место в отечественной науке. Всем сказковедам известно имя специалиста по карельской сказке У.С. Конкки; огромным авторитетом пользуются работы Н.В. Юхневой по этнической структуре Петербурга; ни один из исследователей народной культуры Русского Севера не может обойтись без фундаментальных трудов Т.А. Бернштам; прочное место в науке заняли работы А.К. Байбурина об обрядах; первооткрывателем исследований по современной молодежной субкультуре стала Т.Б. Щепанская.

Судьба заслуженно одарила К.В. Чистова счастьем и в семейной жизни. Почти шестьдесят лет рядом с ним была любимая жена, верный друг и талантливый филолог-германист Белла Ефимовна Чистова, с которой он совместно подготовил несколько фундаментальных трудов. Сыновья стали видными учеными, они с увлечением занимаются своим делом.

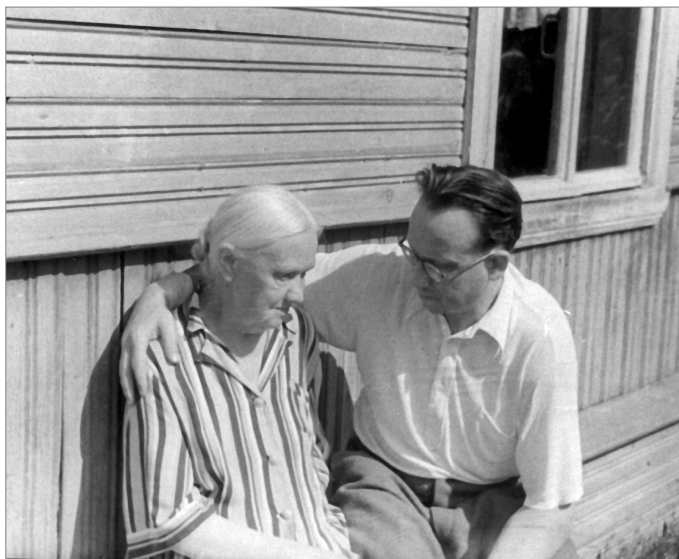
К.В. Чистову удалось в жизни «состояние счастья», на его жизненном пути реализовалась «возможность приносить другим максимальное добро». И, может быть, это самое главное в его жизни.



В школьные годы.



Мама К.В. Чистова —
Вера Ивановна в молодости.
Царское Село, 1912 г.



К.В. Чистов с мамой В.И. Чистовой. Вырица, лето 1957 г.



Кирилл Васильевич и его отец — Василий Александрович Чистов.
Кисловодск, 1959 г.



Семья брата К.В. Чистова Василия Васильевича Чистова, сентябрь 1956 г.



Кирилл Васильевич и Белла Ефимовна Чистовы с сыном Ефимом.
Петрозаводск, декабрь 1949 г.



К.В. Чистов и
Б.Е. Чистова
на даче у друзей.
Петрозаводск —
Бараний берег,
1950-е гг.



К.В. Чистов и Б.Е. Чистова, февраль 1984 г.



Во время экспедиции
на Онежском озере.
1950-е гг.



Во время экспедиции с рыбаками на Медвежьей тоне.
Северная Карелия, 1953 г.



Е.М. Мелетинский. Петрозаводск, середина 50-х гг.



К.В. Чистов и Л.Я. Гинзбург на парусной лодке. Онежское озеро, конец 50-х - начало 60-х гг.

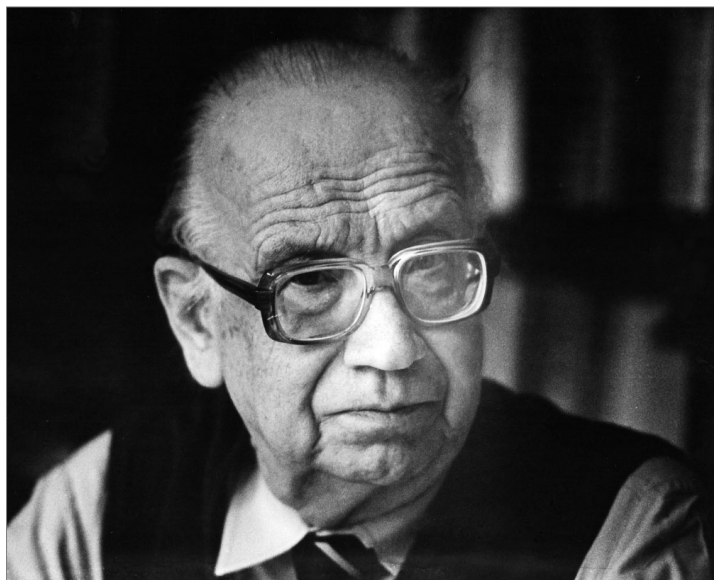


Э.В. Померанцева —
близкий друг
и коллега.



К.В. Чистов и
В.К. Соколова.
Советско-венгерский
симпозиум.
Будапешт,
октябрь 1970 г.

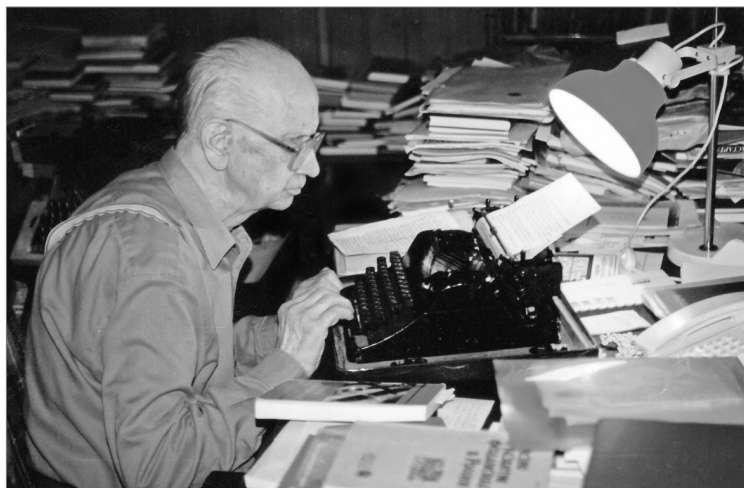
К.В. Чистов. 1960-е гг.



К.В. Чистов. 1980-е гг.



К.В. Чистов дома.
1991 г.



За работой, ноябрь 2001 г.



К.В. Чистов и проф. К. Джексон на приеме в Олд Колледже, во время конгресса Международного общества исследователей повествовательного фольклора. Эдинбург, август 1979 г.



К.В. Чистов, Б.Е. Чистова, и профессора Университета Хитоцубаси. Токио, 1990 г.



На открытии памятника И.А. Федосовой
во время празднования ее 150-летнего юбилея. Кузаранда, май 1981 г.



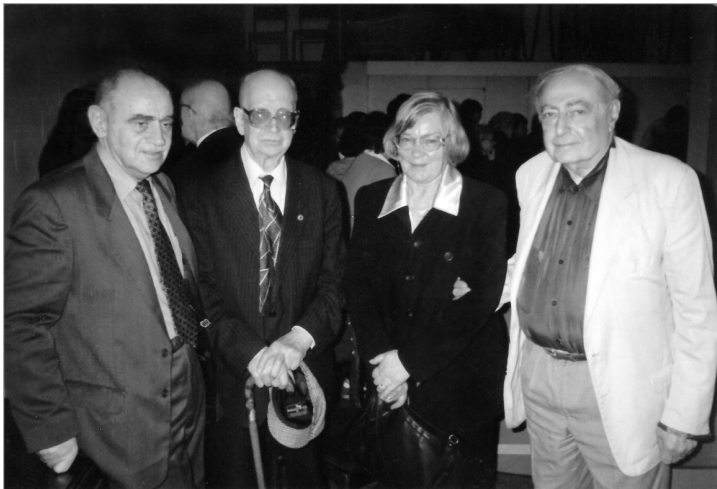
На праздновании 150-летия И.А. Федосовой, май 1981 г.



К.В. Чистов выступает на юбилее И.В. Дубова
в Российском этнографическом музее в 1997 г.



Т.Г. Иванова, Р.Б. Калашникова, И.В. Мельников
и другие участники Рябининских чтений. Петрозаводск, 1999 г.



В.М. Гацак, К.В. Чистов, В.А. Бахтина, Е.М. Мелетинский.
На конференции. 1999 г.

Чистов Кирилл Васильевич

Забывать и стыдиться нечего...

Воспоминания

Литературная обработка, редакция
и примечания Т.Г. Ивановой и Ю.К. Чистова

Редактор М. Ильина
Корректор Т. Никифорова
Компьютерный макет Р. Морозова, М. Гиенко

Подписано к печати 21.12. 2006. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура School Book. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Уч.-изд.л. 14. Усл.п.л. 19.
Заказ № 456.

РИО МАЭ РАН
199034. Санкт-Петербург, В.О., Университетская наб., 3

Отпечатано в ООО «Издательство «Лема»
199034. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 24